

ГРАНИ

GRANI

137

1985

Verlagsort: Frankfurt/M., Juli-September

ОБРАЩЕНИЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПОСЕВ»

**к литературной молодежи, к писателям
и поэтам, к деятелям культуры
— ко всей российской интеллигенции**

Русское издательство «Посев», находящееся в настоящее время за рубежом, во Франкфурте-на-Майне, предоставляет вам возможность публиковать те ваши произведения, которые по условиям политической цензуры не могут быть изданы на Родине. Напечатаны эти произведения могут быть в журнале «Грани», в ежемесячнике «Посев» или изданы отдельными книгами. Будет сделана попытка их публикации и на иностранных языках.

Рукописи могут быть подписаны как фамилией автора, так и псевдонимом, который будет строго соблюдаться издательством.

Авторские гонорары в размере, соответствующем установленным в «Посеве» ставкам, будут храниться в издательстве до того времени, пока автор найдет возможным их получить.

Пересылать рукописи в издательство «Посев» можно как через своих граждан, едущих за границу, так и через иностранцев, посещающих СССР. Приехавший за границу может сдать пакет с рукописью на почту, а в случае необходимости — опустить в почтовый ящик и без марок. На пакете с рукописью необходимо указать следующий адрес:

**Possev-Verlag
Flurscheideweg 15,
D-6230 Frankfurt am Main 80**

Предоставляя пишущим страницы своих изданий, мы помогаем российской интеллигенции, а в особенности молодежи, выполнять возложенную на нее историей ответственную задачу — в свободном творчестве правдиво изображать жизнь и стремления нашего народа, воспроизводить его духовный облик.

За свободное Творчество! За свободную Россию!

Издательство «ПОСЕВ»



Журнал основан в 1946 году
Основатель журнала Е. Р. Романов

Редактировали:

1946 Е. Р. Романов, С. С. Максимов, Б. В. Серафимов

1947—1952 Е. Р. Романов

1952—1955 Л. Д. Ржевский

1955—1961 Е. Р. Романов

1962—1982 Н. Б. Тарасова

1982—1983 Р. Н. Редлих, Н. Рутыч

Г Р А Н И

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Год XL

№137

1985

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

С. ДОВЛАТОВ. Рассказы из чемодана	5
Ирина РАТУШИНСКАЯ. Стихи	96
Виктор НЕКИПЕЛОВ. Майерлинг. Стихи	99
Ю. КУБЛАНОВСКИЙ. Стихи	101
Фридрих ГОРЕНШТЕЙН. Улица Красных Зорь. Повесть	105

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Петр ВАЙЛЬ, Александр ГЕНИС. Строительство утопии. Из книги «60-е»	157
---	-----

ИСКУССТВО

Семен ЧЕРТОК. Михаил Ромм: судьба художника	191
--	-----

ИСТОРИЯ

Лев РУДКЕВИЧ. Забытая годовщина	225
--	-----

ПУБЛИЦИСТИКА

Игорь БИРМАН. Власть в СССР	234
------------------------------------	-----

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДНЕВНИК

Виктор ШИМАНСКИЙ. Китай: сегодня, завтра, послезавтра...	269
---	-----

БИБЛИОГРАФИЯ

Наталья Малаховская. «На две половинки разрезанная душа»	291
Борис Хазанов. Проза поэта	297
Анатолий Копейкин. Верность себе	302
М. Хейфец. Солженицын – «глядя из Парижа»	305
КОРОТКО О КНИГАХ	311
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ	312
КОРОТКО ОБ АВТОРАХ	314

Обложка работы художника Н. Мишаткина

С. ДОВЛАТОВ

Рассказы из чемодана

...Но и такой, моя Россия,
ты всех краев дороже мне...

Александр Блок

ПРЕДИСЛОВИЕ

В ОВИРе эта сука мне и говорит:

– Каждому отъезжающему полагается три чемодана. Такова установленная норма. Есть специальное распоряжение министерства.

Возражать не имело смысла. Но я, конечно, возразил:

– Всего три чемодана?! Как же быть с вещами?

– Например?

– Например, с моей коллекцией гоночных автомобилей?

– Продайте, – не вникая, откликнулась чиновница. Затем добавила, слегка нахмутив брови:

– Если вы чем-то недовольны, пишите заявление.

– Я доволен, – говорю.

После тюрьмы я был всем доволен.

– Ну, так и ведите себя поскромнее...

Через неделю я уже складывал вещи. И, как выяснилось, мне хватило одного-единственного чемодана.

Я чуть не зарыдал от жалости к себе. Ведь мне тридцать шесть лет. Восемнадцать из них я работаю. Что-то зарабатываю, покупаю. Владею, как мне представля-

лось, некоторой собственностью. И в результате – один чемодан. Причем, довольно скромного размера. Выходит, я нищий? Как же это получилось?!

Книги? Но, в основном, у меня были запрещенные книги. Которые не пропускает таможня. Пришлось раздать их знакомым вместе с так называемым архивом.

Рукописи? Я давно отправил их на Запад тайными путями.

Мебель? Письменный стол я отвез в комиссионный магазин. Стулья забрал художник Чегин, который до этого обходился ящиками. Остальное я выбросил.

Так и уехал с одним чемоданом. Чемодан был фанерный, обтянутый тканью, с никелированными креплениями по углам. Замок бездействовал. Пришлось обвязать мой чемодан бельевой веревкой.

Когда-то я ездил с ним в пионерский лагерь. На крышке было чернилами выведено: «Младшая группа. Сережа Довлатов». Рядом кто-то дружелюбно нацарапал: «говночист». Ткань в нескольких местах прорвалась.

Изнутри крышка была заклеена фотографиями. Рокки Марчиано, Армстронг, Иосиф Бродский, Лоллобриджида в прозрачной одежде. Таможенник пытался оторвать Лоллобриджида ногтями. В результате только поцарапал.

А Бродского не тронул. Всего лишь спросил – кто это? Я ответил, что дальний родственник...

Шестнадцатого мая я оказался в Италии. Жил в римской гостинице «Дина». Чемодан задвинул под кровать.

Вскоре получил какие-то гонорары из русских журналов. Приобрел голубые сандалии, фланелевые джинсы и четыре льняные рубашки. Чемодан я так и не раскрыл.

Через три месяца перебрался в Соединенные Штаты. В Нью-Йорк. Сначала жил в отеле «Рио». Затем у друзей во Флашинге. Наконец, снял квартиру в приличном районе. Чемодан поставил в дальний угол стенного шкафа. Так и не развязал бельевую веревку.

Прошло четыре года. Восстановилась наша семья. Дочь стала юной американкой. Родился сынок. Подрос и начал шалить. Однажды моя жена, выведенная из терпения, крикнула:

– Иди сейчас же в шкаф!

Сынок провел в шкафу минуты три. Потом я выпустил его и спрашиваю:

– Тебе было страшно? Ты плакал?

А он говорит:

– Нет. Я сидел на чемодане.

Тогда я достал чемодан. И раскрыл его.

Сверху лежал приличный двубортный костюм. В расчете на интервью, симпозиумы, лекции, торжественные приемы. Полагаю, он сгодился бы и для Нобелевской церемонии. Дальше – поплиновая рубашка и туфли, завернутые в бумагу. Под ними – вельветовая куртка на искусственном меху. Слева – зимняя шапка из фальшивого котика. Три пары финских креповых носков. Шофёрские перчатки. И наконец – кожаный офицерский ремень.

На дне чемодана лежала страница «Правды» за май восьмидесятого года. Крупный заголовок гласил: «Великому учению – жить!». В центре – портрет Карла Маркса.

Школьником я любил рисовать вождей мирного пролетариата. И особенно – Маркса. Обыкновенную кляксу размазал – уже похоже...

Я оглядел пустой чемодан. На дне – Карл Маркс. На крышке – Бродский. А между ними – пропащая, бесценная, единственная жизнь.

Я закрыл чемодан. Внутри гулко перекатывались шарики нафталина. Вещи пестрой грудой лежали на кухонном столе. Это было все, что я нажил за тридцать шесть лет. За всю мою жизнь на родине. Я подумал – неужели это всё? И ответил – да, это всё.

И тут, как говорится, нахлынули воспоминания. Наверное, они таились в складках этого убогого тряпья. И теперь вырвались наружу. Воспоминания, которые следовало бы назвать – «От Маркса к Бродскому». Или, допустим, – «Что я нажил». А еще можно и так – «Рассказы из чемодана»...

Но, как всегда, предисловие затянулось.

КРЕПОВЫЕ ФИНСКИЕ НОСКИ

Эта история произошла двадцать семь лет тому назад. Я был в ту пору студентом Ленинградского университета.

Корпуса университета находились в старинной части города. Сочетание воды и камня порождает здесь особую, величественную атмосферу. В подобной обстановке трудно быть лентяем, но мне это удавалось.

Существуют в мире точные науки. А значит, существуют и неточные. Среди неточных, я думаю, первое место занимает филология. Так я превратился в студента филфака.

Через неделю меня полюбила стройная девушка в импортных туфлях. Звали ее Ася.

Ася познакомила меня с друзьями. Все они были старше нас – инженеры, журналисты, кинооператоры. Был среди них даже один заведующий магазином.

Эти люди хорошо одевались. Любили рестораны, путешествия. У некоторых были собственные автомашины.

Все они казались мне тогда загадочными, сильными и привлекательными. Я хотел быть в этом кругу своим человеком.

Позднее многие из них эмигрировали. Сейчас это нормальные пожилые евреи.

Жизнь, которую мы вели, требовала значительных расходов. Чаще всего они ложились на плечи Асиных друзей. Меня это чрезвычайно смущало.

Вспоминаю, как доктор Логовинский незаметно сунул мне четыре рубля, пока Ася заказывала такси...

Всех людей можно разделить на две категории. На тех, кто спрашивает. И на тех, кто отвечает. На тех, кто задает вопросы. И на тех, кто с раздражением хмурится в ответ.

Асины друзья не задавали ей вопросов. А я только и делал, что спрашивал:

– Где ты была? С кем поздоровалась в метро? Откуда у тебя французские духи?..

Большинство людей считает неразрешимыми те проблемы, решение которых мало их устраивает. И они без конца задают вопросы, хотя правдивые ответы им совершенно не требуются...

Короче, я вел себя назойливо и глупо.

У меня появились долги. Они росли в геометрической прогрессии. К ноябрю они достигли восьмидесяти рублей – цифры, по тем временам чудовищной.

Я узнал, что такое ломбард, с его квитанциями, очередями, атмосферой печали и бедности.

Пока Ася была рядом, я мог не думать об этом. Стоило нам проститься, и мысль о долгах наплывала, как туча.

Я просыпался с ощущением беды. Часами не мог заставить себя одеться. Всерьез планировал ограбление ювелирного магазина.

Я убедился, что любая мысль влюбленного бедняка – преступна.

К тому времени моя академическая успеваемость заметно снизилась. Ася же и раньше была неуспевающей. В деканате заговорили про наш моральный облик.

Я заметил – когда человек влюблен и у него долги, то предметом разговоров становится его моральный облик.

Короче, все было ужасно.

Однажды я бродил по городу в поисках шести рублей. Мне необходимо было выкупить зимнее пальто из ломбарда. И я повстречал Фреда Колесникова.

Фред курил, облокотясь на латунный поручень Елисеевского магазина. Я знал, что он фарцовщик. Когда-то нас познакомила Ася.

Это был высокий парень лет двадцати трех с нездоровым оттенком кожи. Разговаривая, он нервно приглаживал волосы.

Я, не раздумывая, подошел:

– Нельзя ли попросить у вас до завтра шесть рублей?

Занимая деньги, я всегда сохранял немного развязный тон, чтобы людям проще было мне отказать.

– Элементарно, – сказал Фред, доставая небольшой квадратный бумажник.

Мне стало жаль, что я не попросил больше.

– Возьмите больше, – сказал Фред.

Но я, как дурак, запротестовал.

Фред посмотрел на меня с любопытством.

– Давайте пообедаем, – сказал он. – Хочу вас угостить.

Он держался просто и естественно. Я всегда завидовал тем, кому это удается.

Мы прошли три квартала до ресторана «Чайка». В зале было пустынно. Официанты курили за одним из боковых столиков.

Окна были распахнуты. Занавески покачивались от ветра.

Мы решили пройти в дальний угол. Но тут Фреда остановил юноша в серебристой дакроновой куртке. Состоялся несколько загадочный разговор:

– Приветствую вас.

– Мое почтение, – ответил Фред.

– Ну как?

– Да ничего.

Юноша разочарованно приподнял брови:

– Совсем ничего?

– Абсолютно.

– Я же вас просил.

– Мне очень жаль.

– Но я могу рассчитывать?

– Бесспорно.

– Хорошо бы в течение недели.

– Постараюсь.

– Как насчет гарантий?

– Гарантий быть не может. Но я постараюсь.

– Это будет – фирма?

– Естественно.

– Так что – звоните.

– Непременно.

– Вы помните мой номер телефона?

– К сожалению, нет.

– Запишите, пожалуйста.

– С удовольствием.

– Хоть это и не телефонный разговор.

– Согласен.

– Может быть, заедете прямо с товаром?

– Охотно.

– Помните адрес?

– Боюсь, что нет...

И так далее.

Мы прошли в дальний угол. На скатерти выделялись четкие линии от утюга. Скатерть была шершавая.

Фред сказал:

– Обратите внимание на этого фраера. Год назад он заказал мне партию дельбанов с крестом...

Я перебил его:

– Что такое – дельбаны с крестом?

– Часы, – ответил Фред. – Неважно... Я раз десять приносил ему товар – не берет. Каждый раз придумывает новые отговорки. В общем, так и не подписался. Я все думал – что за номера? И вдруг уяснил, что он не хочет ПОКУПАТЬ мои дельбаны с крестом. Он хочет чувствовать себя бизнесменом, которому нужна партия фирменного товара. Хочет без конца задавать мне вопрос: «Как то, о чем я просил?»...

Официантка приняла заказ. Мы закурили, и я поинтересовался:

– А вас не могут посадить?

Фред подумал и спокойно ответил:

– Не исключено. Свои же и продадут, – добавил он без злости.

– Так, может, завязать?

Фред нахмурился:

– Когда-то я работал экспедитором. Жил на девяносто рублей в месяц...

Тут он неожиданно приподнялся и воскликнул:

– Это – уродливый цирковой номер!

– Тюрьма не лучше.

– А что делать? Способностей у меня нет. Уродоваться за девяносто рублей я не согласен... Ну, хорошо, съем я в жизни две тысячи котлет. Изношу двадцать пять темно-серых костюмов. Перелистаю семьсот номеров журнала «Огонек». И всё? И сдохну, не поцарапав земной коры?.. Уж лучше жить минуту, но по-человечески!..

Тут нам принесли еду и выпивку.

Мой новый друг продолжал философствовать:

– До нашего рождения – бездна. И после нашей смерти – бездна. Наша жизнь – лишь песчинка в равнодушном океане бесконечности. Так попытаемся хотя бы данный миг не омрачать унынием и скукой! Попытаемся оставить царапину на земной коре. А лямку пусть тянет человеческий середняк. Все равно он не совершает подвигов. И даже не совершает преступлений...

Я чуть не крикнул Фреду: «Так совершали бы подвиги!». Но сдержался. Все-таки я пил за его счет.

Мы просидели в ресторане около часа. Потом я сказал:

– Надо идти. Ломбард закрывается.

И тогда Фред Колесников сделал мне предложение:

– Хотите в долю? Я работаю осторожно, валюту и золото не беру. Поправите финансовые дела, а там можно и соскочить. Короче, подписывайтесь... Сейчас мы выпьем, а завтра поговорим...

Назавтра я думал, что мой приятель обманет. Но Фред всего лишь опоздал. Мы встретились около бездействующего фонтана перед гостиницей «Астория». Потом отошли в кусты. Фред сказал:

– Через минуту придут две финки с товаром. Берите тачку и езжайте с ними по этому адресу... Мы, кажется, на вы?

– На ты, естественно, что за церемонии?

– Бери мотор и езжай по этому адресу.

Фред сунул мне обрывок газеты и продолжал:

– Тебя встретит Рымарь. Узнать его просто. У Рымаря идиотская харя плюс оранжевый свитер. Через десять минут появлюсь я. Все будет о'кей!

– Я же не говорю по-фински.

– Это неважно. Главное – улыбайся. Я бы сам поехал, но меня тут знают...

Фред схватил меня за руку:

– Вот они! Действуй!

И пропал за кустами.

Страшно волнуясь, я пошел навстречу двум женщинам. Они были похожи на крестьянок, с широкими заго-

рельными лицами. На женщинах были светлые плащи, элегантные туфли и яркие косынки. Каждая несла хозяйственную сумку, раздувшуюся вроде футбольного мяча.

Бурно жестикулируя, мне удалось подвести женщин к стоянке такси. Очереди не было. Я без конца повторял: «Мистер Фред, мистер Фред...» и трогал одну из женщин за рукав.

– Где этот тип, – вдруг рассердилась женщина, – куда он делся? Чего он нам голову морочит?!

– Вы говорите по-русски?

– Мамочка русская была.

Я сказал:

– Мистер Фред будет чуть позже. Мистер Фред просил отвезти вас к нему домой.

Подъехала машина. Я продиктовал адрес. Потом начал смотреть в окно. Не думал я, что среди прохожих такое количество милиционеров.

Женщины говорили между собой по-фински. Было ясно, что они недовольны. Затем они рассмеялись, и мне стало полегче.

На тротуаре меня поджидал человек в огненном свитере. Он сказал, подмигнув:

– Ну и хари!

– Ты на себя взгляни, – рассердилась Илона, которая была помоложе.

– Они говорят по-русски, – сказал я.

– Отлично, – не смутился Рымарь, – замечательно. Это сблизает. Как вам нравится Ленинград?

– Ничего себе, – ответила Марья.

– В Эрмитаже были?

– Нет еще. А где это?

– Это где картины, сувениры и прочее. А раньше там жили цари.

– Надо бы взглянуть, – сказала Илона.

– Не были в Эрмитаже! – сокрушался Рымарь.

Он даже слегка замедлил шаги. Как будто ему претила дружба с такими некультурными женщинами.

Мы поднялись на второй этаж. Рымарь толкнул дверь, которая была не заперта. Всюду громоздилась посуда. Стены были увешаны фотографиями. На диване

лежали яркие конверты от заграничных пластинок. Постель была не убрана.

Рымарь зажег свет и быстро навел порядок. Затем он спросил:

– Что за товар?

– Лучше ответь, где твой приятель с деньгами?

В ту же минуту раздались шаги и появился Фред Колесников. В руке он нес газету, которую достал из почтового ящика. Вид у него был спокойный и даже равнодушный.

– Терве, – сказал он финкам, – здравствуйте.

Затем повернулся к Рымарю:

– Ну и мрачные физиономии! Ты к ним приставал?

– Я?! – возмутился Рымарь. – Мы говорили о прекрасном! Кстати, они волокут по-русски.

– Отлично, – сказал Фред, – добрый вечер, госпожа Ленарт, как поживаете, Илона-барышня?

– Ничего, спасибо.

– Зачем вы скрыли, что говорите по-русски?

– А кто нас спрашивал?

– Сначала надо выпить, – заявил Рымарь.

Он достал из шкафа бутылку кубинского рома. Финки с удовольствием выпили. Рымарь снова налил.

Когда гости пошли в уборную, Рымарь сказал:

– Все чухонки – на одно лицо.

– Тем более, что они – родные сестры, – пояснил Фред.

– Так я и думал... Кстати, физиономия этой госпожи Ленарт не внушает мне доверия.

Фред прикрикнул на Рымаря:

– А чья физиономия внушает тебе доверие, кроме физиономии следователя?

Финки быстро вернулись. Фред дал им чистое полотенце. Они подняли фужеры и улыбнулись – второй раз за целый день.

Хозяйственные сумки они держали на коленях.

– Ура, – сказал Рымарь, – за победу над Германией!

Мы выпили и финки тоже. На полу стояла радиола, и Фред включил ее ногой. Черный диск слегка покачивался.

– Ваш любимый писатель? – надоедал финкам Рымарь.

Женщины посовещались между собой. Затем Илона сказала:

– Возможно, Каръялайнен.

Рымарь снисходительно улыбнулся, давая понять, что одобряет названную кандидатуру. Однако сам претендует на большее.

– Ясно, – сказал он, – а что за товар?

– Носки, – ответила Марья.

– И больше ничего?

– А чего бы ты хотел?

– Сколько? – поинтересовался Фред.

– Четыреста тридцать два рубля, – отчеканила младшая, Илона.

– Майн гот! – воскликнул Рымарь. – Это же звериный оскал капитализма!

– Меня интересуеет – сколько пар? – отстранил его Фред.

– Семьсот двадцать.

– Креп-найлон? – требовательно вставил Рымарь.

– Синтетика, – ответила Илона, – шестьдесят копеек пара. Всего – четыреста тридцать два рубля...

Тут я должен сделать небольшую математическую выкладку. Креповые носки тогда были в моде. Советская промышленность таких не выпускала. Купить их можно было только на черном рынке. Стоила пара финских носков – шесть рублей. А у финнов их можно было приобрести за шестьдесят копеек. Девятьсот процентов чистого заработка...

Фред вынул бумажник и отсчитал деньги.

– Вот, – сказал он, – еще двадцать рублей. Товар оставьте прямо в сумках.

– Надо выпить, – вставил Рымарь, – за мирное урегулирование Суэцкого кризиса! За присоединение Эльзаса и Лотарингии!

Илона переложила деньги в левую руку. Взяла наполненный до краев стакан.

– Давайте трахнем этих финок, – прошептал Рымарь, – в целях международного единства.

Фред повернулся ко мне:

– Видишь, с кем приходится дело иметь!

Я испытывал чувство беспокойства и страха. Мне хотелось поскорее уйти.

– Ваш любимый художник? – спрашивал Рымарь Илону.

При этом он клал ей руку на спину.

– Возможно, Маантере, – говорила Илона, отодвигаясь.

Рымарь укоризненно приподнимал брови. Словно его эстетическое чувство было немного задето.

Фред сказал:

– Надо проводить женщин и дать водителю семь рублей. Я бы послал Рымаря, но он зажилит часть денег.

– Я?! – возмутился Рымарь. – С моей кристальной честностью?!

Когда я вернулся, повсюду лежали разноцветные целлофановые свертки. Рымарь казался немного сумасшедшим.

– Пиастры, кроны, доллары, – твердил он, – франки, иены...

Потом вдруг успокоился, достал записную книжку и фламастер. Что-то подсчитал и говорит:

– Ровно семьсот двадцать пар. Финны – честный народ. Вот что значит – слаборазвитое государство...

– Помножь на три, – сказал ему Фред.

– Как это – на три?

– Носки уйдут по трешке, если сдать их оптом. Полтора куска с довеском, чистого навара.

Рымарь быстро уточнил:

– Тысяча семьсот двадцать восемь рублей.

Безумие уживалось в нем с практицизмом.

– Пятьсот с чем-то на брата, – добавил Фред.

– Пятьсот семьдесят шесть, – вновь уточнил Рымарь...

Позже мы оказались с Фредом в шашлычной. Клеенка на столе была липкая. Вокруг стоял какой-то жирный туман. Люди проплывали мимо, как рыбы в аквариуме.

Фред выглядел рассеянным и мрачным. Я сказал:

– В пять минут такие деньги!

Надо же было что-то сказать.

– Все равно, – ответил Фред, – будешь сорок минут дожидаться, когда тебе принесут чебуреки на маргарине.

Тогда я спросил:

– Зачем я тебе нужен?

– Я Рымарю не доверяю. Не потому, что Рымарь может обокрасть клиента. Хотя такое не исключено. И не потому, что Рымарь может зарядить клиенту старые облигации вместо денег. И даже не потому, что он склонен трогать клиента руками. А потому, что Рымарь – дурак. Что губит дурака? Тяга к прекрасному. Рымарь тянется к прекрасному. Вопреки своей исторической обреченности, Рымарь хочет японский транзистор. Рымарь идет в магазин «Березка», протягивает кассиру сорок долларов. Это с его-то рожей! Да он в банальном гастрономе рубль протягивает, и то кассир не сомневается, что рубль украден. А тут – сорок долларов! Нарушение правил валютных операций. Готовая статья... Рано или поздно он сядет.

– А я? – спрашиваю.

– Ты – нет. У тебя будут другие неприятности.

Я не стал уточнять – какие.

Прощаясь, Фред сказал:

– В четверг получишь свою долю.

Я уехал домой в каком-то непонятном состоянии. Я испытывал смешанное чувство беспокойства и азарта. Наверное, есть в шальных деньгах какая-то гнусная сила.

Асе я не рассказал о моем приключении. Мне хотелось ее поразить. Неожиданно превратиться в богатого и размашистого человека.

Между тем, дела с ней шли все хуже. Я без конца задавал ей вопросы. Даже когда я поносил ее знакомых, то употреблял вопросительную форму:

– Не кажется ли тебе, что Арик Шульман просто глуп?..

Я хотел скомпрометировать Шульмана в Асиних глазах, достигая, естественно, противоположного.

Скажу, забегаая вперед, что осенью мы расстались. Ведь человек, который беспрерывно спрашивает, должен рано или поздно научиться отвечать...

В четверг позвонил Фред:

– Катастрофа!

– Что такое?

Я подумал, что арестовали Рымаря.

– Хуже, – сказал Фред, – зайди в ближайший галантерейный магазин.

– Зачем?

– Все магазины завалены креповыми носками. Причем, советскими креповыми носками. Восемьдесят копеек – пара. Качество не хуже, чем у финских. Такое же синтетическое дерьмо...

– Что же делать?

– Да ничего. А что тут можно сделать? Кто мог ждать такой подлянки от социалистической экономики?!. Кому я теперь отдам финские носки? Да их по рублю не возьмут! Знаю я нашу блядскую промышленность! Сначала она двадцать лет кочумает, а потом вдруг – раз! И все магазины забиты какой-нибудь одной хреновиной. Если уж зарядили поточную линию, то всё. Будут теперь штамповать эти креповые носки – миллион пар в секунду...

Носки мы в результате поделили. Каждый из нас взял двести сорок пар. Двести сорок пар одинаковых креповых носков безобразной гороховой расцветки. Единственное утешение – клеймо «Мейд ин Финланд».

После этого было многое. Операция с плащами «блонья». Перепродажа шести немецких стереоустановок. Драка в гостинице «Космос» из-за ящика американских сигарет. Бегство от милицейского наряда с грузом японского фотооборудования. И многое другое.

Я расплатился с долгами. Купил себе приличную одежду. Перешел на другой факультет. Познакомился с девушкой, на которой впоследствии женился. Уехал на месяц в Прибалтику, когда арестовали Рымаря и Фреда. Начал делать робкие литературные попытки. Стал отцом. Добился конфронтации с властями. Потерял работу. Месяц просидел в Каляевской тюрьме.

И лишь одно было неизменным. Двадцать лет я щеголял в гороховых носках. Я дарил их всем своим знакомым. Хранил в них елочные игрушки. Вытирал ими пыль. Затыкал носками щели в оконных рамах. И все же количество этой дряни почти не уменьшалось.

Так я и уехал, бросив в пустой квартире груды финских креповых носков. Лишь три пары сунул в чемодан.

Они напомнили мне криминальную юность, первую любовь и старых друзей. Фред, отсидев два года, разбился на мотоцикле «Чизетта». Рымарь отсидел год и служит диспетчером на мясокомбинате. Ася благополучно эмигрировала и преподает лексикологию в Стэнфорде. Что весьма странно характеризует американскую науку.

НОМЕНКЛАТУРНЫЕ ПОЛУБОТИНКИ

Я должен начать с откровенного признания. Ботинки эти я практически украл...

Двести лет назад историк Карамзин побывал во Франции. Русские эмигранты спросили его:

– Что, в двух словах, происходит на родине?

Карамзину и двух слов не понадобилось.

– Воруют, – ответил Карамзин...

Действительно, воруют. И с каждым годом все размашистей.

С мясокомбината уносят говяжьи туши. С текстильной фабрики – пряжу. С завода киноаппаратуры – линзы.

Тащат всё – кафель, гипс, полиэтилен, электромоторы, болты, шурупы, радиолампы, нитки, стекла.

Зачастую все это принимает метафизический характер. Я говорю о совершенно загадочном воровстве без какой-либо разумной цели. Такое, я уверен, бывает лишь в российском государстве.

Я знал тонкого, благородного, образованного человека, который унес с предприятия ведро цементного раствора. В дороге раствор, естественно, схватился. Похититель выбросил каменную глыбу неподалеку от своего дома.

Другой мой приятель взломал агитпункт. Вынес избирательную урну. Притащил ее домой и успокоился. Третий мой знакомый украл огнетушитель. Четвертый унес из кабинета своего начальника бюст Поля Робсона. Пятый – афишную тумбу с улицы Шкапина. Шестой – пюпитр из клуба самодеятельности.

Я, как вы сможете убедиться, действовал гораздо практичнее. Я украл добротные советские ботинки, предназначенные на экспорт. Причем, украл я их не в магазине, разумеется. В советском магазине нет таких ботинок. Стащил я их у председателя ленинградского горисполкома. Короче говоря, у мэра Ленинграда.

Однако мы забежали вперед.

Демобилизовавшись, я поступил в заводскую многотиражку. Прослужил в ней три года. Понял, что идеологическая работа не для меня.

Мне захотелось чего-то более непосредственного. Далекого от нравственных сомнений.

Я припомнил, что когда-то занимался в художественной школе. Между прочим, в той же самой, которую окончил известный художник Шемякин. Какие-то навыки у меня сохранились.

Знакомые устроили меня по благу в ДПИ (Комбинат декоративно-прикладного искусства). Я стал учеником камнереза. Решил утвердиться на поприще монументальной скульптуры.

Увы, монументальная скульптура – жанр весьма консервативный. Причина этого – в самой ее монументальности.

Можно тайком писать романы и симфонии. Можно тайно экспериментировать на холсте. А вот попытайтесь-ка утаить четырехметровую скульптуру. Не выйдет!

Для такой работы необходима просторная мастерская. Значительные подсобные средства. Целый штат ассистентов, формовщиков, грузчиков. Короче, требуется официальное признание. А значит – полная благонадежность. И никаких экспериментов...

Побывал я однажды в мастерской знаменитого скульптора. По углам громоздились его незавершенные работы. Я легко узнал Юрия Гагарина, Маяковского,

Фиделя Кастро. Пригляделся и замер – все они были голые. То есть абсолютно голые. С добросовестно вылепленными задами, половыми органами и рельефной мускулатурой.

Я похолодел от страха.

– Ничего удивительного, – пояснил скульптор, – мы же реалисты. Сначала лепим анатомию. Потом одежду...

Зато наши скульпторы – люди богатые. Больше всего они получают за изображение Ленина. Даже трудоемкая борода Карла Маркса оплачивается не так щедро.

Памятник Ленину есть в каждом городе. В любом районном центре. Заказы такого рода – неистоимы. Опытный скульптор может вылепить Ленина вслепую с завязанными глазами. Хотя бывают и курьезы. В Челябинске, например, произошел такой случай.

В центральном сквере, напротив здания горсовета, должны были установить памятник Ленину. Организовали торжественный митинг. Собралось тысячи полторы народу.

Звучала патетическая музыка. Ораторы произносили речи.

Памятник был накрыт серой тканью.

И вот наступила решающая минута. Под грохот барабанов чиновники местного исполкома сдернули ткань.

Ленин был изображен в знакомой позе – туриста, голосующего на шоссе. Правая его рука указывала дорогу в будущее. Левую он держал в кармане распахнутого пальто.

Музыка стихла. В наступившей тишине кто-то засмеялся. Через минуту хохотала вся площадь.

Лишь один человек не смеялся. Это был ленинградский скульптор Виктор Дрыжаков. Выражение ужаса на его лице постепенно сменилось гримасой равнодушия и безысходности.

Что же произошло? Несчастный скульптор изваял две кепки. Одна покрывала голову вождя. Другую Ленин сжимал в кулаке.

Чиновники поспешно укутали бракованный монумент серой тканью.

Наутро памятник был вновь обнародован. За ночь лишнюю кепку убрали...

Мы снова отвлеклись.

Монументы рождаются так. Скульптор лепит глиняную модель. Формовщик отливает ее в гипсе. Потом за дело берутся камнерезы.

Есть гипсовая фигура. И есть бесформенная мраморная глыба. Необходимо, как говорится, убрать все лишнее. Абсолютно точно скопировать гипсовый прообраз.

Для этого имеются специальные устройства, так называемые пунктир-машины. С помощью этих машин на камне делаются тысячи зарубок. То есть, определяются контуры будущего монумента.

Затем камнерез вооружается небольшим перфоратором. Стесывает грубые напластования мрамора. Берется за киянку и скарапель (нечто вроде молотка и зубила). Предстоит завершающий этап, филигранная, ответственная работа.

Камнерез обрабатывает мраморную поверхность. Одно неверное движение – и конец. Ведь строение мрамора подобно древесной фактуре. В мраморе есть хрупкие слои, затвердения, трещины. Есть прочные фактурные сгустки. (Что-то вроде древесных сучков.) Есть многочисленные вкрапления иной породы. И так далее. В общем, дело это кропотливое и непростое.

Меня зачислили в бригаду камнерезов. Нас было трое. Бригадира звали Осип Лихачев. Его помощника и друга – Виктор Цыпин. Оба были мастерами своего дела и, разумеется, горькими пьяницами.

При этом, Лихачев выпивал ежедневно, а Цыпин страдал хроническими запоями. Что не мешало Лихачеву изредка запивать, а Цыпину опохмеляться при каждом удобном случае.

Лихачев был хмурый, сдержанный, немногословный. Он часами молчал, а затем вдруг произносил короткие и совершенно неожиданные речи. Его монологи были продолжением тяжелых внутренних раздумий. Он восклицал, резко поворачиваясь к любому случайному человеку:

– Вот ты говоришь – капитализм, Америка, Европа! Частная собственность!.. У самого последнего чучмека –

легковой автомобиль!.. А доллар, извиняюсь, все же падает!..

– Значит, есть куда падать, – весело откликнулся Цыпин, – уже неплохо. А твоему засраному рублю и падать некуда...

Однако Лихачев не реагировал, снова погрузившись в безмолвие.

Цыпин, наоборот, был разговорчивым и добродушным человеком. Ему хотелось спорить.

– Дело не в машине, – говорил он, – я сам автолюбитель... Главное при капитализме – свобода. Хочешь – пьешь с утра до ночи. Хочешь – вкалываешь круглые сутки. Никакого идейного воспитания. Никакой социалистической морали. Кругом журналы с голыми девками... Опять же – политика. Допустим, не понравился тебе какой-нибудь министр – отлично. Пишешь в редакцию: министр – говно! Любому президенту можно в рожу наплевать. О вице-президентах я уж и не говорю... А машина и здесь не такая большая редкость. У меня с шестидесятого года «Запорожец», а что толку?..

Действительно, Цыпин купил «Запорожец». Однако, будучи хроническим пьяницей, месяцами не садился за руль. В ноябре машину засыпало снегом. «Запорожец» превратился в небольшую снежную гору. Около нее всегда толпились дворовые ребята.

Весной снег растаял. «Запорожец» стал плоским, как гоночная машина. Крыша его была продавлена детскими санками.

Цыпин этому почти обрадовался:

– За рулем я обязан быть трезвым. А в такси я и пьяный доеду...

Такие вот попались мне учителя.

Вскоре мы получили заказ. Причем, довольно выгодный и срочный. Бригаде предстояло вырубить рельефное изображение Ломоносова для новой станции метро. Скульптор Чудновский быстро изготовил модель. Формовщики отлили ее в гипсе. Мы пришли взглянуть на это дело.

Ломоносов был изображен в каком-то подозрительном халате. В правой руке он держал бумажный свиток.

В левой – глобус. Бумага, как я понимаю, символизировала творчество, а глобус – науку.

Сам Ломоносов выглядел упитанным, женственным и неопрятным. Он был похож на свинью. В сталинские годы так изображали капиталистов. Видимо, Чудновскому хотелось утвердить примат материи над духом.

А вот глобус мне понравился. Хотя почему-то он был развернут к зрителям американской стороной.

Скульптор добросовестно вылепил миниатюрные Кордильеры, Аппалаччи, Гвианское нагорье. Не забыл про озера и реки – Гурон, Атабаска, Манитоба...

Выглядело это довольно странно. В эпоху Ломоносова такой подробной карты Америки, разумеется, не существовало. Я сказал об этом Чудновскому. Скульптор рассердился:

– Вы рассуждаете, как десятиклассник! А моя скульптура – не школьное пособие! Перед вами – шестая инвенция Баха, запечатленная в мраморе. Точнее, в гипсе... Последний крик метафизического синтетизма!..

– Коротко и ясно, – вставил Цыпин.

– Не спорь, – шепнул мне Лихачев, – какое твое дело?

Неожиданно Чудновский смягчился:

– А может, вы правы. И все же – оставим как есть. В каждой работе необходима минимальная доля абсурда...

Мы принялись за дело. Сначала работали на комбинате. Потом оказалось, что нужно спешить. Станцию решено было запустить к ноябрьским праздникам.

Пришлось заканчивать работу на месте. То есть, под землей.

На станции «Ломоносовская» шли отделочные работы. Здесь трудились каменщики, электрики, штукатуры. Бесчисленные компрессоры производили адский шум. Пахло жженой резиной и мокрой известкой. В металлических бочках горели костры.

Нашу модель бережно опустили под землю. Установили ее на громадных дубовых козлах. Рядом висела на цепях четырехтонная мраморная глыба. В ней угадывались приблизительные очертания фигуры Ломоносова. Нам предстояла самая ответственная часть работы.

Тут возникло непредвиденное осложнение. Дело в том, что эскалаторы бездействовали. Идя наверх за водкой, требовалось преодолеть шестьсот ступеней.

В первый день Лихачев заявил:

– Иди. Ты самый молодой.

Я и не знал, что метро расположено на такой глубине. Да еще в Ленинграде, где почва сырая и зыбкая. Мне пришлось два раза отдохнуть. «Столичная», которую я принес, была выпита за минуту.

Пришлось идти снова. Я все еще был самым молодым. Короче, за день я шесть раз ходил наверх. У меня заболели колени.

На следующий день мы поступили иначе. А именно, сразу же купили шесть бутылок. Это не помогло. Наши запасы привлекли внимание окружающих. К нам потянулись электрики, сварщики, маляры, штукатуры. Через десять минут водка кончилась. И снова я отправился наверх.

На третий день мои учителя решили бросить пить. На время, разумеется. Но окружающие по-прежнему выпивали. И щедро угощали нас.

На четвертый день Лихачев объявил:

– Я не фраер! Я не могу больше пить за чужой счет! Кто у нас, ребята, самый молодой?..

И я отправился наверх. Подъем давался мне все легче. Видимо, ноги окрепли.

Так что, работали, в основном, Лихачев и Цыпин. Облик Ломоносова становился все более четким. И, надо заметить, все более отталкивающим.

Иногда появлялся скульптор Чудновский. Давал руководящие указания. Кое-что на ходу переделывал.

Работяги тоже интересовались Ломоносовым. Спрашивали, например:

– Кто это в принципе – мужик или баба?

– Нечто среднее, – отвечал им Цыпин...

Надвигались праздники. Отделочные работы близились к завершению. Станция метро «Ломоносовская» принимала нарядный, торжественный вид.

Пол застелили мозаикой. Своды были украшены чугунными лампонами. Одна из стен предназначалась

для нашего рельефа. Там установили гигантскую сварную раму. Чуть выше мерцали тяжелые блоки с цепями.

Я убирал мусор. Мои учителя наводили последний глянец. Цыпин прорабатывал кружевное жабо и шнуры на ботинках. Лихачев шлифовал завитки парика.

В канун открытия станции мы ночевали под землей. Нам предстояло вывесить свой злополучный рельеф. А именно – поднять его на таях. Ввести так называемые «пироны». И наконец, залить крепления для прочности эпоксидной смолой.

Поднять такую глыбу на четыре метра от земли довольно сложно. Мы провозились несколько часов. Блоки то и дело заклинивало. Штыри не попадали в отверстия. Цепи скрипели, камень раскачивался. Лихачев орал:

– Не подходи!..

Наконец, мраморная глыба повисла над землей. Мы сняли цепи и отошли на почтительное расстояние. Издавка Ломоносов выглядел более прилично.

Цыпин и Лихачев с облегчением выпили. Потом начали готовить эпоксидную смолу.

Разошлись мы под утро. В час должно было состояться торжественное открытие.

Лихачев пришел в темно-синем костюме. Цыпин – в замшевой куртке и джинсах. Я и не подозревал, что он щеголь.

Между прочим, оба были трезвые. От этого у них даже цвет лица изменился.

Мы спустились под землю. Среди мраморных колонн прогуливались нарядные трезвые работяги. Хотя карманы у многих заметно оттопыривались.

Четверо плотников наскоро сколачивали маленькую трибуну. Установить ее должны были под нашим рельефом.

Осип Лихачев понизил голос и сказал мне:

– Есть подозрение, что эпоксидная смола не затвердела. Цыпа бухнул слишком много растворителя. Короче, эта мраморная фигура держится на честном слове. По-

этому, когда начнется митинг, отойди в сторонку. И жену предупреди.

– Но там же, – говорю, – будет стоять весь цвет Ленинграда! А что, если все сооружение рухнет?

– Может, оно бы и к лучшему, – вяло сказал бригадир...

В час должны были появиться именитые гости. Ожидали мэра города, товарища Сизова. Его должны были сопровождать представители ленинградской общественности. Ученые, генералы, спортсмены, писатели.

Программа открытия была такая. Сначала – небольшой банкет для избранных. Затем – короткий митинг. Вручение почетных грамот и наград. А дальше, как выразился начальник станции, – «по интересам». Одни – в ресторан, другие – на концерт художественной самодеятельности.

Гости прибыли в час двадцать. Я узнал композитора Андрея Петрова, штангиста Дудко и режиссера Владимира. Ну и, конечно, самого мэра.

Это был высокий, еще не старый человек. Выглядел он почти интеллигентно. Его охраняли двое хмурых упитанных молодцов. Их выделяла легкая меланхолия, свидетельствующая о явной готовности к драке.

Мэр обошел станцию, помедлил возле нашего рельефа. Негромко спросил:

– Кого он мне напоминает?

– Хрущева, – подмигнул нам Цыпин.

Мэр не дождался ответа и последовал дальше. За ним, угодливо посмеиваясь, бежал начальник станции.

К этому времени трибуну обтянули розовым сатином. Через несколько минут осмотр закончился. Нас пригласили к столу.

Отворилась какая-то загадочная боковая дверь. Мы увидели просторную комнату. Я и не знал о ее существовании. Наверное, здесь собирались оборудовать бомбоубежище для администрации.

В банкете участвовали гости и несколько заслуженных работяг. Мы были приглашены все трое. Видимо, нас считали местной интеллигенцией. Тем более, что скульптор отсутствовал.

Всего за столом разместилось человек тридцать. По одну сторону – гости, напротив – мы.

Первым выступил начальник станции. Он представил мэра города, назвав его «стойким ленинцем». Все долго аплодировали.

После этого взял слово мэр. Он говорил по бумажке. Выразил чувство глубокого удовлетворения. Поздравил всех трудящихся с досрочным завершением работ. Запнясь, назвал три или четыре фамилии. И, наконец, предложил выпить за мудрое ленинское руководство.

Все зашумели и потянулись к бокалам.

Потом было еще несколько тостов. Начальник станции предложил выпить за мэра. Композитор Петров – за светлое будущее. Режиссер Владимиров – за мирное сосуществование. А штангист Дудко за сказку, которая на глазах превращается в быль.

Цыпин порозовел. Он выпил фужер коньяка и потянулся за шампанским.

– Не смешивай, – посоветовал бригадир, – а то уже хорош.

– Что значит – не смешивай, – удивился Цыпин, – почему? Я же грамотно смешиваю. Делаю все по науке. Водку с пивом мешать – это одно. Коньяк с шампанским – другое. Я в этом деле профессор.

– Оно и видно, – нахмурился Лихачев, – по той же эпоксидной смоле...

Через минуту все говорили хором. Цыпин обнимал режиссера Владимирова. Начальник станции ухаживал за мэром. Штукатуры и каменщики, перебивая один другого, жаловались на заниженные расценки.

Только Лихачев молчал. Видно, думал о чем-то. Затем вдруг резко и совершенно неожиданно произнес, обращаясь к штангисту Дудко:

– Знал одну еврейку. Сошлись. Готовила неплохо...

А я наблюдал за мэром. Что-то беспокоило его. Томило. Заставляло хмуриться и напрягаться. Временами по его лицу бродила страдальческая улыбка.

Затем произошло следующее.

Мэр резко придвинулся к столу. Не опуская головы,

пригнулся. Левая рука его, оставив бутерброд, скользнула вниз.

Около минуты лицо почетного гостя выражало крайнюю сосредоточенность. Потом, издав едва уловимый звук лопнувшей шины, мэр весело откинулся на спинку кресла. И с облегчением взял бутерброд.

Тогда я незаметно приподнял скатерть. Заглянул под стол и тотчас выпрямился. То, что я увидел, поразило меня и вынудило затаить дыхание. Я сжался от причастности к тайне.

А увидел я крупные ступни мэра города, туго обтянутые зелеными шелковыми носками. Пальцы ног мэра города шевелились. Как будто мэр импровизировал на рояле.

Ботинки стояли рядом.

И тут – не знаю, что со мной произошло. То ли сказало мое подавленное диссидентство. То ли заговорила во мне криминальная сущность. То ли воздействовали на меня загадочные разрушительные силы.

Раз в жизни такое бывает с каждым.

Дальнейшие события припоминаю, как в тумане. Я передвинулся на край сиденья. Вытянул ногу. Нащупал ботинки мэра города и осторожно притянул к себе.

И лишь после этого замер от страха.

В ту же минуту поднялся начальник станции:

– Внимание, друзья! Приглашаю вас на короткий торжественный митинг. Почетные гости, займите места на трибуне!

Все зашевелились. Режиссер Владимиров поправил галстук. Штангист Дудко торопливо застегнул верхнюю пуговицу на брюках. Цыпин и Лихачев неохотно отставили бокалы.

Я посмотрел на мэра. Тревожно оглядываясь, мэр шарил ногой под столом. Я, разумеется, не видел этого. Но я догадывался об этом по выражению его растерянного лица. Было заметно, что радиус поисков увеличивается.

Что мне оставалось делать?

Возле моего кресла стоял портфель Лихачева. Портфель всегда был с нами. В нем умещалось до шестнадцати

бутылок «Столичной». Таскать его было раз и навсегда поручено мне.

Я уронил носовой платок. Затем нагнулся и сунул ботинки мэра в портфель. Я ощутил их благородную, тяжеловатую прочность. Не думаю, что бы кто-то все это заметил.

Застегнув портфель, я встал. Остальные тоже стояли. Все, кроме товарища Сизова. Охранники вопросительно поглядывали на босса.

И тут мэр города показал себя умным и находчивым человеком. Прижав ладонь к груди, он тихо выговорил:

– Что-то мне нехорошо. Я на минуточку прилягу...

Мэр быстро снял пиджак, ослабил галстук и взгромоздился на диванчик у телефона. Его ступни в зеленых шелковых носках утомленно раздвинулись. Руки были сложены на животе. Глаза прикрыты.

Охранники начали действовать. Один звонил врачу. Другой командовал:

– Освободите помещение! Я говорю – освободите помещение! Да побыстрее! Начинайте митинг!.. Еще раз повторяю – начинайте митинг!..

– Могу я чем-то помочь? – вмешался начальник станции.

– Убирайся, старый пидор! – раздалось в ответ.

Первый охранник добавил:

– На столах все оставить, как есть! Не исключена провокация! Надеюсь, фамилии присутствовавших известны?

Начальник станции угодливо кивнул:

– Я списочек представлю...

Мы вышли из помещения. Я нес портфель в дрожащей руке. Среди колонн толпились работяги. Ломоносов, слава Богу, висел на прежнем месте.

Митинг не отменили. Именитые гости, лишившиеся своего предводителя, замедлили шаги возле трибуны. Имскомандовали – подняться. Гости расположились под мраморной глыбой.

– Пошли отсюда, – сказал Лихачев, – чего мы здесь не видели? Я знаю пивную на улице Чкалова.

– Хорошо бы, – говорю, – удостовериться, что монумент не рухнул.

– Если рухнет, – сказал Лихачев, – то мы и в пивной услышим.

Цыпин добавил:

– Хохоту будет...

Мы выбрались на поверхность. День был морозный, но солнечный. Город был украшен праздничными флагами.

А нашего Ломоносова через два месяца сняли. Ленинградские ученые написали письмо в газету. Жаловались, что наша скульптура принижает великий образ. Претензии, естественно, относились к Чудновскому. Так что деньги нам полностью заплатили. Лихачев сказал:

– Это главное...

ПРИЛИЧНЫЙ ДВУБОРТНЫЙ КОСТЮМ

Я и сейчас одет неважно. А раньше одевался еще хуже. В Союзе я был одет настолько плохо, что меня даже корили за это. Вспоминаю, как директор Пушкинского заповедника говорил мне:

– Своими брюками, товарищ Довлатов, вы нарушаете праздничную атмосферу здешних мест...

В редакциях, где я служил, мной тоже часто были недовольны. Помню, редактор одной газеты жаловался:

– Вы нас попросту компрометируете. Мы оказали вам доверие. Делегировали вас на похороны генерала Филоненко. А вы, как мне стало известно, явились без пиджака.

– Я был в куртке.

– На вас была какая-то старая ряса.

– Это не ряса. Это заграничная куртка. И кстати, подарок Леже.

(Куртка, и вправду, досталась мне от Фернана Леже. Но эта история – особая.)

– Что такое «леже»? – поморщился редактор.

– Леже – выдающийся французский художник. Член коммунистической партии.

– Не думаю, – сказал редактор, потом вдруг рассердился, – хватит! Вечные отговорки! Все не как у людей! Извольте одеваться так, как подобает работнику солидной газеты!

Тогда я сказал:

– Пусть мне редакция купит пиджак. Еще лучше – костюм. А галстук, так и быть, я сам куплю...

Редактор хитрил. Ему было совершенно все равно, как я одеваюсь. Дело было не в этом. Все объяснялось просто.

Я был самым здоровым в редакции. Самым крупным. То есть, как уверяло меня начальство, – самым представительным. Или, по выражению ответственного секретаря Минца, – «наиболее репрезентативным».

Когда умирала какая-нибудь знаменитость, на похороны от редакции делегировали меня. Ведь гроб тащить не каждому под силу. Я же занимался этим не без вдохновения. Не потому, что так уж любил похороны. А потому, что ненавидел газетную работу...

– Нахальство, – сказал редактор.

– Ничего подобного, – говорю, – законное требование. Железнодорожникам, например, выдается спецодежда. Сторожам – тулупы. Водолазам – скафандры. Пускай редакция мне купит спецодежду. Костюм для похоронных церемоний...

Редактор наш был добродушным человеком. Имея большую зарплату, можно позволить себе такую роскошь, как добродушие. Да и времена были тогда сравнительно либеральные.

Он сказал:

– Давайте примем компромиссное решение. Вы подготовите до Нового года три социально значимых материала. Три статьи широкого общественно-политического звучания. И тогда редакция премирует вас скромным костюмом.

– Что значит – скромным? Дешевым?

– Не дешевым, а черным. Для торжественных случаев.

– О'кей, – говорю, – запомним этот разговор...

Через неделю прихожу в редакцию. Вызывает меня заведующий отделом пропаганды Безуглов. Спускаюсь ниже этажом. Безуглов говорит одновременно по двум телефонам. Слышу:

– Белорус не годится. Белорусов навалом. Узбека мне давай, или, на худой конец, эстонец... Хотя нет, погоди, эстонец вроде бы есть... Зато молдаванин под сомнением... Что?.. Рабочий отпадает, пролетариев достаточно... Давай интеллигента, либо сферу обслуживания. А самое лучшее – военного. Какого-нибудь старшину... В общем, действуй!

Безуглов поднял другую трубку:

– Алё... Срочно нужен узбек. Причем, любого качества, хоть тунеядец... Постарайся, голубчик, век не забуду...

Я поздоровался и спрашиваю:

– Что это за интернационал?

Безуглов говорит:

– Скоро День конституции. Вот мы и решили дать пятнадцать очерков. По числу союзных республик. Охватить представителей разных народов.

Безуглов вынул сигареты и продолжал:

– С русскими, допустим, нет проблем. Украинцев тоже хватает. Грузина нашли в медицинской академии. Азербайджанца на мясокомбинате. Даже молдаванина подыскали, инструктора райкома комсомола. А вот с узбеками, киргизами, туркменами – завал. Где я возьму узбека?!

– В Узбекистане, – подсказал я.

– Какой ты умный! Ясно, что в Узбекистане. Но у меня же – сроки. Не говоря о том, что командировочные фонды давно израсходованы... Короче, хочешь заработать пятьдесят рублей?

– Хочу.

– Я так и думал... Найди мне узбека, выпишу полтинник. Набавлю как за вредность...

– У меня есть знакомый татарин.

Безуглов рассердился:

– Зачем мне татарин?! У меня самого на площадке татары живут. И что толку? Это же не союзная республика... Короче, найди мне узбека. Киргиза и туркмена я уже распределил между внештатниками. Таджики вроде бы есть у Сашки Шевелева. Казаха ищет Самойлов. И так далее. Нужен узбек. Возьмешься за это дело?

– Ладно, – говорю, – но я тебя предупреждаю. Очерк будет социально значимым. С широким общественно-политическим звучанием.

– Ты выпил? – спросил Безуглов.

– Нет. А у тебя есть предложения?

– Что ты, – замахал руками Безуглов, – исключено. Я пью только вечером... Не раньше часу дня...

Безуглова я знал давно. Человек он был своеобразный. Родом из Свердловска.

Помню, собирался я в командировку на Урал. Естественно, должен был заехать в Свердловск. И как раз на майские праздники. То есть, могли быть осложнения с гостиницей.

Обращаюсь к Безуглову:

– Могу я переночевать в Свердловске у твоих родителей?

– Естественно, – закричал Безуглов, – конечно! Сколько угодно! Все будут только рады. Квартира у них – громадная. Батя – член-корреспондент, мамаша – заслуженный деятель искусств. Угостят тебя домашними пельменями... Единственное условие: не проговорись, что мы знакомы. Иначе все пропало. Ведь я с четырнадцати лет – позор семьи!..

– Ладно, – говорю, – поищу тебе узбека.

Я начал действовать. Перелистал записную книжку. Позвонил трем десяткам знакомых. Наконец, один приятель, трубач, сообщил мне:

– У нас есть тромбонист Балиев. По национальности – узбек.

– Прекрасно, – говорю, – дай мне номер его телефона.

– Записывай.

Я записал.

– Он тебе понравится, – сказал мой друг. – Мужик культурный, начитанный, с юмором. Недавно освобо-
дился.

– Что значит – освобожден?

– Кончился срок, вот его и освободили.

– Ворюга, что ли? – спрашиваю.

– Почему это ворюга? – обиделся друг. – Мужик за изнасилование сидел...

Я положил трубку.

В ту же минуту звонок Безуглова:

– Тебе повезло, – кричит, – нашли узбека. Мищук его нашел... Где? Да на Кузнечном рынке. Торговал этой... как её... хохломой.

– Наверное, пахлавой?

– Ну, пахлавой, какая разница... А мелкий частник – это даже хорошо. Это сейчас негласно поощряется. Приусадебные наделы, личные огороды и все такое...

Я спросил:

– Ты уверен, что пахлава растет в огороде?

– Я не знаю, где растет пахлава. И знать не хочу. Но я хорошо знаю последние инструкции горкома... Короче, с узбеком порядок.

– Жаль, – говорю, – у меня только что появилась отличная кандидатура. Культурный, образованный узбек. Солист оркестра. Недавно с гастролей вернулся.

– Поздно. Прибереги его на будущее. Мищук уже статью принес. А для тебя есть новое задание. Приближается День рационализатора. Ты должен найти современного русского умельца, потомка знаменитого Левши. Того самого, который подковал английскую блоху. И сделать на эту тему материал.

– Социально значимый?

– Не без этого.

– Ладно, – говорю, – попытаюсь...

Я слышал о таком умельце. Мне говорил о нем старший брат, работавший на кинохронике.

Жил старик на Елизаровской, под Ленинградом, в частном доме. Найти его оказалось проще, чем я думал. Первый же встречный указал мне дорогу.

Звали старика Евгений Эдуардович. Он реставрировал старинные автомобили. Отыскивал на свалках ржавые бесформенные корпуса. С помощью разнообразных источников восстанавливал первоначальный облик машины. Затем проделывал огромную работу. Вытачивал, клеил, никелировал.

Он возродил десятки старинных моделей. Среди его творений были «Олдсмобили» и «Шевроле», «Пежо» и «Форды». Разноцветные, сверкающие кожей, медью, хромом, неуклюже-изысканные, они производили яркое впечатление.

Причем, все эти модели были действующими. Они вибрировали, двигались, гудели. Слегка раскачиваясь, обгоняли пешеходов. Это было сильное, почти цирковое зрелище.

За рулем восседал хозяин, Евгений Эдуардович. Его старинная кожаная тужурка лоснилась. Глаза были прикрыты целлулоидными очками. Широчайшее кепи дополняло его своеобразный облик.

Кстати, он был чуть ли не первым российским автомобилистом. Сел за руль в двенадцатом году. Некоторое время был личным шофером Родзянко. Затем возил Троцкого, Кагановича, Андреева. Возглавил первую российскую автошколу. Войну закончил командиром бронетанкового подразделения. Удостоился многих правительственных наград. Естественно, сидел. В преклонные годы занялся реставрацией старинных автомобилей.

Продукция Евгения Эдуардовича демонстрировалась на международных выставках. Его модели использовали на съемках отечественные и зарубежные кинематографисты. Он переписывался на четырех языках с редакциями бесчисленных автомобильных журналов.

Если машины участвовали в киносъемках, хозяин сопровождал их. Кинорежиссеры обратили внимание на импозантную фигуру Евгения Эдуардовича. Поначалу использовали его в массовых сценах. Затем стали поручать ему небольшие эпизодические роли. Он изображал меньшевиков, дворян, ученых старого закала. В общем, стал еще и киноактером...

Я провел на Елизаровской двое суток. Мои записи были полны интересных деталей. Мне не терпелось приступить к работе.

Приезжаю в редакцию. Узнаю, что Безуглов в командировке (а ведь он говорил мне, что командировочные фонды израсходованы).

Ладно... Захожу к ответственному секретарю газеты Боре Минцу. Рассказываю о своих планах. Сообщаю наиболее эффектные подробности.

Минц говорит:

– Как фамилия?

Я достал визитную карточку Евгения Эдуардовича.

– Холидей, – отвечаю, – Евгений Эдуардович Холидей.

Минц округлил глаза:

– Холидей? Русский умелец – Холидей? Потомок Левши – Холидей?! Ты шутишь!.. Что мы знаем о его происхождении? Откуда у него такая фамилия?

– Минц, по-твоему, – лучше?.. Не говоря о происхождении...

– Хуже, – согласился Минц, – бесспорно, хуже. Но Минц, при этом, – частное лицо. Про Минца не сочиняют очерков к Дню рационализатора. Минц не герой. О Минце не пишут...

(Я тогда подумал – не зарекайся!)

Он добавил:

– Лично я не против англичан.

Мне вдруг стало тошно. Что происходит? Все не для печати. Всё кругом не для печати. Не знаю, откуда советские журналисты черпают темы!.. Все мои затеи – неосуществимые. Все мои разговоры – не телефонные. Все знакомства – подозрительные...

Ответственный секретарь говорит:

– Напиши про мать-героиню. Найди обыкновенную, скромную мать-героиню. Причем, с нормальной фамилией. И напиши строк двести пятьдесят. Такой материал всегда проскочит. Мать-героиня – это вроде беспроигрышной лотереи...

Что мне оставалось делать? Все-таки я штатный журналист.

Опять звоню друзьям. Приятель говорит:

– У нашей дворничихи – целая орава ребятишек. Хулиганье невероятное.

– Это не важно.

– Ну, тогда приезжай.

Еду по адресу.

Дворничиху звали Лидия Васильевна Брыкина. Это тебе не мистер Холидей! Жилище ее производило страшное впечатление. Шаткий стол, несколько продырявленных матрасов, удушающий тяжелый запах. Кругом возились оборванные, неопрятные ребятишки. Самый маленький орал в фанерной люльке. Девочка лет четырнадцати мрачно рисовала пальцем на оконном стекле.

Я объяснил цель моего прихода. Лидия Васильевна оживилась:

– Пиши, малый, записывай... Уж я постараюсь. Все расскажу народу про мою собачью жизнь.

Я спросил:

– Разве государство вам не помогает?

– Помогает. Еще как помогает. Сорок рублей нам положено в месяц. Ну и ордена с медалями. Вон на окне стоит полная банка. На мандарины бы их сменять, один к четырем.

– А муж? – спрашиваю.

– Который? У меня их целая рота. Последний за «Солнцедаром» ушел, да так и не вернулся. С год тому назад...

Что мне оставалось делать? Что я мог написать об этой женщине?

Я посидел для виду и ушел. Обещал зайти в следующий раз.

Звонить было некому. Все опротивело. Я подумал – не уволиться ли мне в очередной раз? Не пойти ли грузчиком работать?

Тут жена говорит мне:

– В подъезде напротив живет интеллигентная дама. Утром гуляет с детьми. Их у нее человек десять... Ты узнай... Я забыла ее фамилию – на ша...

– Шварц?

– Да нет, Шаповалова... Или Шапошникова... Фамилию и телефон можно узнать в домоуправлении.

Я пошел в домоуправление. Поговорил с начальником Михеевым. Человек он был приветливый и добродушный. Пожаловался:

– Подчиненных у меня – двенадцать гавриков, а за вином отправить некого...

Когда я заговорил об этой самой даме, Михеев почему-то насторожился:

– Не знаю... Поговорите с ней лично. Зовут ее Шапорина Галина Викторовна. Квартира – двадцать три. Да вон она гуляет с малышами. Только я здесь ни при чем. Меня это не касается...

Я направился в сквер. Галина Викторовна оказалась благообразной, представительной женщиной. В советском кино такими изображают народных заседателей.

Я поздоровался и объяснил, в чем дело. Дама сразу насторожилась. Заговорила в точности, как наш управдом:

– В чем дело? Что такое? Почему вы обратились именно ко мне?

Мне стало все это надоедать. Я спрятал авторучку и говорю:

– Что происходит? Чего вы так испугались? Не хотите разговаривать – уйду. Я же не хулиган...

– Хулиганы мне как раз не страшны, – ответила дама.

Затем продолжала:

– Мне кажется, вы интеллигентный человек. Я знаю вашу матушку и знала вашего отца. Я полагаю, вам можно довериться. Я расскажу, в чем дело. Хулиганов я, действительно, не боюсь. Я боюсь милиции.

– Но меня-то, – говорю, – чего бояться? Я же не милиционер.

– Но вы журналист. А в моем положении рекламировать себя более, чем глупо. Разумеется, я не мать-героиня. И ребятишки эти – не мои. Я организовала что-то вроде пансиона. Учю детей музыке, французскому языку, читаю им стихи. В государственных яслях дети болеют, а у меня – никогда. И плату я беру самую умеренную. Но вы

догадываетесь, что будет, если об этом узнает милиция? Пансион-то, в сущности, частный...

– Догадываюсь, – сказал я.

– Поэтому забудьте о моем существовании.

– Ладно, – говорю.

Я даже не стал звонить в редакцию. Скажу, думаю, если потребуется, что у меня творческий застой. Все равно уже гонорары за декабрь будут символические. Рублей шестнадцать. Тут не до костюма. Лишь бы не уволили...

Тем не менее, костюм от редакции я получил. Строгий, двубортный костюм, если не ошибаюсь, восточно-германского производства. Дело было так.

Я сидел у наших машинисток. Рыжеволосая красавица Манюня Хлопина твердила:

– Да пригласи же ты меня в ресторан! Я хочу в ресторан, а ты меня не приглашаешь!

Мне приходилось вяло оправдываться:

– Я ведь и не живу с тобой.

– А зря. Мы бы вместе слушали радио. Знаешь, какая моя любимая передача – «Щедрый гектар»? А твоя?

– А моя – «Есть ли жизнь на других планетах?»

– Не думаю, – вздыхала Хлопина, – и здесь-то жизнь собачья...

В эту минуту появился таинственный незнакомец. Еще днем я заметил этого человека.

Он был в элегантном костюме, при галстукке. Усы его переходили в низкие бакенбарды. На запястье висела миниатюрная кожаная сумочка.

Скажу, забегаю вперед, что незнакомец был шпионом. Просто, мы об этом не догадывались. Мы решили, что он из Прибалтики. Всех элегантных мужчин у нас почему-то считали латышами.

Незнакомец говорил по-русски с едва заметным акцентом.

Вел он себя непосредственно и даже чуточку агрессивно. Дважды хлопнул редактора по спине. Уговорил парторга сыграть в шахматы. В кабинете ответственного секретаря Минца долго листал технические пособия.

Тут мне хотелось бы отвлечься. Я убежден, что почти все шпионы действуют неправильно. Они зачем-то маскируются, хитрят, изображают простых советских граждан. Сама таинственность их действий – подозрительна. Им надо вести себя гораздо проще. Во-первых, одеваться как можно шикарнее. Это внушает уважение. Кроме того, не скрывать заграничного акцента. Это вызывает симпатию. А главное – действовать с максимальной бесцеремонностью.

Допустим, шпиона интересует новая баллистическая ракета. Он знакомится в театре с известным конструктором. Приглашает его в ресторан.

Глупо предлагать этому конструктору деньги. Денег у него хватает. Нелепо подвергать конструктора идеологической обработке. Он все это знает и без вас.

Нужно действовать совсем иначе. Нужно выпить. Обнять конструктора за плечи. Хлопнуть его по колену и сказать:

– Как поживаешь, старик? Говорят, изобрел что-то новенькое? Черкни-ка мне на салфетке две-три формулы. Просто, ради интереса...

И все. Шпион может считать, что ракета у него в кармане...

Целый день незнакомец провел в редакции. К нему привыкли. Хоть и переглядывались с некоторым удивлением.

Звали его – Артур.

В общем, заходит Артур к машинисткам и говорит:

– Простите, я думал, это есть уборная.

Я сказал:

– Идем. Нам по дороге.

В сортире шпион испуганно оглядел наше редакционное полотенце. Достал носовой платок.

Мы разговорились. Решили спуститься в буфет. Оттуда позвонили моей жене и заехали в «Кавказский».

Выяснилось, что оба мы любим Фолкнера, Бриттена и живопись тридцатых годов. Артур был человеком мыслящим и компетентным. В частности, он сказал:

– Живопись Пикассо – это всего лишь драма, а творчество Рене Магритта – катастрофическая феерия...

Я поинтересовался:

– Ты бывал на Западе?

– Конечно.

– И долго там прожил?

– Долго. Сорок три года. Если быть точным, до прошлого вторника.

– Я думал, ты из Латвии.

– Я швед. Это рядом. Хочу написать книгу о России...

Расстались мы поздно ночью возле гостиницы «Европейская». Договорились встретиться завтра.

Наутро меня пригласили к редактору. В кабинете сидел незнакомый мужчина лет пятидесяти. Он был тощий, лысый, с пегим венчиком над ушами. Я задумался, может ли он причесываться, не снимая шляпы.

Мужчина занимал редакторское кресло. Хозяин кабинета устроился на стуле для посетителей. Я присел на край дивана.

– Знакомьтесь, – сказал редактор, – представитель комитета государственной безопасности майор Чилаев.

Я вежливо приподнялся. Майор, без улыбки, кивнул. Видимо, его угнетало несовершенство окружающего мира.

В поведении редактора я наблюдал – одновременно – сочувствие и злорадство. Вид его как будто говорил: «Ну что? Доигрался?! Теперь уж выкручивайся самостоятельно. А ведь я предупреждал тебя, дурака...»

Майор заговорил. Резкий голос не соответствовал его утомленному виду.

– Знаете ли вы Артура Торнстрема?

– Да, – отвечаю, – вчера познакомились.

– Задавал ли он какие-нибудь провокационные вопросы?

– Вроде бы, нет. Он вообще не задавал мне вопросов. Я что-то не припомню.

– Ни одного?

– По-моему, ни единого.

– С чего началось ваше знакомство? Точнее, где и как вы познакомились?

– Я сидел у машинисток. Он вошел и спрашивает...

– Ах, спрашивает? Значит, все-таки спрашивает?!
О чем же, если не секрет?

– Он спросил – где здесь уборная?

Майор записал эту фразу и добавил:

– Советую вам быть повнимательнее...

Дальнейший разговор показался мне абсолютно бессмысленным. Чилиева интересовало все. Что мы ели? Что пили? О каких художниках беседовали? Он даже поинтересовался, часто ли швед ходил в уборную?..

Майор настаивал, чтоб я припомнил все детали. Не злоупотребляет ли швед алкоголем? Поглядывает ли на женщин? Похож ли на скрытого гомосексуалиста?

Я отвечал подробно и добросовестно. Мне было нечего скрывать.

Майор сделал паузу. Чуть приподнялся над столом. Затем слегка возвысил голос:

– Мы рассчитываем на вашу сознательность. Хотя вы человек довольно легкомысленный. Сведения, которые мы имеем о вас, более чем противоречивы. Конкретно – бытовая неразборчивость, пьянка, сомнительные анекдоты...

Мне захотелось спросить – что же тут противоречивого? Но я сдержался. Тем более, что майор вытащил довольно объемистую папку. На обложке была крупно выведена моя фамилия.

Я не отрываясь глядел на эту папку. Я испытывал то, что почувствовала бы, допустим, свинья в мясном отделе гастронома.

Майор продолжал:

– Мы ждем от вас полнейшей искренности. Рассчитываем на вашу помощь. Надеюсь, вы уяснили, какое это серьезное задание?.. А главное, помните – нам все известно. Нам все известно заранее. Абсолютно все...

Тут мне захотелось спросить – а как насчет Миши Барышникова? Неужели было известно заранее, что Миша останется в Штатах?!

Майор тем временем спросил:

– Как вы договорились со шведом? Должны ли встретиться сегодня?

– Вроде бы, – говорю, – должны. Он пригласил нас с женой в Кировский театр. Думаю позвонить ему, извиниться, сказать, что заболел.

– Ни в коем случае, – привстал майор, – идите. Непременно идите. И все до мелочей запоминайте. Мы вам завтра утром позвоним.

Этого, подумал я, мне только не хватало!

– Не могу, – говорю, – есть объективные причины.

– То есть?

– У меня нет костюма. Для театра нужна соответствующая одежда. Там, между прочим, бывают иностранцы.

– Почему же у вас нет костюма? – спросил майор. – Что за ерунда такая? Вы же работник солидной газеты.

– Зарабатываю мало, – ответил я.

Тут вмешался редактор:

– Я хочу раскрыть вам одну маленькую тайну. Как известно, приближаются новогодние торжества. Есть решение наградить товарища Довлатова ценным подарком. Через полчаса он может зайти в бухгалтерию. Потом заехать во Фрунзенский универмаг. Выбрать там подходящий костюм рублей за сто двадцать.

– У меня, – говорю, – нестандартный размер.

– Ничего, – сказал редактор, – я позвоню директору универмага...

Так я стал обладателем импортного двубортного костюма. Если не ошибаюсь, восточногерманского производства. Надевал я его раз пять. Один раз, когда был в театре со шведом. И раза четыре, когда меня делегировали на похороны...

А моего шведа через неделю выслали из Союза. Он был консервативным журналистом. Выразителем интересов правого крыла.

Шесть лет он изучал русский язык. Хотел написать книгу. И его выслали.

Надеюсь, без моего участия. То, что я рассказывал о нем майору, выглядело совершенно безобидно.

Более того, я даже предупредил Артура, что за ним следят. Вернее, намекнул ему, что стены имеют уши...

Швед не понял. Короче, я тут ни при чем.

Самое удивительное, что знакомый диссидент Шамкович обвинил меня тогда в пособничестве КГБ.

ОФИЦЕРСКИЙ РЕМЕНЬ

Самое ужасное для пьяницы – очнуться на больничной койке. Еще не окончательно проснувшись, ты бормочешь:

– Все! Завязываю! Навсегда завязываю! Больше – ни единой капли!

И вдруг обнаруживаешь на голове толстую марлевую повязку. Хочешь потрогать бинты, но оказывается, что левая рука твоя в гипсе. И так далее.

Все это произошло со мной шестьдесят третьего года на юге республики Коми.

За год до этого меня призвали в армию. Я был зачислен в лагерную охрану. Окончил двадцатидневную школу надзирателей под Синдором...

Еще раньше я два года занимался боксом. Участвовал в республиканских соревнованиях. Однако я не помню, чтобы тренер хоть раз мне сказал:

– Ну, все. Я за тебя спокоен.

Зато я услышал это от инструктора Торопцева в школе надзорсостава. После трех недель занятий. И при том, что угрожали мне в дальнейшем не боксеры, а рецидивисты...

Я попытался оглядеться. На линолеуме желтели солнечные пятна. Тумбочка была заставлена лекарствами. У двери висела стенная газета – «Ленин и здравоохранение».

Пахло дымом и, как ни странно, водорослями. Я находился в санчасти.

Мучительно болела стянутая повязкой голова. Ощущалась глубокая рана над бровью.

На спинке кровати висела моя гимнастерка. Там должны были оставаться сигареты. Вместо пепельницы я использовал банку с каким-то чернильным раствором. Спичечный коробок пришлось держать в зубах.

Теперь можно было припомнить события вчерашнего дня.

Утром меня вычеркнули из конвойного списка. Я пошел к старшине:

– Что случилось? Неужели мне полагается выходной?

– Вроде того, – говорит старшина, – можешь радоваться... Зэк помешался в четырнадцатом бараке. Лаает, кукарекает... Повариху тетю Шуру укусил... Короче, доставишь его в психбольницу на Иоссере. А потом целый день свободен. Типа выходного.

– Когда я должен идти?

– Хоть сейчас.

– Один?

– Ну почему – один? Вдвоем, как полагается. Чурилина возьми или Гаенко...

Чурилина я разыскал в инструментальном цехе. Он возился с паяльником. На верстаке что-то потрескивало, распространяя запах канифоли.

– Напайку делаю, – сказал Чурилин, – ювелирная работа. Погляди.

Я увидел латунную бляху с рельефной звездой. Внутренняя сторона ее была залита оловом. Ремень с такой напайкой превращался в грозное оружие.

Была у нас в ту пору мода – чекисты заводили себе кожаные офицерские ремни. Потом заливали бляху слоем олова и шли на танцы. Если возникало побоище, латунные бляхи мелькали над головами...

Я говорю:

– Собирайся.

– Что такое?

– Психа везем на Иоссер. Какой-то зэк рехнулся в четырнадцатом бараке. Между прочим, тетю Шуру укусил.

Чурилин говорит:

– И правильно сделал. Видно, жрать хотел. Эта Шура казенное масло уносит домой. Я видел.

– Пошли, – говорю.

Чурилин остудил бляху под краном и затянул ремень:

– Поехали...

Мы получили оружие, заходим на вахту. Минуты через две контролер приводит небритого, толстого зэка. Тот упирается и кричит:

– Хочу красивую девушку, спортсменку! Дайте мне спортсменку! Сколько я должен ждать?!

Контролер без раздражения ответил:

– Минимум, лет шесть. И то, если освободят досрочно. У тебя же групповое дело.

Зэк не обратил внимания и продолжал кричать:

– Дайте мне, гады, спортсменку-разрядницу!..

Чурилин присмотрелся к нему и толкнул меня локтем:

– Слушай, да какой он псих?! Нормальный человек. Сначала жрать хотел, а теперь ему бабу подавай. Да еще разрядницу... Мужик со вкусом... Я бы тоже не отказался...

Контролер передал мне документы. Мы вышли на крыльцо. Чурилин спрашивает:

– Как тебя зовут?

– Доремифасоль, – ответил зэк.

Тогда я сказал ему:

– Если вы, действительно, ненормальный – пожалуйста. Если притворяетесь – тоже ничего. Я не врач. Мое дело отвести вас на Иоссер. Остальное меня не волнует. Единственное условие – не переигрывать. Начнете кусаться – пристрелю. А лаять и кукарекать можете сколько угодно...

Идти нам предстояло километра четыре. Попутных лесовозов не было. Машину начальника лагеря взял капитан Соколовский. Уехал, говорят, сдавать какие-то экзамены в Инту.

Короче, мы должны были идти пешком. Дорога вела через поселок, к торфяным болотам. Оттуда – мимо рощи, до самого переезда. А за переездом начинались лагерные вышки Иоссера.

В поселке около магазина Чурилин замедлил шаги. Я протянул ему два рубля. Патрульных в эти часы можно было не опасаться.

Зэк явно одобрил нашу идею. Даже поделился на радостях:

– Толик меня зовут...

Чурилин принес бутылку «Московской». Я сунул ее в карман галифе. Осталось потерпеть до рожи.

Зэк то и дело вспоминал о своем помешательстве. Тогда он становился на четвереньки и рычал.

Я посоветовал ему не тратить сил. Приберечь их для медицинского обследования. А мы уж его не выдадим.

Чурилин расстелил на траве газету. Достал из кармана немного печенья.

Выпили мы по очереди, из горлышка. Зэк сначала колебался:

– Врач может почувствовать запах. Это будет как-то неестественно...

Чурилин перебил его:

– А лаять и кукарекать – естественно?.. Закусишь щавелем, и все дела.

Зэк сказал:

– Убедили...

День был теплый и солнечный. По небу тянулись изменчивые легкие облака. У переезда нетерпеливо гудели лесовозы. Над головой Чурилина вибрировал шмель.

Водка начинала действовать, и я подумал: «Хорошо на свободе! Вот демобилизуюсь и буду часами гулять по улицам. Зайду в кафе на Марата. Покурю на скамейке возле здания Думы...»

Я знаю, что свобода философское понятие. Меня это не интересует. Ведь рабы не интересуются философией. Идти куда хочешь – вот что такое свобода!..

Мои собутыльники дружески беседовали. Зэк объяснял:

– Голова у меня не в порядке. Опять-таки, газы... Ежели по совести, таких бы надо всех освободить. Списать вчистую по болезни. Списывают же устаревшую технику.

Чурилин перебивал его:

– Голова не в порядке?! А красть ума хватало? У тебя по документам групповое хищение. Что же ты, интересно, похитил?

Зэк смущенно отмахивался:

– Да ничего особенного... Трактор...
– Цельный трактор?!
– Ну.
– И как же ты его похитил?
– Очень просто. С комбината железобетонных изделий. Я действовал на психологию.

– Как это?

– Зашел на комбинат. Сел в трактор. Сзади привязал железную бочку из-под тавота. Еду на вахту. Бочка грохочет. Появляется охранник: «Куда везешь бочку?». Отвечаю: «По личной надобности». – «Документы есть?» – «Нет». – «Отвязывай к едрене фене»... Я бочку отвязал и дальше поехал. В общем, психология сработала... А потом мы этот трактор на запчасти разобрали...

Чурилин восхищенно хлопнул зэка по спине:

– Артист ты, батя!

Зэк скромно подтвердил:

– В народе меня уважали.

Чурилин неожиданно поднялся:

– Да здравствуют трудовые резервы!

И достал из кармана вторую бутылку.

К этому времени нашу поляну осветило солнце. Мы перебрались в тень. Сели на поваленную ольху.

Чурилин командовал:

– Поехали!

Было жарко. Зэк до пояса расстегнулся. На груди его видна была пороховая татуировка:

«Фаина! Помнишь дни золотые?!».

А рядом – череп, финка и баночка с надписью «яд»...

Чурилин опьянел внезапно. Я даже не заметил, как это произошло. Он вдруг стал мрачным и затих.

Я знал, что в казарме полно неврастеников. К этому неминуемо приводит служба в охране. Но именно Чурилин казался мне сравнительно здоровым.

Я помнил за ним лишь одну сумасшедшую выходку. Мы тогда возили зэков на лесоповал. Сидели у печи в дощатой будке, грелись, разговаривали. Естественно, выпивали.

Чурилин, без единого слова, вышел наружу. Где-то раздобыл ведро. Наполнил его соляжкой. Потом забрался на крышу и опрокинул горючее в трубу.

Помещение наполнилось огнем. Мы еле выбрались из будки. Трое обгорели.

Но это было давно. А сейчас я говорю ему:

– Успокойся...

Чурилин молча достал пистолет. Потом мы услышали:

– Встать! Бригада из двух человек поступает в распоряжение конвоя! В случае необходимости конвой применяет оружие. Заключенный Холоденко, вперед! Ефрейтор Довлатов – за ним!..

Я продолжал успокаивать его:

– Очнись. Приди в себя. А главное – спрячь пистолет.

Зэк удивился по-лагерному:

– Что за шухер на бану?

Чурилин тем временем опустил предохранитель. Я шел к нему, повторяя:

– Ты просто выпил лишнего.

Чурилин стал пятиться. Я все шел к нему, избегая резких движений. Повторял от страха что-то бессвязное. Даже, помню, улыбался.

А вот зэк не утратил присутствия духа. Он весело крикнул:

– Дела – хоть лезь под нары!..

Я видел поваленную ольху за спиной Чурилина. Пятиться ему оставалось недолго. Я пригнулся. Знал, что, падая, он может выстрелить. Так оно и случилось.

Грохот, треск валежника...

Пистолет упал на землю. Я пинком отшвырнул его в сторону.

Чурилин встал. Теперь я его не боялся. Я мог уложить его с любой позиции. Да и зэк был рядом.

Я видел, как Чурилин снимает ремень. Я не сообразил, что это значит. Думал, что он поправляет гимнастерку.

Теоретически я мог пристрелить его или хотя бы ранить. Мы ведь были на задании. Так сказать, в боевой обстановке. Меня бы оправдали.

Вместо этого я снова двинулся к нему. Интеллигентность мне вредила, еще когда я занимался боксом.

В результате Чурилин обрушил бляху мне на голову.

Главное, я все помню. Сознания не потерял. Самогo удара не почувствовал. Увидел, что кровь потекла мне на брюки. Так много крови, что я даже ладони подставил. Стою, а кровь течет.

Спасибо, что хоть зэк не растерялся. Вырвал у Чурилина ремень. Затем перевязал мне лоб оторванным рукавом сорочки.

Тут Чурилин, видимо, начал соображать. Он схватился за голову и, рыдая, пошел к дороге.

Пистолет его лежал в траве. Рядом с пустыми бутылками. Я сказал зэку:

– Подними...

А теперь представьте себе выразительную картинку. Впереди, рыдая, идет чекист. Дальше – ненормальный зэк с пистолетом. И замыкает шествие ефрейтор с окровавленной повязкой на голове. А навстречу – военный патруль. «ГАЗ-61» с тремя автоматчиками и здоровенным волкодавом.

Удивляюсь, как они не пристрелили моего зэка. Вполне могли дать по нему очередь. Или натравить пса.

Увидев машину, я потерял сознание. Отказали волевые центры. Да и жара наконец подействовала. Я только успел предупредить, что зэк не виноват. А кто виноват – пусть разбираются сами.

Последнее, что я запомнил, была собака. Сидя возле меня, она нервно зевала, раскрывая лиловую пасть...

Над моей головой заработал репродуктор. Оттуда донеслось гудение, последовали легкие щелчки. Я вытащил штепсель, не дожидаясь торжественных звуков гимна.

Мне вдруг припомнилось забытое детское ощущение. Я школьник, у меня температура. Мне разрешают пропустить занятия.

На тумбочке – лекарства вперемешку с яблоками. На одеяле книга «Мальчик из Уржума». Ко мне должны прийти товарищи.

Я жду врача. Он будет садиться на мою постель. Заглядывать мне в горло. Говорить: «Ну-с, молодой человек». Мама будет искать для него чистое полотенце.

Я болен, счастлив, все меня жалеют. Я не должен мыться холодной водой...

Я стал ждать появления врача. Вместо него появился Чурилин. Заглянул в окошко, сел на подоконник. Затем направился ко мне. Вид у него был просительный и скорбный.

Я попытался лягнуть его ногой в мошонку. Чурилин слегка отступил и начал, фальшиво заламывая руки:

– Серега, извини! Я был неправ... Раскаиваюсь... Искренне раскаиваюсь... Действовал в состоянии эффекта...

– Аффекта, – поправил я.

– Тем более...

Чурилин осторожно шагнул в мою сторону:

– Я пошутить хотел... Для смеха... У меня к тебе претензий нет...

– Еще бы, – говорю.

Что я мог ему сказать? Что можно сказать охраннику, который лосьон «Гигиена» употребляет только внутрь?..

Я спросил:

– Что с нашим эком?

– Порядок. Он снова рехнулся. Все утро поет: «Широка страна моя родная». Завтра у него обследование. Пока что сидит в изоляторе.

– А ты?

– А я, естественно, на гауптвахте. То есть, фактически я здесь, а в принципе – на гауптвахте. Там мой земляк дежурит... У меня к тебе дело.

Чурилин подошел еще на шаг и быстро заговорил:

– Серега, погибаю, испекся! В четверг товарищеский суд!

– Над кем?

– Да надо мной. Ты, говорят, Серегу искалечил.

– Ладно, я скажу, что у меня претензий нет. Что я тебя прощаю.

– Я уже сказал, что ты меня прощаешь. Это, говорят, не важно, чаша терпения переполнилась.

– Что же я могу сделать?

– Ты образованный, придумай что-нибудь. Как говорится, заверни поганку. Иначе эти суки передадут бумаги в трибунал. Это значит – три года дисбата. А дисбат – это хуже, чем лагерь. Так что выручай...

Он скорчил гримасу, пытаясь заплакать:

– Я же единственный сын... Брат в тюрьме, сестры замужем...

Я говорю:

– Не знаю, что тут можно сделать. Есть один вариант...

Чурилин оживился:

– Какой?

– Я на суде задам вопрос. Спрошу: «Чурилин, у вас есть гражданская профессия?». Ты ответишь: «Нет». Я скажу: «Что же ему после демобилизации – воровать? Где обещанные курсы шоферов и бульдозеристов? Чем мы хуже регулярной армии?». И так далее. Тут, конечно, поднимется шум. Может, и возьмут тебя на поруки.

Чурилин еще больше оживился. Сел на мою кровать, повторяя:

– Ну, голова! Вот это голова! С такой головой, в принципе, можно и не работать.

– Особенно, – говорю, – если колотить по ней латунной бляхой.

– Дело прошлое, – сказал Чурилин, – все забыто... Напиши мне, что я должен говорить.

– Я же тебе все рассказал.

– А теперь – напиши. Иначе я сразу запутаюсь.

Чурилин протянул мне огрызок химического карандаша. Потом оторвал кусок стеной газеты:

– Пиши.

Я аккуратно вывел: «Нет».

– Что значит – «Нет»? – спросил он.

– Ты сказал: «Напиши, что мне говорить». Вот я и пишу: «Нет». Я задам вопрос на суде: «Есть у тебя гражданская профессия?». Ты ответишь: «Нет». Дальше я скажу насчет шоферских курсов. А потом начнется шум.

– Значит, я говорю только одно слово – «нет»?
– Вроде бы, да.
– Маловато, – сказал Чурилин.
– Не исключено, что тебе зададут и другие вопросы.
– Какие?
– Я уж не знаю.
– Что же я буду отвечать?
– В зависимости от того, что спросят.
– А что меня спросят? Примерно?
– Ну, допустим: «Признаешь ли ты свою вину, Чурилин?».

– И что же я отвечу?
– Ты ответишь: «Да».
– И все?
– Можешь ответить: «Да, конечно, признаю и глубоко раскаиваюсь».

– Это уже лучше. Записывай. Сперва пиши вопрос, а дальше мой ответ. Вопросы пиши нормально, ответы – квадратными буквами. Чтобы я не перепутал...

Мы просидели с Чурилиным до одиннадцати. Фельдшер хотел его выгнать, но Чурилин сказал:

– Могу я навестить товарища по оружию?!..

В результате мы написали целую драму. Там были предусмотрены десятки вопросов и ответов. Мало того, по настоянию Чурилина я обозначил в скобках: «Холодно», «задумчиво», «растерянно».

Затем мне принесли обед: тарелку супа, жареную рыбу и кисель.

Чурилин удивился:

– А кормят здесь лучше, чем на гауптвахте.

Я говорю:

– А ты бы хотел – наоборот?

Пришлось отдать ему кисель и рыбу.

После этого мы расстались. Чурилин сказал:

– В двенадцать мой земляк уходит с гауптвахты. После него дежурит какой-то хохол. Я должен быть на месте.

Чурилин подошел к окну. Затем вернулся:

– Я забыл. Давай ремнями поменяемся. Иначе мне за эту бляху срок добавят.

Он взял мой солдатский ремень. А свой повесил на кровать.

– Тебе повезло, – говорит, – мой из натуральной кожи. И бляха с напайкой. Удар – и человек с копыт!

– Да уж, знаю...

Чурилин снова подошел к окну. Еще раз обернулся.

– Спасибо тебе, – говорит, – век не забуду.

И выбрался через окно. Хотя вполне мог пройти через дверь.

Хорошо еще, что не унес мои сигареты...

Прошло три дня. Врач мне сказал, что я легко отделался. Что у меня всего лишь ссадина на голове.

Я бродил по территории военного городка. Часами сидел в библиотеке. Загорал на крыше дровяного склада.

Дважды пытался зайти на гауптвахту. Один раз дежурил латыш первого года службы. Сразу же поднял автомат. Я хотел передать сигареты, но он замотал головой.

Вечером я снова зашел. На этот раз дежурил знакомый инструктор.

– Заходи, – говорит, – можешь даже там переночевать.

И он загремел ключами. Отворилась дверь.

Чурилин играл в буру с тремя другими узниками. Пятый наблюдал за игрой с бутербродом в руке. На полу валялись апельсиновые корки.

– Привет, – сказал Чурилин, – не мешай. Сейчас я их поставлю на четыре точки.

Я отдал ему «Беломор».

– А выпить? – спросил Чурилин.

Можно было позавидовать его нахальству.

Я постоял минуту и ушел.

Наутро повсюду были расклеены молнии: «Открытое комсомольское собрание дивизиона. Товарищеский суд. Персональное дело Чурилина Вадима Тихоновича. Явка обязательна».

Мимо проходил какой-то сверхсрочник.

– Давно, – говорит, – пора. Одичали... Что в казарме творится – это страшное дело... Вино из-под дверей течет...

В помещении клуба собралось человек шестьдесят. На сцене расположилось комсомольское бюро. Чурилина посадили сбоку, возле знамени. Ждали, когда появится майор Афанасьев.

Чурилин выглядел абсолютно счастливым. Может, впервые оказался на сцене. Он жестикулировал, махал рукой приятелям. Мне, кстати, тоже помахал.

На сцену поднялся майор Афанасьев:

– Товарищи!

Постепенно в зале наступила тишина.

– Товарищи воины! Сегодня мы обсуждаем персональное дело рядового Чурилина. Рядовой Чурилин вместе с ефрейтором Довлатовым был послан на ответственное задание. В пути рядовой Чурилин упился, как зюзя, и начал совершать безответственные действия. В результате было нанесено увечье ефрейтору Довлатову, кстати, такому же, извиняюсь, мудозвону... Хоть бы зэка постыдились...

Пока майор говорил все это, Чурилин сиял от удовольствия. Раза два он причесывался, вертелся на стуле, трогал знамя. Явно, чувствовал себя героем.

Майор продолжал:

– Только в этом квартале Чурилин отсидел на гауптвахте двадцать шесть суток. Я не говорю о пьянках – это для Чурилина, как снег зимой. Я говорю о более серьезных преступлениях, типа драки. Такое ощущение, что коммунизм для него уже построен. Не понравится чья-то физиономия – бей в рожу! Так все начнут кулаками размахивать! Думаете, мне не хочется кому-нибудь в рожу заехать?!. В общем, чаша терпения переполнилась. Мы должны решить – остается Чурилин с нами или пойдут его бумаги в трибунал. Дело серьезное, товарищи! Начнем!.. Рассказывайте, Чурилин, как это все произошло.

Все посмотрели на Чурилина. В руках у него появилась измятая бумажка. Он вертел ее, разглядывал и что-то беззвучно шептал.

– Рассказывайте, – повторил майор Афанасьев.

Чурилин растерянно взглянул на меня. Чего-то, видно, мы не предусмотрели. Что-то упустили в сценарии.

Майор повысил голос:

– Не заставляйте себя ждать!

– Мне торопиться некуда, – сказал Чурилин.

Он помрачнел. Его лицо становилось все более злым и угрюмым. Но и в голосе майора крепло раздражение. Пришлось мне вытянуть руку:

– Давайте, я расскажу.

– Отставить, – прикрикнул майор, – сами хороши!

– Ага, – сказал Чурилин, – вот... Желаю... это... поступить на курсы бульдозеристов.

Майор повернулся к нему:

– При чем тут курсы, мать вашу за ногу! Напился, понимаешь, друга искалечил, теперь о курсах мечтает!.. А в институт случайно не хотите поступить? Или в консерваторию?..

Чурилин еще раз заглянул в бумажку и мрачно произнес:

– Чем мы хуже регулярной армии?

Майор задохнулся от бешенства:

– Сколько это будет продолжаться?! Ему идут навстречу – он свое! Ему говорят «рассказывай» – не хочет!..

– Да нечего тут рассказывать, – вскочил Чурилин, – подумаешь, какая сага о Форсайтах!.. Рассказывай! Рассказывай! Чего же тут рассказывать?! Хули же ты мне, сука, плешь разъедаешь?! Могу ведь и тебя пощекотить!..

Майор схватился за кобуру. На скулах его выступили красные пятна. Он тяжело дышал. Затем овладел собой:

– Суду все ясно. Собрание объявляю закрытым!

Чурилина взяли за руки двое сверхсрочников. Я, доставая сигареты, направился к выходу...

Чурилин получил год дисциплинарного батальона. За месяц перед его освобождением я демобилизовался. Сумасшедшего зэка тоже больше не видел. Весь этот мир куда-то пропал.

И только ремень все еще цел.

ПОПЛИНОВАЯ РУБАШКА

Моя жена говорит:

– Это безумие – жить с мужчиной, который не уходит только потому, что ленится...

Моя жена всегда преувеличивает. Хотя я, действительно, стараюсь избегать ненужных забот. Ем что угодно. Стригусь, когда теряю человеческий облик. Зато – уж сразу под машинку. Чтобы потом еще три месяца не стричься.

Пропросту говоря, я неохотно выхожу из дома. Хочу, чтобы меня оставили в покое...

В детстве у меня была няня, Луиза Генриховна. Она все делала невнимательно, потому что боялась ареста. Однажды Луиза Генриховна надевала мне короткие штаны. И засунула мои ноги в одну штанину. В результате, я проходил таким образом целый день.

Мне было четыре года, и я хорошо помню этот случай. Я знал, что меня одели неправильно. Но я молчал. Я не хотел переодеваться. Да и сейчас не хочу.

Я помню множество таких историй. С детства я готов терпеть все, что угодно, лишь бы избежать ненужных хлопот...

Когда-то я довольно много пил. И, соответственно, болтался где попало. Из-за этого многие думали, что я общительный. Хотя, стоило мне протрезветь – и общительности как не бывало.

При этом, я не могу жить один. Я не помню, где лежат счета за электричество. Не умею гладить и стирать. А главное – мало зарабатываю.

Я предпочитаю быть один, но рядом с кем-то...

Моя жена всегда преувеличивает:

– Я знаю, почему ты все еще живешь со мной. Сказать?

– Ну, почему?

– Да просто тебе лень купить раскладушку!..

В ответ я мог бы сказать:

– А ты? Почему же ты не купила раскладушку? Почему не бросила меня в самые трудные годы? Ты – уме-

ющая штопать, стирать, выносить малознакомых людей, а главное – зарабатывать деньги!..

Познакомились мы двадцать лет назад. Я даже помню, что это было воскресенье. Восемнадцатое февраля. День выборов.

По домам ходили агитаторы. Уговаривали жильцов проголосовать как можно раньше. Я не спешил. Я раза три вообще не голосовал. Причем, не из диссидентских соображений. Скорее – из ненависти к бессмысленным действиям.

И вот раздается звонок. На пороге – молодая женщина в осенней куртке. По виду – школьная учительница, то есть немного – старая дева. Правда, без очков, зато с коленкоровой тетрадью в руке.

Она заглянула в тетрадь и назвала мою фамилию. Я сказал:

– Заходите. Погрейтесь. Выпейте чаю...

Меня угнетали торчащие из-под халата ноги. У нас в роду это самая маловыразительная часть тела. Да и халат был в пятнах.

– Елена Борисовна, – представилась девушка, – ваш агитатор... Вы еще не голосовали...

Это был не вопрос, а сдержанный упрек. Я повторил:

– Хотите чаю?

Добавив из соображений приличия:

– Там мама...

Мать лежала с головной болью. Что не помешало ей довольно громко крикнуть:

– Попробуйте только съесть мою халву!

Я сказал:

– Проголосовать мы еще успеем.

И тут Елена Борисовна произнесла совершенно неожиданную речь:

– Я знаю, что эти выборы – сплошная профанация. Но что же я могу сделать? Я должна привести вас на избирательный участок. Иначе меня не отпустят домой.

– Вот и хорошо, – говорю, – только будьте поосторожнее. Вас за такие разговоры не похвалят.

– Вам можно доверять. Я это сразу поняла. Как только увидела портрет Солженицына.

– Это не Солженицын. Это Достоевский.

Затем мы скромно позавтракали. Мать все-таки выделила нам кусок халвы.

Разговор, естественно, зашел о литературе. Если Лена называла имя Гладилина, я переспрашивал:

– Толя Гладилин?

Если речь заходила о Шукшине, я уточнял:

– Вася Шукшин?

Когда же заговорили про Ахмадулину, я негромко воскликнул:

– Беллочка!..

Затем мы вышли на улицу. Дома были украшены флагами. На снегу валялись конфетные обертки. Дворник Гриша щеголял в ратиновом пальто.

Голосовать я не хотел. И не потому, что ленился. А потому, что мне нравилась Елена Борисовна. Стоит нам всем проголосовать, как ее отпустят домой...

Мы пошли в кино на «Иваново детство». Фильм был достаточно хорошим, чтобы я мог отнестись к нему снисходительно.

В ту пору я горячо хвалил одни лишь детективы. За то, что они дают мне возможность расслабиться.

А вот картины Тарковского я похваливал снисходительно. При этом, намекая, что Тарковский лет шесть ждет от меня сценария.

Из кино мы направились в Дом литераторов. Я был уверен, что встречу какую-нибудь знаменитость. Можно было рассчитывать на дружеское приветствие Горышина. На пьяные объятия Вольфа. На беглый разговор с Ефимовым или Конецким. Ведь я был так называемым молодым писателем. И даже Гранин знал меня в лицо.

Когда-то в Ленинграде было много знаменитостей. Например, Чуковский, Олейников, Зошенко, Хармс, и так далее. После войны их стало гораздо меньше. Одних за что-то расстреляли, другие переехали в Москву...

Мы поднялись в ресторан. Заказали вино, бутерброды, пирожные. Я собирался заказать омлет, но переду-

мал. Старший брат всегда говорил мне: «Ты не умеешь есть цветную пищу».

Деньги я пересчитал, не вынимая руку из кармана.

В зале было пусто. Только у дверей сидел орденосец Решетов, читая книгу. По тому, как он увлекся, было видно, что это его собственный роман. Я мог бы поспорить, что роман называется – «Иду к вам, люди!».

Мы выпили. Я рассказал три случая из жизни Евтушенко, которые произошли буквально на моих глазах.

А знаменитости все не появлялись. Хотя посетителей становилось все больше. К окну направился, скрипя протезом, беллетрист Горянский. У стойки бара расположились поэты Чикин и Штейнберг. Чикин говорил:

– Лучше всего, Боря, тебе удаются философские отступления.

– А тебе, Дима, внутренние монологи, – реагировал Штейнберг...

К знаменитостям Чикин и Штейнберг не принадлежали. Горянский был известен тем, что задушил охранника в немецком концентрационном лагере.

Мимо прошел довольно известный критик Халупович. Он долго разглядывал меня, потом сказал:

– Извините, я принял вас за Леву Мелиндера...

Мы заказали двести граммов коньяка. Денег оставалось мало, а знаменитостей все не было.

Видно, Елена Борисовна так и не узнает, что я многообещающий литератор.

И тут в ресторан заглянул писатель Данчковский. С известными оговорками его можно было назвать знаменитостью.

Когда-то в Ленинград приехали двое братьев из Шклова. Звали братьев – Савелий и Леонид Данчиковские. Они начали пробовать себя в литературе. Сочиняли песенки, куплеты, интермедии. Сначала писали вдвоем. Потом – каждый в отдельности.

Через год их пути разошлись еще более кардинально.

Младший брат решил укоротить свою фамилию. Теперь он подписывался – Данч. Но при этом оставался евреем.

Старший поступил иначе. Он тоже укоротил свою фамилию, выбросив единственную букву «И». Теперь он подписывался – Данчковский. Зато из еврея стал обрусевшим поляком.

Постепенно между братьями возникла национальная рознь. Они то и дело ссорились на расовой почве.

– Оборотень, – кричал Леонид, – золоторотец, пьяный гой!

– Заткнись, жидовская морда! – отвечал Савелий.

Вскоре началась борьба с космополитами. Леонида арестовали. Савелий к этому времени закончил институт марксизма-ленинизма.

Он начал печататься в толстых журналах. У него вышла первая книга. О нем заговорили критики.

Постепенно он стал «ленинианцем». То есть, создателем бесконечной и неудержимой Ленинианы.

Сначала он написал книгу «Володино детство». Затем – небольшую повесть «Мальчик из Симбирска». После этого выпустил двухтомник «Юность огневая». И наконец, трилогию – «Вставай, проклятьем заклейменный!».

Исчерпав биографию Ленина, Данчковский взялся за смежные темы. Он написал книгу «Ленин и дети». Затем – «Ленин и музыка», «Ленин и живопись», а также «Ленин и сельское хозяйство». Все эти книги были переведены на многие языки.

Данчковский разбогател. Был награжден орденом «Знак почета». К этому времени его брата посмертно реабилитировали.

Данчковский хорошо меня знал, поскольку больше года руководил нашим литературным объединением.

И вот он появился в ресторане.

Я, понизив голос, шепнул Елене Борисовне:

– Обратите внимание – Данчковский, собственной персоной... Бешеный успех... Идет на Ленинскую премию...

Данчковский направился в угол, подальше от музыкального автомата. Проходя мимо нас, он замедлил шаги.

Я фамильярно приподнял бокал. Данчковский, не здороваясь, отчетливо выговорил:

– Читал я твою юмореску в «Авроре». По-моему, говно...

Мы просидели в ресторане часов до одиннадцати. Избирательный участок давно закрылся. Потом закрылся ресторан. Мать лежала с головной болью. А мы еще гуляли по набережной Фонтанки.

Елена Борисовна удивляла меня своей покорностью. Вернее, даже не покорностью, а равнодушием к фактической стороне жизни. Как будто все происходящее мелькало на экране.

Она забыла про избирательный участок. Пренебрегла своими обязанностями. Как выяснилось, она даже не проголосовала.

И все это ради чего? Ради неясных отношений с человеком, который пишет малоудачные юморески.

Я, конечно, тоже не проголосовал. Я тоже пренебрег своими гражданскими обязанностями. Но я вообще особый человек. Неужели мы похожи?

За плечами у нас двадцать лет брака. Двадцать лет взаимной обособленности и равнодушия к жизни.

При этом, у меня есть стимул, цель, иллюзия, надежда. А у нее? У нее есть только дочь и равнодушие.

Я не помню, чтобы Лена возражала или спорила. Вряд ли она хоть раз произнесла уверенное, звонкое – «да», или тяжеловесное, суровое – «нет».

Ее жизнь проходила как будто на экране телевизора. Менялись кадры, лица, голоса, добро и зло спешили в одной упряжке. А моя любимая, поглядывая в сторону экрана, занималась более важными делами...

Решив, что мать уснула, я пошел домой. Я даже не сказал Елене Борисовне: «Пойдемте ко мне». Я даже не взял ее за руку.

Просто, мы оказались дома. Это было двадцать лет назад.

За эти годы влюблялись, женились и разводились наши друзья. Они писали на эту тему стихи и романы. Переезжали из одной республики в другую. Меняли род занятий, убеждения, привычки. Становились диссидентами и алкоголиками. Покушались на чужую или собственную жизнь.

Кругом возникали и с грохотом рушились прекрасные, таинственные миры. Как туго натянутые струны, лопались человеческие отношения. Наши друзья заново рождались и умирали в поисках счастья.

А мы? Всем соблазнам и ужасам жизни мы противопоставили наш единственный дар – равнодушие. Спрашивается, что может быть долговечнее замка, выстроенного на песке?.. Что в семейной жизни прочнее и надежнее обоюдной бесхарактерности?.. Что можно представить себе благополучнее двух враждующих государств, неспособных к обороне?..

Я работал в многотиражной газете. Получал около ста рублей. Плюс какие-то малосущественные надбавки. Так, мне припоминаются ежемесячные четыре рубля «за освоение более совершенных методов хозяйствования».

Подобно большинству журналистов, я мечтал написать роман. И, не в пример большинству журналистов, действительно занимался литературой. Но мои рукописи были отклонены самыми прогрессивными журналами.

Сейчас я могу этому только радоваться. Благодаря цензуре, мое ученичество затянулось на семнадцать лет. Рассказы, которые я хотел напечатать в те годы, представляются мне сейчас абсолютно беспомощными. Достаточно того, что один рассказ назывался «Судьба Фаины».

Лена не читала моих рассказов. Да я и не предлагал. А она не хотела проявлять инициативу.

Три вещи может сделать женщина для русского писателя. Она может кормить его. Она может искренне поверить в его гениальность. И наконец, женщина может оставить его в покое. Кстати, третье не исключает второго и первого.

Лена не интересовалась моими рассказами. Не уверен даже, что она хорошо себе представляла, где я работаю. Знала только, что пишу.

Я знал о ней примерно столько же.

Сначала моя жена работала в парикмахерской. После истории с выборами ее уволили. Она стала корректором. Затем, совершенно неожиданно для меня, окончила полиграфический институт. Поступила, если не

ошибаюсь, в какое-то спортивное издательство. Зарабатывала вдвое больше меня.

Трудно понять, что нас связывало. Разговаривали мы чаще всего по делу. Друзья были у каждого свои. И даже книги мы читали разные.

Моя жена всегда раскрывала ту книгу, что лежала ближе. И начинала читать с любого места.

Сначала меня это злило. Затем я убедился, что книги ей всегда попадают хорошие. Не то, что мне. Уж если я раскрою случайную книгу, то это непременно будет «Поднятая целина»...

Что же нас связывало? И как вообще рождается человеческая близость? Все это не так просто.

У меня, например, есть двоюродные братья. Все трое – пьяницы и хулиганы. Одного я люблю, к другому равнодушен, а с третьим просто незнаком...

Так мы и жили – рядом, но каждый в отдельности. Подарками обменивались в редчайших случаях. Иногда я говорил: «Надо бы для смеха подарить тебе цветы».

Лена отвечала:

– У меня все есть...

Да и я не ждал подарков. Меня это устраивало.

А то я знал одну семью. Муж работал с утра до ночи. Жена смотрела телевизор и ходила по магазинам. Говоря при этом:

«Купила Марику на день рожденья тюлевые занавески – обалдеть!»..

Так мы прожили года четыре. Потом родилась дочка – Катя. В этом была неожиданная серьезность и ощущение чуда. Нас было двое, и вдруг появился еще один человек – капризный, шумный, требующий заботы.

Дочку мы почти не воспитывали, только любили. Тем более, что она довольно много хворала, начиная с пятимесячного возраста.

В общем, после рождения дочери стало ясно, что мы женаты. Катя заменила нам брачное свидетельство.

Помню, зашел я с коляской в редакцию журнала «Аврора». Мне причитался там небольшой гонорар. Чиновница раскрыла ведомость:

– Распишитесь.

И добавила:

- Шестнадцать рублей мы вычли за бездетность.
- Но у меня, – говорю, – есть дочка.
- Надо представить соответствующий документ.
- Пожалуйста.

Я вынул из коляски розовый пакет. Осторожно положил его на стол главного бухгалтера. Сохранил, таким образом, шестнадцать рублей...

Отношения мои с женой не изменились. Вернее, почти не изменились. Теперь нашему взаимному равнодушию противостояла общая забота. Например, мы вместе купали дочку...

Однажды Лена поехала на службу. Я задержался дома. Стал, как всегда, разыскивать необходимые бумаги. Если не ошибаюсь, копию издательского договора.

Я рылся в шкафах. Выдвигал один за другим ящики письменного стола. Даже в ночную тумбочку заглянул.

Там, под грудой книг, журналов, старых писем, я нашел альбом. Это был маленький, почти карманный альбом для фотографий. Листов пятнадцать толстого картона с рельефным изображением голубя на обложке.

Я раскрыл его. Первые фотографии были желтоватые, с трещинами. Некоторые без уголков. На одной – круглолицая малышка гладила собаку. Точнее говоря, осторожно к ней прикасалась. Лохматая собака прижимала уши. На другой – шестилетняя девочка обнимала самодельную куклу. Вид у обеих был печальный и растерянный.

Потом я увидел семейную фотографию – мать, отец и дочка. Отец был в длинном плаще и соломенной шляпе. Из рукавов едва виднелись кончики пальцев. У жены его была теплая кофта с высокими плечами, локоны, газовый шарфик. Девочка резко повернулась в сторону. Так, что разлетелось ее короткое осеннее пальто. Что-то привлекло ее внимание за кадром. Может, какая-нибудь бродячая собака. Позади, за деревьями, виднелся фасад царскосельского Лицея.

Далее промелькнули родственники с напряженными искусственными улыбками. Пожилой усатый железнодорожник в форме, дама около бюста Ленина, юноша на

мотоцикле. Затем появился моряк или, вернее, курсант. Даже на фотографии было видно, как тщательно он побрит. Курсанту заглядывала в лицо девица с букетиком ландышей.

Целый лист занимала глянцевая школьная карточка. Четыре ряда испуганных, напряженных, замерших физиономий. Ни одного веселого детского лица.

В центре – группа учителей. Двое из них с орденами, возможно – бывшие фронтовики. Среди других – классная руководительница. Ее легко узнать. Старуха обнимает за плечи двух натянуто улыбающихся школьников.

Слева, в третьем ряду – моя жена. Единственная не смотрит в аппарат.

Я узнавал ее на всех фотографиях. На маленьком снимке, запечатлевшем группу лыжников. На микроскопическом фото, сделанном возле колхозной библиотеки. И даже на передержанной карточке, в толпе, среди едва различимых участников молодежного хора.

Я узнавал хмурую девочку в стоптанных туфлях. Смущенную барышню в дешевом купальнике, под размашистой надписью «Евпатория». Студентку в платке возле колхозной библиотеки. И везде моя жена казалась самой печальной.

Я перевернул еще несколько страниц. Увидел молодого человека в шестигранной кепке, старушку, заслонившуюся рукой, неизвестную балерину.

Мне попалась фотография артиста Яковлева. Точнее, открытка с его изображением. Снизу каллиграфическим почерком было выведено: «Лена! Служение искусству требует всего человека, без остатка. Рафик Абдуллаев»...

Я раскрыл последнюю страницу. И вдруг у меня перехватило дыхание. Даже не знаю, чему я так удивился. Но почувствовал, как у меня багровеют щеки.

Я увидел квадратную фотографию, размером чуть больше почтовой марки. Узкий лоб, запущенная борода, наружность матадора, потерявшего квалификацию.

Это была моя фотография. Если не ошибаюсь – с прошлогоднего удостоверения. На белом уголке виднелись следы заводской печати.

Минуты три я просидел, не двигаясь. В прихожей тикали часы. За окном шумел компрессор. Слышалось позвякивание лифта. А я все сидел.

Хотя, если разобраться, что произошло? Да ничего особенного. Жена поместила в альбом фотографию мужа. Это нормально.

Но я почему-то испытывал болезненное волнение. Мне было трудно сосредоточиться, чтобы уяснить его причины. Значит, все, что происходит, – серьезно. Если я впервые это чувствую, то сколько же любви потеряно за долгие годы?..

У меня не хватало сил обдумать происходящее. Я не знал, что любовь может достигать такой силы и остроты.

И еще я подумал: «Если у меня сейчас трясутся руки, что же будет потом?».

В общем, я собрался и поехал на работу...

Прошло лет шесть, началась эмиграция. Евреи заговорили об исторической родине.

Раньше полноценному человеку нужны были дублировка и кандидатская степень. Теперь к этому добавился израильский вызов.

О нем мечтал любой интеллигент. Даже если не собирался эмигрировать. Так, на всякий случай.

Сначала уезжали полноценные евреи. За ними устремились граждане сомнительного происхождения. Еще через год начали выпускать русских. Среди них по израильским документам выехал наш знакомый, отец Маврикий Рыкунов.

И вот моя жена решила эмигрировать. А я решил остаться.

Трудно сказать, почему я решил остаться. Видимо, еще не достиг какой-то роковой черты. Все еще хотел исчерпать какие-то неопределенные шансы. А может, бессознательно стремился к репрессиям. Такое случается. Грош цена российскому интеллигенту, не побывавшему в тюрьме...

Меня поразила ее решимость. Ведь Лена казалась зависимой и покорной. И вдруг – такое серьезное, окончательное решение.

У нее появились заграничные бумаги с красными печатями. К ней приходили суровые, бородатые отказники. Оставляли инструкции на папиросной бумаге. Недоверчиво поглядывали в мою сторону.

А я до последней минуты не верил. Слишком уж все это было невероятно. Как путешествие на Марс.

Клянусь, до последней минуты не верил. Знал и не верил. Так чаще всего и бывает.

И эта проклятая минута наступила. Документы были оформлены, виза получена. Катя раздала подругам фантики и марки. Оставалось только купить билеты на самолет.

Мать плакала. Лена была поглощена заботами. Я отодвинулся на задний план.

Я и раньше не заслонял ее горизонтов. А теперь ей было и вовсе не до меня.

И вот Лена поехала за билетами. Вернулась с коробкой. Подошла ко мне и говорит:

– У меня оставались лишние деньги. Это тебе.

В коробке лежала импортная поплиновая рубаша. Если не ошибаюсь, румынского производства.

– Ну что ж, – говорю, – спасибо. Приличная рубаша, скромная и доброкачественная. Да здравствует товарищ Чаушеску!..

Только куда я в ней пойду? В самом деле – куда?!

ЗИМНЯЯ ШАПКА

С ноябрьских праздников в Ленинграде установились морозы. Собираясь в редакцию, я натянул уродливую лыжную шапочку, забытую кем-то из гостей. Сойдет, думаю, тем более, что в зеркало я не глядел уже лет пятнадцать.

Приезжаю в редакцию. Как всегда, опаздываю минут на сорок. Соответственно, принимаю дерзкий и решительный вид.

Обстановка в комнате литсотрудников – мрачная. Воробьев драматически курит. Сидоровский глядит в

одну точку. Делюкин говорит по телефону шепотом. У Милы Дорошенко вообще заплаканные глаза.

– Салют, – говорю, – что приуныли, трубадуры режима?!

Молчат. И только Сидоровский хмуро откликается:

– Твой цинизм, Довлатов, переходит все границы.

Явно, думаю, что-то случилось. Может, нас всех лишили прогрессивки?..

– Что за траур, – спрашиваю, – где покойник?

– В Куйбышевском морге, – отвечает Сидоровский, – похороны завтра.

Еще не легче. Наконец, Делюкин кончил разговор и тем же шепотом объяснил:

– Раиса отравилась. Съела три коробки намбутала.

– Так, – говорю, – ясно. Довели человека!..

Раиса была нашей машинисткой – причем, весьма квалифицированной. Работала она быстро, по слепому методу. Что не мешало ей замечать бесчисленное количество ошибок.

Правда, замечала их Раиса только на бумаге. В жизни Рая делала ошибки постоянно.

В результате она так и не получила диплома. К тому же, в двадцать пять лет стала матерью-одиночкой. И наконец, занесло Раису в промышленную газету с давними антисемитскими традициями.

Будучи еврейкой, она так и не смогла к этому привыкнуть. Она дерзила редактору, выпивала, злоупотребляла косметикой. Короче, не ограничивалась своим еврейским происхождением. Шла в своих пороках дальше.

Раису бы, наверное, терпели, как и всех других семитов. Но для этого ей пришлось бы вести себя разумнее. То есть, глубокомысленно, скромно и чуточку виновато. Она же без конца демонстрировала типично христианские слабости.

С октября Раису начали травить. Ведь чтобы ее уволить, нужны были формальные основания. Необходимо было объявить ей три или четыре выговора.

Редактор Богомолов начал действовать. Он провоцировал Раю на грубость. По утрам караулил ее с хро-

нометром в руках. Мечтал уличить ее в неблагонадежности. Или хотя бы увидеть в редакции пьяной.

Все это совершалось при единодушном молчании окружающих. Хотя почти все наши мужчины то и дело ухаживали за Раисой. Она была единственной свободной женщиной в редакции.

И вот Раиса отравилась. Целый день все ходили мрачные и торжественные. Разговаривали тихими, внушительными голосами. Воробьев из отдела науки сказал мне:

– Я в ужасе, старик! Пойми, я в ужасе! У нас были такие сложные, запутанные отношения. Как говорится, тысяча и одна ночь... Ты знаешь, я женат, а Рая человек с характером... Отсюда всяческие комплексы... Надеюсь, ты меня понимаешь?..

В буфете ко мне подсел Делюкин. Подбородок его был запачкан яичным желтком. Он сказал:

– Раиса-то, а?! Ты подумай! Молодая, здоровая девка!

– Да, – говорю, – ужасно.

– Ужасно... Ведь мы с Раисой были не просто друзьями. Надеюсь, ты понимаешь, о чем я говорю? У нас были странные, мучительные отношения. Я – позитивист, романтик, где-то жизнелюб. А Рая была человеком со всяческими комплексами. В чем-то мы объяснялись на разных языках...

Даже Сидоровский, наш фельетонист, остановил меня:

– Пойми, я не религиозен, и все-таки самоубийство – это грех! Кто мы такие, чтобы распоряжаться собственной жизнью?! Раиса не должна была так поступать! Задумывалась ли она, какую тень бросает на редакцию?!

– Не уверен. И вообще, причем тут редакция?

– У меня, как это ни смешно, есть профессиональная гордость!

– У меня тоже. Но у меня другая профессия.

– Хамить не обязательно. Я собирался поговорить о Рае.

– У вас были сложные, запутанные отношения?

– Как ты узнал?

– Догадался.

– Для меня ее поступок оскорбителен. Ты, конечно, скажешь, что я излишне эмоционален. Да, я эмоционален. Может быть, даже излишне эмоционален. Но у меня есть железные принципы. Надеюсь, ты понимаешь, что я хочу сказать?!

– Не совсем.

– Я хочу сказать, что у меня есть принципы...

И вдруг мне стало тошно. Причем, до такой степени, что у меня заболела голова. Я решил уволиться, точнее – даже не возвращаться после обеда за своими бумагами. Просто, взять и уйти без единого слова. Именно так – миновать проходную, сесть в автобус... А дальше? Что будет дальше, уже не имело значения. Лишь бы уйти из редакции с ее железными принципами, фальшивым энтузиазмом, неосуществимыми мечтами о творчестве...

Я позвонил моему старшему брату. Мы встретились около гастронома на Таврической. Купили все, что полагается.

Боря говорит:

– Поехали в гостиницу «Советская», там живут мои друзья из Львова.

Друзья оказались тремя сравнительно молодыми женщинами. Звали женщин – Софа, Рита и Галина Павловна. Документальный фильм, который они снимали, назывался «Мощный аккорд». Речь в нем шла о комбинированном питании для свиней.

Гостиницу «Советскую» построили лет шесть назад. Сначала здесь жили одни иностранцы. Потом иностранцев неожиданно выселили. Дело в том, что из окон последних этажей можно было фотографировать цеха судостроительного завода «Адмиралтеец».

Злые языки переименовали гостиницу «Советскую» – в «Антисоветскую»...

Женщины из киногруппы мне понравились. Действовали они быстро и решительно. Принесли стулья, достали тарелки и рюмки, нарезали колбасу. То есть, выказали полную готовность отдыхать и развлекаться днем. А Софа даже открыла консервы маникюрными ножницами.

Брат сказал:

– Поехали!

Он выпил, раскраснелся, снял пиджак. Я тоже хотел снять пиджак, но Рита меня остановила:

– Спуститесь за лимонадом.

Я пошел в буфет. Через три минуты вернулся. За это время женщины успели полюбить моего брата. Причем, все три одновременно. К тому же, их любовь носила оскорбительный для меня характер. Если я тянулся к шпротам, Софа восклицала:

– Почему вы не едите кильки? Шпроты предпочитает Боря!

Если я наливал себе водку, Рита проявляла беспокойство:

– Пейте «Московскую». Боря говорит, что «Столичная» лучше!

Даже сдержанная Галина Павловна вмешалась:

– Курите «Аврору». Боре нравятся импортные сигареты.

– Мне тоже, – говорю, – нравятся импортные сигареты.

– Типичный снобизм, – возмутилась Галина Павловна.

Стоило моему брату произнести любую глупость, как женщины начинали визгливо хохотать. Например, он сказал, закусывая кабачковой икрой:

– По-моему, эта икра уже была съедена.

И все захохотали.

А когда я стал рассказывать, что отравилась наша машинистка, все закричали:

– Перестаньте!..

Так прошло часа два. Я все думал, что женщины наконец поссорятся из-за моего брата. Этого не случилось. Наоборот, они становились все более дружными, как жены престарелого мусульманина.

Боря рассказывал сплетни про киноактеров. Напевал блатные песенки. Опьянев, расстегнул Галине Павловне кофту. Я же опустил настолько, что раскрыл вчерашнюю газету.

Потом Рита сказала:

– Я еду в аэропорт. Мне нужно встретить директора картины. Сергей, проводите меня.

Ничего себе, думаю. Боря ест шпроты. Боря курит «Джебел». Боря пьет «Столичную». А провожать эту старую галошу должен я?!

Брат сказал:

– Поезжай. Все равно ты читаешь газету.

– Ладно, – говорю, – поехали. Унижаться, так до конца.

Я натянул свою лыжную шапочку. Рита облачилась в дубленку. Мы спустились в лифте и подошли к остановке такси.

Начинало темнеть. Снег казался голубоватым. В сумерках растворились неоновые огни.

Мы были на стоянке первыми. Рита всю дорогу молчала. Произнесла одну-единственную фразу:

– Вы одеваетесь, как босяк!

Я ответил:

– Ничего страшного. Представьте себе, что я монтер или водопроводчик. Аристократка торопится домой в сопровождении электромонтера. Все нормально.

Подошла машина. Я взялся за ручку. Откуда-то выскочили двое рослых парней. Один говорит:

– Мы спешим, борода!

И пытается отодвинуть меня в сторону. Второй протискивается на заднее сиденье.

Это было уже слишком. Весь день я испытывал сплошные негативные эмоции. А тут еще – прямое уличное хамство. Вся моя сдерживаемая ярость устремилась наружу. Я мстил этим парням за все свои обиды. Тут всё соединилось – Рая, газетная поденщина, нелепая лыжная шапочка, и даже любовные успехи моего брата.

Я размахнулся, вспомнив уроки тяжеловеса Шарфутдинова. Размахнулся и – опрокинулся на спину.

Я не понимаю, что тогда случилось. То ли было скользко. Или центр тяжести у меня слишком высоко... Короче, я упал. Увидел небо, такое огромное, бледное, загадочное. Такое далекое от всех моих невзгод и разочарований. Такое чистое.

Я любовался им, пока меня не ударили ботинком в глаз. И все померкло...

Очнулся я под звуки милицейских свистков. Я сидел, опершись на мусорный бак. Справа от меня толпились люди. Левая сторона действительности была покрыта мраком.

Рита что-то объясняла старшине милиции. Ее можно было принять за жену ответственного работника. А меня – за его личного шофера. Поэтому милиционер так внимательно слушал.

Я уперся кулаками в снег. Буксуя, попытался выпрямиться. Меня качнуло. К счастью, подбежала Рита.

Мы снова ехали в лифте. Одежда моя была в грязи. Лыжная шапка отсутствовала. Ссадина на щеке кровоточила.

Рита обнимала меня за талию. Я попытался отодвинуться. Ведь теперь я ее компрометировал по-настоящему. Но Рита прижалась ко мне и шепотом выговорила:

– До чего ты красив, злодей!

Лифт, тихо звякнув, остановился на последнем этаже. Мы оказались в том же гостиничном номере. Брат целовался с Галиной Павловной. Софа тянула его за рубашку, повторяя:

– Дурачок, она тебе в матери годится...

Увидев меня, брат поднял страшный крик. Даже хотел бежать куда-то, но передумал и остался. Меня окружили женщины.

Происходило что-то странное. Когда я был нормальным человеком, мной пренебрегали. Теперь, когда я стал почти инвалидом, женщины окружили меня вниманием. Они буквально сражались за право лечить мой глаз.

Рита обтирала влажной тряпочкой мое лицо. Галина Павловна развязывала шнурки на ботинках. Софа зашла дальше всех – она расстегивала мне брюки.

Брат пытался что-то говорить, давать советы, но его одергивали. Если он вносил какое-то предложение, женщины реагировали бурно:

– Замолчи! Пей свою дурацкую водку! Ешь свои паршивые консервы! Обойдемся без тебя!

Дождавшись паузы, я все-таки рассказал о самоубийстве нашей машинистки. На этот раз меня выслушали с огромным интересом. А Галина Павловна чуть не расплакалась:

– Обратите внимание! У Сережи – единственный глаз! Но этим единственным глазом он видит значительно больше, чем иные люди – двумя...

После этого Рита сказала:

– Я не поеду в аэропорт. Мы едем в травматологический пункт. А директора картины встретит Боря.

– Я его не знаю, – сказал мой брат.

– Ничего. Дашь объявление по радио.

– Но я же пьяный.

– А он, думаешь, придет трезвый?..

Мы с Ритой отправились в травматологический пункт на улицу Гоголя, девять. В приемной ожидали люди с разбитыми физиономиями. Некоторые стонали.

Рита, не дожидаясь очереди, прошла к врачу. Ее роскошная дубленка и здесь произвела необходимое впечатление. Я слышал, как она громко поинтересовалась:

– Если моему хахалю рожу набили, куда обратиться?

И тотчас же помахала мне рукой:

– Заходи!

Я просидел у врача минут двадцать. Врач сказал, что я легко отделался. Сотрясения мозга не было, зрачок остался цел. А синяк через неделю пройдет.

Затем врач спросил:

– Чем это вас саданули – кирпичиной?

– Ботинком, – говорю.

Врач уточнил:

– Наверное, скороходовским ботинком?

И добавил:

– Когда же мы научимся выпускать изящную советскую обувь?!..

Короче, все было не так уж страшно. Единственной потерей, таким образом, можно было считать лыжную шапочку.

Домой я приехал около часа ночи. Лена сухо выговорила:

– Поздравляю.

Я рассказал ей, что произошло. В ответ прозвучало:

– Вечно с тобой происходят фантастические истории...

Рано утром позвонил мой брат. Настроение у меня было гнусное. В редакцию ехать не хотелось. Денег не было. Будущее тонуло во мраке.

К тому же, в моем лице появилось нечто геральдическое. Левая его сторона потемнела. Синяк переливался всеми цветами радуги. О том, чтобы выйти на улицу, страшно было подумать.

Но брат сказал:

– У меня к тебе важное дело. Надо повернуть одну финансовую махинацию. Я покупаю в кредит цветной телевизор. Продаю его за наличные деньги одному типу. Теряю на этом рублей пятьдесят. А получаю более трехсот с рассрочкой на год. Уяснил?

– Не совсем.

– Все очень просто. Эти триста рублей я получаю как бы в долг. Расплачиваюсь с мелкими кредиторами. Выбираюсь из финансового тупика. Обретаю второе дыхание. А долг за телевизор буду регулярно и спокойно погашать в течение года. Ясно? Рассуждая философски, один большой долг лучше, чем сотня мелких. Брать на год солиднее, чем выпрашивать до послезавтра. И наконец, красивее быть в долгу перед государством, чем одалживать у знакомых.

– Убедил, – говорю, – только при чем здесь я?

– Ты поедешь со мной.

– Еще чего не хватало!

– Ты мне нужен. У тебя более практический ум. Ты проследишь, чтобы я не растратил деньги.

– Но у меня разбита физиономия.

– Подумаешь! Кого это волнует?! Я привезу тебе солнечные очки.

– Сейчас февраль.

– Не важно. Ты мог прилететь из Абиссинии... Кстати, люди не знают, почему у тебя разбита физиономия. А вдруг ты отстаивал женскую честь?

– Примерно так оно и было.

– Тем более...

Я собрался уходить. Жене сказал, что еду в поликлинику. Лена говорит:

– Вот тебе рубль, купи бутылку подсолнечного масла.

Мы встретились с братом на Конюшенной площади. Он был в потертой котиковой шапке. Достал из кармана солнечные очки. Я говорю:

– Очки не спасут. Дай лучше шапку.

– А шапка спасет?

– В шапке хоть уши не мерзнут.

– Это верно. Мы будем носить ее по очереди.

Мы подошли к троллейбусной остановке. Брат сказал:

– Берем такси. Если мы поедем троллейбусом, это будет искусственно. У нас, можно сказать, полные карманы денег. У тебя есть рубль?

– Есть. Но я должен купить бутылку подсолнечного масла.

– Я же тебе говорю, деньги будут. Хочешь, я куплю тебе ведро подсолнечного масла?

– Ведро – это слишком. Но рубль, если можно, верни.

– Считай, что этот паршивый рубль у тебя в кармане...

Брат остановил машину. Мы поехали в Гостиный Двор. Зашли в отдел радиотоваров. Боря исчез за прилавком с каким-то Мишаней. Уходя, протянул мне шапку:

– Твоя очередь. Надень.

Я ждал его минут двадцать, разглядывая приемники и телевизоры. Шапку я держал в руке. Казалось, всех интересует мой глаз. Если возникала миловидная женщина, я разворачивался правой стороной.

На секунду появился брат, возбужденный и радостный. Сказал мне:

– Все идет нормально. Я уже подписал кредитные документы. Только что явился покупатель. Сейчас ему выдадут телевизор. Жди...

Я стал ждать. Из отдела радиотоваров перебрался в детскую секцию. Узнал в продавце своего бывшего одно-

классника Леву Гиршовича. Лева стал разглядывать мой глаз.

– Чем это тебя? – спрашивает.

Всех, подумал я, интересуется – чем? Хоть бы один поинтересовался – за что?

– Ботинком, – говорю.

– Ты что, валялся на панели?

– Почему бы и нет?..

Лева рассказал мне дикую историю. На фабрике детских игрушек обнаружили крупное государственное хищение. Стали пропадать заводные медведи, танки, шагающие экскаваторы. Причем, в огромных количествах. Милиция год занималась этим делом, но безуспешно.

Совсем недавно преступление было раскрыто. Двое чернорабочих этой фабрики прорыли небольшой тоннель. Он вел с территории предприятия на улицу Котовского. Работяги брали игрушки, заводили, ставили на землю. А дальше – медведи, танки, экскаваторы – шли сами. Нескончаемым потоком уходили с фабрики...

Тут я увидел через стекло моего брата. Пошел к нему.

Боря явно изменился. В его манерах появилось что-то аристократическое. Какая-то пресыщенность и ленивое барство.

Вялым, капризным голосом он произнес:

– Куда же ты девался?

Я подумал – вот как меняют нас деньги. Даже если они, в принципе, чужие.

Мы вышли на улицу. Брат хлопнул себя по карману:

– Идем обедать!

– Ты же сказал, что надо раздать долги.

– Да, я сказал, что надо раздать долги. Но я же не сказал, что мы должны голодать. У нас есть триста двадцать рублей шестьдесят четыре копейки. Если мы не пообедаем, это будет искусственно. А пить не обязательно. Пить мы не будем.

Затем он прибавил:

– Ты согрелся? Дай сюда мою шапку.

По дороге брат начал мечтать:

– Мы закажем что-нибудь хрустящее. Ты заметил, как я люблю все хрустящее?

– Да, – говорю, – например, столичную водку.

Боря одернул меня:

– Не будь циником. Водка – это святое.

С печальной укоризной он добавил:

– К таким вещам надо относиться более или менее серьезно...

Мы перешли через дорогу и оказались в шашлычной. Я хотел пойти в молочное кафе, но брат сказал:

– Шашлычная – это единственное место, где разбитая физиономия является нормой...

Посетителей в шашлычной было немного. На вешалке темнели зимние пальто. По залу сновали милые девушки в кружевных фартуках. Музыкальный автомат наигрывал «Голубку».

У входа над стойкой мерцали ряды бутылок. Дальше, на маленьком возвышении, были расставлены столы.

Брат мой тотчас же заинтересовался спиртными напитками.

Я хотел остановить его:

– Вспомни, что ты говорил.

– А что я говорил? Я говорил – не пить. В смысле – не запивать. Не обязательно пить стаканами. Мы же интеллигентные люди. Выпьем по рюмке для настроения. Если мы совсем не выпьем, это будет искусственно.

И брат заказал поллитра армянского коньяка.

Я говорю:

– Дай мне рубль. Я куплю бутылку подсолнечного масла.

Он рассердился:

– Какой ты мелочный! У меня нет рубля, одни десятки. Вот разменяю деньги и куплю тебе цистерну подсолнечного масла...

Раздеваясь, брат протянул мне шапку:

– Твоя очередь, держи.

Мы сели в угол. Я развернулся к залу правой стороной.

Дальше все происходило стремительно. Из шашлычной мы поехали в «Асторию». Оттуда – к знакомым из

балета на льду. От знакомых – в бар Союза журналистов.

И всюду брат мой повторял:

– Если мы сейчас остановимся, это будет искусственно. Мы пили, когда не было денег. Глупо не пить теперь, когда они есть...

Заходя в очередной ресторан, Боря протягивал мне свою шапку. Когда мы оказывались на улице, я ему эту шапку с благодарностью возвращал.

Потом он зашел в театральный магазин на Рылеева. Купил довольно уродливую маску Буратино. В этой маске я просидел целый час за стойкой бара «Юность». К этому времени глаз мой стал фиолетовым.

К вечеру у брата появилась навязчивая идея. Он захотел подраться. Точнее, разыскать моих вчерашних обидчиков. Боре казалось, что он может узнать их в толпе.

– Ты же, – говорю, – их не видел.

– А для чего, по-твоему, существует интуиция?..

Он стал приставать к незнакомым людям. К счастью, все его боялись. Пока он не задел какого-то богатыря возле магазина «Галантерея».

Тот не испугался. Говорит:

– Первый раз вижу еврея-алкоголика!

Братец мой невероятно оживился. Как будто всю жизнь мечтал, чтобы оскорбили его национальное достоинство. При том, что он как раз евреем не был. Это я был до некоторой степени евреем. Так уж получилось. Запутанная семейная история. Леня рассказывать...

Кстати, Борова жена, в девичестве – Файнциммер, любила повторять: «Боря выпил столько моей крови, что теперь и он наполовину еврей!».

Раньше я не замечал в Боре кавказского патриотизма. Теперь он даже заговорил с грузинским акцентом:

– Я – еврей? Значит, я, по-твоему – еврей?! Обижаетесь, дорогой!..

Короче, они направились в подворотню. Я сказал:

– Перестань. Оставь человека в покое. Пошли отсюда.

Но брат уже сворачивал за угол, крикнув:

– Не уходи. Если появится милиция, свистни...

Я не знаю, что творилось в подворотне. Я только видел, как шарахались проходившие мимо люди.

Брат появился через несколько секунд. Нижняя губа его была разбита. В руке он держал совершенно новую котиковую шапку. Мы быстро зашагали к Владимирской площади.

Боря отдышался и говорит:

– Я ему дал по физиономии. И он мне дал по физиономии. У него свалилась шапка. И у меня свалилась шапка. Я смотрю – его шапка новее. Нагибаюсь, беру его шапку. А он, естественно, – мою. Я его изmaterил. И он меня. На том и разошлись. А эту шапку я дарю тебе. Бери.

Я сказал:

– Купи уж лучше бутылку подсолнечного масла.

– Разумеется, – ответил брат, – только сначала выпьем. Мне это необходимо в порядке дезинфекции.

И он для убедительности выпятил разбитую губу...

Дома я оказался глубокой ночью. Лена даже не спросила, где я был. Она спросила:

– Где подсолнечное масло?

Я произнес что-то невнятное.

В ответ прозвучало:

– Вечно друзья пьют за твой счет!

– Зато, – говорю, – у меня есть новая котиковая шапка.

Что я мог еще сказать?

Из ванной я слышал, как она повторяет:

– Боже мой, чем это все кончится? Чем это кончится?..

ШОФЕРСКИЕ ПЕРЧАТКИ

С Юрой Шлиппенбахом мы познакомились на конференции в Таврическом дворце. Вернее, на совещании редакторов многотиражных газет. Я представлял газету «Турбостроитель». Шлиппенбах – ленфильмовскую многотиражку под названием «Кадр».

Докладывал второй секретарь обкома партии Болотников. В конце он сказал:

– У нас есть образцовые газеты, например, «Знамя прогресса». Есть посредственные, типа «Адмиралтейца». Есть плохие, вроде «Турбостроителя». И наконец, есть уникальная газета «Кадр». Это нечто фантастическое по бездарности и скуке.

Я слегка пригнулся. Шлиппенбах, наоборот, горделиво выпрямился. Видимо, почувствовал себя гонимым диссидентом. Затем довольно громко крикнул:

– Ленин говорил, что критика должна быть обоснованной!

– Твоя газета, Юра, ниже всякой критики, – ответил секретарь...

В перерыве Шлиппенбах остановил меня и спрашивает:

– Извините, какой у вас рост?..

Я не удивился. Я к этому привык. Я знал, что далее последует такой абсурдный разговор:

«– Какой у тебя рост? – Сто девяносто четыре. – Жаль, что ты в баскетбол не играешь. – Почему не играю? Играю. – Я так и подумал...»

– Какой у вас рост? – спросил Шлиппенбах.

– Метр девяносто четыре. А что?

– Дело в том, что я снимаю любительскую кинокартину. Хочу предложить вам главную роль.

– У меня нет актерских способностей.

– Это неважно. Зато фактура подходящая.

– Что значит – фактура?

– Внешний облик.

Мы договорились встретиться на следующее утро.

Шлиппенбаха я и раньше знал по газетному сектору. Просто, мы не были лично знакомы. Это был нервный худой человек с грязноватыми длинными волосами. Он говорил, что его шведские предки упоминаются в исторических документах. Кроме того, Шлиппенбах носил в хозяйственной сумке однотомник Пушкина. «Полтава» была заложена конфетной оберткой.

– Читайте, – нервно говорил Шлиппенбах.

И, не дожидаясь реакции, лающим голосом выкрикивал:

Пальбой отбитые дружины,
Мешаясь, катятся во прах.
Уходит Рёзен сквозь теснины,
Сдается пылкий Шлиппенбах...

В газетном секторе его побаивались. Шлиппенбах вел себя чрезвычайно дерзко. Может быть, сказывалась пылкость, доставшаяся ему в наследство от шведского генерала. А вот уступать и сдаваться Шлиппенбах не любил.

Помню, умер старый журналист Матюшин. Кто-то взялся собирать деньги на похороны. Обратились к Шлиппенбаху. Тот воскликнул:

– Я и за живого Матюшина рубля не дал бы. А за мертвого и пятака не дам. Пускай КГБ хоронит своих осведомителей...

При этом, Шлиппенбах без конца занимал деньги у сослуживцев и возвращал их неохотно. Список кредиторов растянулся в его журналистском блокноте на два листа. Когда ему напоминали о долге, Шлиппенбах угрожающе восклицал:

– Будешь надоедать – вычеркну тебя из списка!..

Вечером после совещания он раза два звонил мне. Так, без конкретного повода. Вялый тон его говорил о нашей крепнущей близости. Ведь другу можно позвонить и без особой нужды.

– Тоска, – жаловался Шлиппенбах, – и выпить нечего. Лежу тут на диване в одиночестве, с женой...

Кончая разговор, он мне напомнил:

– Завтра все обсудим.

Утро мы провели в газетном секторе. Я вычитывал сверку, Шлиппенбах готовил очередной номер. То и дело он нервно выкрикивал:

– Куда девались ножницы?! Кто взял мою линейку?! Как пишется «Южно-Африканская республика» – вместе или через дефис?!..

Затем мы пошли обедать.

В шестидесятые годы буфет Дома прессы относился к распределителям начального звена. В нем продавались говяжьи сосиски, консервы, икра, мармелад, языки, дефицитная рыба. Теоретически, буфет обслуживал сотрудников Дома прессы. В том числе – журналистов из многотиражек. Практически же там могли оказаться и люди с улицы. Например, внештатные авторы. То есть, постепенно распределитель становился все менее закрытым. А значит, дефицитных продуктов там оставалось все меньше. Наконец, из бывшего великолепия уцелело лишь жигулевское пиво.

Буфет занимал всю северную часть шестого этажа. Окна выходили на Фонтанку. В трех залах могло одновременно разместиться больше ста человек.

Шлиппенбах затащил меня в нишу. Столик был рассчитан на двоих. Разговор нам, видно, предстоял сугубо конфиденциальный.

Мы заказали пиво и бутерброды. Шлиппенбах, слегка понизив голос, начал:

– Я обратился к вам, потому что ценю интеллигентных людей. Я сам интеллигентный человек. Нас мало. Откровенно говоря, нас должно быть еще меньше. Аристократы вымирают, как доисторические животные. Однако, ближе к делу. Я решил снять любительский фильм. Хватит отдавать свои лучшие годы пошлой журналистике. Хочется настоящей творческой работы. В общем, завтра я приступаю к съемкам. Фильм будет минут на десять. Задуман он как сатирический памфлет. Сюжет таков. В Ленинграде появляется таинственный незнакомец. В нем легко узнать царя Петра. Того самого, который двести шестьдесят лет назад основал Петербург. Теперь великого государя окружает пошлая советская действительность. Милиционер грозит ему штрафом. Двое алкашей предлагают скинуться на троих. Фарцовщики хотят купить у царя ботинки. Чувихи принимают его за богатого иностранца. Сотрудники КГБ – за шпиона. И так далее. Короче, всюду пьянство и бардак. Царь в ужасе кричит – что я наделал?! Зачем основал этот блядский город?!

Шлиппенбах захохотал так, что разлетелись бумажные салфетки. Потом добавил:

– Фильм будет, мягко говоря, аполитичный. Демонстрировать его придется на частных квартирах. Надеюсь, его посмотрят западные журналисты, что гарантирует международный резонанс. Последствия могут быть самыми неожиданными. Так что подумайте и взвесьте. Вы согласны?

– Вы же сказали – подумать.

– Сколько можно думать? Соглашайтесь.

– А где вы достанете оборудование?

– Об этом можете не беспокоиться. Я же работаю на «Ленфильме». У меня там все – друзья, начиная с Герберта Раппопорта и кончая последним осветителем. Техника в моем распоряжении. Камерой я владею с детских лет. Короче, думайте и решайте. Вы мне подходите. Ведь я могу доверить эту роль только своему единомышленнику. Завтра мы поедem на студию. Подберем соответствующий реквизит. Посоветуемся с гримером. И начнем.

Я сказал:

– Надо подумать.

– Я вам позвоню.

Мы расплатились и пошли в газетный сектор.

Актерских способностей у меня, действительно, не было. Хотя мои родители принадлежали к театральной среде. Отец был режиссером, мать – актрисой. Правда, глубокого следа в истории театра мои родители не оставили. Может быть, это даже хорошо...

Что касается меня, то я выступал на сцене дважды. Первый раз – еще в школе. Помню, мы инсценировали рассказ «Чук и Гек». Мне, как самому высокому, досталась роль отца-полярника. Я должен был выехать из тундры на лыжах, а затем произнести финальный монолог.

Тундру изображал за кулисами двоечник Прокопович. Он бешено каркал, выл и ревел по-медвежьи.

Я появился на сцене, шаркая ботинками и взмахивая руками. Так я изображал лыжника. Это была моя режиссерская находка. Дань театральной условности.

К сожалению, зрители не оценили моего формализма. Слушая вой Прокоповича и наблюдая мои таинственные движения, они решили, что я – хулиган. Хулиганья среди послевоенных школьников было достаточно.

Девочки стали возмущаться, мальчишки захлопали. Директор школы выбежал на сцену и утащил меня за кулисы. В результате, финальный монолог произнесла учительница литературы.

Второй раз мне довелось быть актером года четыре назад. Я служил тогда в республиканской партийной газете и был назначен Дедом-Морозом. Мне обещали за это три дня выходных и пятнадцать рублей.

Редакция устраивала новогоднюю елку для подшефного интерната. И опять я был самым высоким. Мне наклеили бороду, выдали шапку, тулуп и корзину с подарками. А затем выпустили на сцену.

Тулуп был узок. От шапки пахло рыбой. Бороду я чуть не сжег, пытаясь закурить.

Я дождался тишины и сказал:

– Здравствуйте, дорогие ребята! Вы меня узнаете?

– Ленин! Ленин! – крикнули из первых рядов.

Тут я засмеялся, и у меня отклеилась борода...

И вот теперь Шлиппенбах предложил мне главную роль.

Конечно, я мог бы отказаться. Но почему-то согласился. Вечно я откликаюсь на самые дикие предложения. Недаром моя жена говорит:

– Тебя интересуется все, кроме супружеских обязанностей.

Моя жена уверена, что супружеские обязанности это, прежде всего, трезвость.

Короче, мы поехали на Ленфильм. Шлиппенбах позвонил в бутафорский цех какому-то Чипе. Нам выписали пропуск.

Помещение, в котором мы оказались, было заставлено шкафами и ящиками. Я почувствовал запах сырости и нафталина. Над головой мигали и потрескивали лампы дневного света. В углу темнело чучело медведя. По длинному столу гуляла кошка.

Из-за ширмы появился Чипа. Это был средних лет мужчина в тельняшке и цилиндре. Он долго смотрел на меня, а затем поинтересовался:

– Ты в охране служил?

– А что?

– Помнишь штрафной изолятор на Ропче?

– Ну.

– А помнишь, как зэк на ремне удавился?

– Что-то припоминаю.

– Так это я был. Два часа откачивали, суки...

Чипа угостил нас разведенным спиртом. И вообще, проявил услужливость. Он сказал:

– Держи, гражданин начальник!

И выложил на стол целую кучу барахла. Там были высокие черные сапоги, камзол, накидка, шляпа. Затем Чипа достал откуда-то перчатки с раструбами. Такие, как у первых российских автолюбителей.

– А брюки? – напомнил Шлиппенбах.

Чипа вынул из ящика бархатные штаны с позументом.

Я в муках натянул их. Застегнуться мне не удалось.

– Сойдет, – заверил Чипа, – перетяните шпагатом.

Когда мы прощались, он вдруг говорит:

– Пока сидел, на волю рвался. А сейчас – поддам, и в лагерь тянет. Какие были люди – Сивый, Мотыль, Паровоз!..

Мы положили барахло в чемодан и спустились на лифте к гримеру. Вернее, к гримерше по имени Людмила Борисовна.

Между прочим, я был на Ленфильме впервые. Я думал, что увижу массу интересного – творческую суматоху, знаменитых актеров. Допустим, Чурсина примеряет импортный купальник, а рядом стоит охваченная завистью Тенякова.

В действительности Ленфильм напоминал гигантскую канцелярию. По коридорам циркулировали малопривлекательные женщины с бумагами. Отовсюду доносился стук пишущих машинок. Колоритных личностей мы так и не встретили. Я думаю, наиболее колоритным был Чипа с его тельняшкой и цилиндром.

Гримерша Людмила Борисовна усадила меня перед зеркалом. Некоторое время постояла у меня за спиной.

– Ну как? – поинтересовался Шлиппенбах.

– В смысле головы – не очень. Тройка с плюсом. А вот фактура – потрясающая.

При этом Людмила Борисовна трогала мою губу, оттягивала нос, касалась уха.

Затем она надела мне черный парик. Подклеила усы. Легким движением карандаша округлила щеки.

– Невероятно! – восхищался Шлиппенбах. – Типичный царь! Арап Петра Великого...

Потом я нарядился, и мы заказали такси. По студии я шел в костюме государя императора. Встречные оглядывались, но редко.

Шлиппенбах заглянул еще к одному приятелю. Тот выдал нам два черных ящика с аппаратурой. На этот раз – за деньги.

– Сколько? – поинтересовался Шлиппенбах.

– Четыре двенадцать, – был ответ.

– А мне говорили, что ты перешел на сухое вино.

– Ты и поверил?..

В такси Шлиппенбах объяснил мне:

– Сценарий можно не читать. Все будет построено на импровизации, как у Антониони. Царь Петр оказывается в современном Ленинграде. Все ему здесь отвратительно и чуждо. Он заходит в продуктовый магазин. Кричит: где стерлядь, мед, анисовая водка? Кто разорил державу, басурмане?!.. И так далее. Сейчас мы едем на Васильевский остров. Простите, мы на вы?

– На ты, естественно.

– Едем на Васильевский остров. Там ждет нас Букина с машиной.

– Кто это – Букина?

– Экспедитор с Ленфильма. У нее казенный микроавтобус. Сказала, будет после работы. Интеллигентнейшая женщина. Вместе сценарий писали. На квартире у приятеля... Короче, едем на Васильевский. Снимаем первые кадры. Царь движется от Стрелки к Невскому проспекту. Он в недоумении. То и дело замедляет шаги, оглядывается по сторонам. Ты понял?.. Бойся автомобилей.

Рассматривай вывески. В страхе обходи телефонные будки. Если тебя случайно заденут – выхватывай шпагу. Подходи ко всему этому делу творчески...

Шпага лежала у меня на коленях. Клинок был отпилен. Обнажать его я мог сантиметра на три.

Шлиппенбах возбужденно жестикулировал. Зато водитель оставался совершенно невозмутимым. И только в конце он дружелюбно поинтересовался:

– Мужик, ты из какого зоопарка убежал?

– Потрясающе! – закричал Шлиппенбах. – Готовый кадр!..

Мы вылезли с ящиками из такси. У противоположного тротуара стоял микроавтобус. Рядом прогуливалась барышня в джинсах. Мой вид ее не заинтересовал.

– Галина, ты прелесть, – сказал Шлиппенбах. – Через десять минут начинаем.

– Горе ты мое, – откликнулась барышня.

Затем они минут двадцать возились с аппаратурой. Я прогуливался вдоль здания бывшей кунсткамеры. Прохожие разглядывали меня с любопытством.

С Невы дул холодный ветер. Солнце то и дело пряталось за облаками.

Наконец Шлиппенбах сказал – готово. Галина налила себе из термоса кофе. Крышка термоса при этом отвратительно скрипела.

– Иди вон туда, – сказал Шлиппенбах, – за угол. Когда я махну рукой, двигайся вдоль стены.

Я перешел через дорогу и стал за углом. К этому времени мои сапоги окончательно промокли. Шлиппенбах все медлил. Я заметил, что Галина протягивает ему стакан. А я, значит, прогуливаюсь в мокрых сапогах.

Наконец, Шлиппенбах махнул рукой. Камеру он держал наподобие алебарды. Затем поднес ее к лицу.

Я потушил сигарету, вышел из-за угла, направился к мосту.

Оказалось, что когда тебя снимают, идти неловко. Я делал усилия, чтобы не спотыкаться. Когда налетал ветер, я придерживал шляпу.

Вдруг Шлиппенбах начал что-то кричать. Я не слышал из-за ветра, остановился, перешел через дорогу.

- Ты чего? – спросил Шлиппенбах.
- Я не расслышал.
- Чего ты не расслышал?
- Вы что-то кричали.
- Не вы, а ты.
- Что ты мне кричал?
- Я кричал – гениально! Больше ничего. Давай, иди снова.

– Хотите кофе? – наконец-то спросила Галина.

– Не сейчас, – остановил ее Шлиппенбах, – после третьего дубля.

Я снова вышел из-за угла. Снова направился к мосту. И снова Шлиппенбах мне что-то крикнул. Я не обратил внимания.

Так и шел до самого парапета. Наконец, оглянулся. Шлиппенбах и его подруга сидели в машине. Я поспешил назад.

– Единственное замечание, – сказал Шлиппенбах, – побольше экспрессии. Ты должен всему удивляться. С недоумением разглядывать плакаты и вывески.

– Там нет плакатов.

– Не важно. Я это все потом смонтирую. Главное – удивляйся. Метра три пройдешь – всплесни руками...

В итоге Шлиппенбах гонял меня раз семь. Я страшно утомился. Штаны под камзолом спадали. Курить в перчатках было неудобно.

Но вот мучения кончились. Галина протянула мне термос. Затем мы поехали на Таврическую.

– Там есть пивной ларек, – сказал Шлиппенбах, – даже, кажется, не один. Вокруг толпятся алкаши. Это будет потрясающе. Монарх среди подонков...

Я знал это место. Два пивных ларька, а между ними рюмочная. Строго напротив театрального института. Действительно, пьяных сколько угодно.

Автобус мы загнали в подворотню. Там же были сделаны все приготовления.

После этого Шлиппенбах горячо зашептал:

– Мизансцена простая. Ты приближаешься к ларьку. С негодованием разглядываешь всю эту публику. Затем произносишь речь.

– Что я должен сказать?

– Говори, что попало. Слова не имеют значения. Главное – мимика, жесты...

– Меня примут за идиота.

– Вот и хорошо. Произноси, что угодно. Узнай насчет цены.

– Тем более, меня примут за идиота. Кто же цен не знает? Да еще на пиво.

– Тогда спроси их – кто последний? Лишь бы губы шевелились, а уж я потом смонтирую. Текст будет позже записан на магнитофонную ленту. Короче, действуй.

– Выпейте для храбрости, – сказала Галина.

Она достала бутылку водки. Налила мне в стакан из-под кофе.

Храбрости у меня не прибавилось. Однако я вылез из машины. Надо было идти.

Пивной ларек, выкрашенный зеленой краской, стоял на углу Ракова и Моховой. Очередь тянулась вдоль газона до самого здания райпищеторга.

Возле прилавка люди теснились один к другому. Далее толпа постепенно редела. В конце она распалась на десяток хмурых замкнутых фигур.

Мужчины были в серых пиджаках и телогрейках. Они держались строго и равнодушно, как у чьей-то чужой могилы. Некоторые захватили бидоны и чайники.

Женщин в толпе было немного, пять или шесть. Они вели себя более шумно и нетерпеливо. Одна из них выкрикивала что-то загадочное:

– Пропустите из уважения к старухе-матери!..

Достигнув цели, люди отходили в сторону, предвкушая блаженство. На газон летела серая пена.

Каждый нес в себе маленький, личный пожар. Потушив его, люди оживали, закуривали, искали случая начать беседу.

Те, что еще стояли в очереди, интересовались:

– Пиво нормальное?

В ответ звучало:

– Вроде бы нормальное...

Сколько же, думаю, таких ларьков по всей России? Сколько людей ежедневно умирает и рождается заново?

Приближаясь к толпе, я испытывал страх. Ради чего я на все это согласился? Что скажу этим людям – измученным, хмурым, полубезумным? Кому нужен весь этот глупый маскарад?!..

Я присоединился к хвосту очереди. Двое или трое мужчин посмотрели на меня без всякого любопытства. Остальные меня просто не заметили.

Передо мной стоял человек кавказского типа в железнодорожной гимнастерке. Левее – оборванец в парусиновых тапках с развязанными шнурками. В двух шагах от меня, ломая спички, прикуривал интеллигент. Тощий портфель он зажал между коленями.

Положение становилось все более нелепым. Все молчат, не удивляются. Вопросов мне не задают. Какие могут быть вопросы? У всех единственная проблема – опохмелиться.

Ну что я им скажу? Спрошу их – кто последний? Да я и есть последний.

Кстати, денег у меня не было. Деньги остались в нормальных человеческих штанах.

Смотрю – Шлиппенбах из подворотни машет кулаками, отдает распоряжения. Видно, хочет, чтобы я действовал сообразно замыслу. То есть, надеется, что меня ударят кружкой по голове.

Стою. Тихонько двигаюсь к прилавку.

Слышу – железнодорожник кому-то объясняет:

– Я стою за лысым. Царь за мной. А ты уж будешь за царем...

Интеллигент ко мне обращается:

– Простите, вы знаете Шердакова?

– Шердакова?

– Вы Долматов?

– Вообще-то, близко...

– Потрясающе. Я же вам рубль остался должен. Помните, мы от Шердакова расходились в День космонавта? И я у вас рубль попросил на такси. Держите.

Карманов у меня не было. Я сунул мятый рубль в перчатку.

Шердакова я действительно знал. Специалист по марксистско-ленинской эстетике, доцент театрального института. Частый посетитель здешней рюмочной...

– Кланяйтесь, – говорю, – ему при встрече.

Тут приближается к нам Шлиппенбах. За ним, вздымая, движется Галина.

К этому времени я был почти у цели. Людская масса уплотнилась. Я был стиснут между оборванцем и железнодорожником. Конец моей шпаги упирался в бедро интеллигента.

Шлиппенбах кричит:

– Не вижу мизансцены! Где конфликт?! Ты должен вызывать антагонизм народных масс!

Очередь насторожилась. Энергичный человек с кинокамерой внушал народу раздражение и беспокойство.

– Извиняюсь, – обратился к Шлиппенбаху железнодорожник, – вас здесь не стояло!

– Нахожусь при исполнении служебных обязанностей, – четко реагировал Шлиппенбах.

– Все при исполнении, – донеслось из толпы.

Недовольство росло. Голоса делались все более агрессивными:

– Ходят тут всякие сатирики, блядь, юмористы...

– Сфотографирует тебя, а потом – на доску... В смысле – «Они мешают нам жить...»

– Люди, можно сказать, культурно похмеляются, а он нам тюльку гонит...

– Такому бармалею место у параша...

Энергия толпы рвалась наружу. Но и Шлиппенбах вдруг рассердился:

– Пропили Россию, гады! Совесть потеряли окончательно! Водярой залили глаза, с утра пораньше!..

– Юрка, кончай! Юрка, не будь идиотом, пошли! – уговаривала Шлиппенбаха Галина.

Но тот упирался. И как раз подошла моя очередь. Я достал мятый рубль из перчатки. Спрашиваю:

– Сколько брать?

Шлиппенбах вдруг сразу успокоился и говорит:

– Мне большую с подогревом. Галке – маленькую.

Галина добавила:

– Я пива не употребляю. Но выпью с удовольствием...

Логики в ее словах было маловато.

Кто-то начал роптать. Оборванец пояснил недовольным:

– Царь стоял, я видел. А этот пидор с фонарем – его дружок. Так что, все законно!

Алкаши с минуту поворчали и затихли.

Шлиппенбах переложил камеру в левую руку. Поднял кружку:

– Выпьем за успех нашей будущей картины! Истинный талант когда-нибудь пробьет себе дорогу.

– Чучело ты мое, – сказал Галя...

Когда мы задом выезжали из подворотни, Шлиппенбах говорил:

– Ну и публика! Вот так народ! Я даже испугался. Это было что-то вроде...

– ...Полтавской битвы, – закончил я.

Переодеваться в автобусе было неудобно. Меня отвезли домой в костюме государя императора.

На следующий день я повстречал Шлиппенбаха возле гонорарной кассы. Он сообщил мне, что хочет заняться правозащитной деятельностью. Таким образом, съемки любительского фильма прекратились.

Театральный костюм потом валялся у меня два года. Шпагу присвоил соседский мальчишка. Шляпой мы натерли полы. Камзол носила вместо демисезонного пальто экстравагантная женщина Регина Бритгерман. Из бархатных штанов моя жена соорудила себе юбку.

Шоферские перчатки я захватил в эмиграцию. Я был уверен, что первым делом куплю машину. Да так и не купил. Не захотел.

Должен же я чем-то выделяться на общем фоне! Пускай весь Форест Хиллс знает «того самого Довлатова, у которого нет автомобиля!»



Ирина РАТУШИНСКАЯ

* *
 *
 *

Не берись совладать,
Если мальчик посмотрит мужчиной –
Засчитай как потерю, примерная родина-мать!
Как ты быстро отвыкла крестить уходящего сына,
Как жестоко взамен научилась его проклинать!

Чем ты солишь свой хлеб –
Чтоб вовек не тянуло к чужому,
Как пускаешь по следу своих деловитых собак,
Про суму, про тюрьму, про кошмар сумасшедшего дома –
Не трудись повторять.
Мы навек заучили и так.

Кто был слишком крылат,
Кто с рождения был неугоден –
Не берись совладать, покупая, казня и грозя –
Нас уже не достать.
Мы уходим, уходим, уходим...
Говорят, будто выстрела в спину услышать нельзя.

* *
 *
 *

Не исполнены наши сроки,
Не доказаны наши души,
А когда улетают птицы,
Нам не стыдно за наши песни.

Мы бредем сквозь безумный город
В некрасивых одеждах века,
И ломают сухие лапки
Наши маленькие печали.
Безопасные очевидцы –
Мы не стоим выстрела в спину,
Мы беззвучно уходим сами,
Погасив за собою свечи.

Как мы любим гадать, что будет
После наших немых уходов!

Может, будут иные ночи –
И никто не заметит ветра?
Может, будет холодным лето –
И поэтов наших забудут?
И не сбудутся наши слезы,
И развеются наши лица,
И не вспомнятся наши губы –
Не умевшие поцелуя!
Неудачные дети века,
Мы уходим – с одним желаньем –
Чтобы кто-нибудь наши письма
Сжег из жалости, не читая.

Как мы бережно гасим свечи –
Чтоб не капнуть воском на скатерть!

* *
 *

Ну возьми же гитару,
Возьми на колено свое –
Как ребенка –
И струны потрогай.
И склонись к ней щекою,
И гриф охвати, как копье –
Всей рукой.
Остальное от Бога.

Через несколько дней
Я забуду мотив и слова.
И уйду в сумасшедшее лето.
Мне охватит колени волной –
И морская трава
Перепутает вечер с рассветом.

А потом –
За снегами снега –
Все тесней и тесней
Полетят на опальные крыши.
И за сотни ненужных земель
И потерянных дней
Неужели
Тебя не услышу?

Я с твоей телеграммой
В пути разминусь, прилечу –
И на миг
Задохнусь у порога...
Ну возьми же гитару,
Настрой –
И помедли чуть-чуть.
Помолчим
Перед дальней дорогой.

* *
*

Кому дано понять прощанье –
Развод вокзальных берегов?
Кто может знать, зачем ночами
Лежит отчаянье молчанья
На белой гвардии снегов?
Зачем название – любовь?
А лучше б не было названья.



МАЙЕРЛИНГ

От навязших словес, от истлевших идей,
От обманных безмускульных книг
И жестокого царства усталых людей
Я хочу в голубой Майерлинг.

Ты готова к побегу? Идем, я готов,
Чтобы прямо из зала кино
Пробежать, взявшись за руки, между рядов
И нырнуть головой в полотно.

Услыхать за спиною испуганный крик
Под свистки и соленую брань,
Но уйти от погони насквозь, напрямик
В зазеркально-хрустальную грань.

Там не знают жестоких и мстительных слов,
Не штурмуют высот под «ура!».
Там не верят в кумиры, но верят в любовь
И в негромкое «брат» и «сестра».

И в каком-нибудь горном селеньи, где снег
Оборвал до весны провода,
Зазеркальные люди дадут нам ночлег,
Не проверив у нас паспорта.

И поверив, что жизнь дорога и чиста,
Мы навечно останемся там,
А весною не станем чинить провода,
Чтоб никто нам не слал телеграмм.

Понемногу залечим рубцы от оков,
И разгладим морщины у глаз.
Будем верить, отринувши голых богов,
Лишь молитве, которая в нас.

Будем хворост вязать и по долам бродить,
Поклоняться горе и воде,
Будем сеять свой хлеб, будем в церковь ходить
И учить сыновей доброте.

Но реальность жестока, ты разве не знал,
Что свобода – великий обман?
И обратно в хохочущий зрительный зал
Нас с размаху швыряет экран.

Но от царства неправды живых мертвецов
В непролазную тину и ложь.
И какие-то хари одних подлецов
Ухмыляются нагло и зло.

Но когда мы покинем неправый наш свет,
Пусть же скажет, кто знал наш тайник:
«Нет, они не исчезли, не умерли, нет –
Наконец-то ушли в Майерлинг!»...



Ю. КУБЛАНОВСКИЙ

ГОЛУБЬ

Е. Шварц

Когда в густолиственный паусный мрак
пикирует голубь – его ли
запустит ли кто-нибудь понову в знак
подверстанной к сердцу неволи?

Всё ль белою ночью на рыбьем клею
– на вдруг зачадившие свечи
в зазывно открытую фортку твою,
как к Гойе, слетается нечисть,

которую ты отгоняешь локтём,
спасая строку-паутинку,
точильную искру с трамвайным путём
сводя – и с кровинкой кровинку?

Мы те же бумажные птицы, и нас
Господень проглаживал ноготь.
И нам хохолком доводилось подчас
предгрозию душное трогать.

Последний пропащий почтарь-голубок,
упавший в сирень перед домом,
как я – пересечь не сумевший порог,
усни, оглушаемый громом!

июнь 85

ПЕРЕД ЗЕРКАЛОМ

Коричневата густая сеть
трещин на амальгаме.
Страшно мне на себя смотреть,
выжил я из ума на треть,
адресовался б к маме

– фотки б не приложил вовек
в стойбище вороное
сын – у иссякших молочных рек,
змей, заползающий на ночлег
под полотно льняное.

Разве на вешнем ветру малёк
в потной до глаз ушанке
я – собирающий алчно впрок
на европейских камнях оброк
с каждой родной шарманки?

Впрочем, спасения тесный лаз,
как обещает Книга,
должен сужаться из часа в час,
ибо сказал Искупивший нас:
благо Моё – что иго.

Мнись и дальше, лицо, шершавь
изморозью, щетина,
голос, выведи и заляпь,
– дабы бегущая в раме рябь
стала свинцовой льдиной.

25. 6. 85

РЫЦАРЬ

Холки овса... Дикий мак
с сердцевиною вороной
бывало гнёт стебелек на злак –
хочет жить да не знает как,
– мотылёк слепой.

Едет рыцарь, подковья шаг.
Забрало до самых глаз
акулье поднято, и шишак
плюмажем пышным кивает так,
как будто приметил нас.

Попона в крупную шашку, то ж
складчатый клетчат плащ.
Клинкообразный нож
в Константинополь вхож,
честен и работающ.

Гляжу на хвойный баварский лес
с зелёным руном берёз,
как тусклый крестик в зенит небес,
идя другому наперерез,
серебряный тянет хвост,

и вижу – рыцаря. И бежать
навстречу ему готов,
коня купать, за узду держать,
зимой на сене гнилом дрожать,
идти на Изборск и Гдов.

И там, держась за его доспех,
уйти под свинцовый лёд
как прежде верующим в успех
похода, и пузырьки кислорода
пуская вверх.

О рыцарь, рыцарь, мирская власть,
подобно большой блесне
– пред гробом Господа думал всласть
на два железных колена пасть,
– ты спишь на чухонском дне.

20. 6. 85

ЧЕРНЫЙ ДЕНЬ

Всякий день, как гляжу в окно,
вижу, что день тот – черный.
...То рассыпавшийся на рядно,
то сфокусированный в одно
пламени диск упорный,
необратимо вобравший нас
в тягу своей орбиты,
долго катился, пока погас,
– к клюквенным сопкам в еловый лаз
северной Фиваиды.

Ирод из отчей меня земли
вытащил, что из люльки,
дабы один на один вдали,
как воробей в водяной пыли,
ждал оловянной пульки,

и в чужеродном раю мирском
на полотне ночуя,
переносился одним броском
– и припадал восковым виском
вдруг к твоему плечу я
там – где идти – всё равно, что жить
долгую жизнь вторую,
ибо – сдувая паучью нить,
надо на каждом шагу творить
понову отходную.

июнь 85

Фридрих ГОРЕНШТЕЙН

Улица Красных Зорь

Повесть

1

Улица Красных Зорь была главная и единственная в поселке. От нее отходили неглубокие тупички в несколько домов каждый. В ширину поселку расти некуда было. С одной стороны – железная дорога, узкая колея от мочально-рогожной фабрики, рядом с ней грунтовка, а за дорогами лес, сосняк-брусничник на сухом песке. Другая сторона была речная, и крайние дома тупичков стояли на обрывистом берегу реки Пижмы. За Пижмой, на суглинистой влажной почве, сосняк-черничник. Этот лес был пострашней и ходить туда за черникой в одиночку, без поселкового народа, было опасно. Чем дальше, тем угрюмее становилось и деревья выше, сильнее – сибирская лиственница, кедр, пихта – деревья таежные. В самой чаще лес заболочен, почва торфяная, и из мхов, из лесных злаков росли ели, ольхи, березы, осины, хвощи, осоки. Но это совсем уж далеко от улицы Красных Зорь, и Тоня о тех страшных местах только слыхала, однако никогда там не была, хоть в поселке, на улице Красных Зорь, жила давно, лет шесть, с тех пор, как родилась.

Тоне казалось, что в болотистых местах и прячется самое страшное слово для поселковых – амнистия.

Поселок был последним пунктом, ближе которого ссыльных к Москве не пускали, и когда случалась амнистия, начинались грабежи и убийства. Другое страшное

слово – война, было далеко, на краю света, и могилы военные были далеко. Вместо убитого человека присылали бумажку, и взрослые эту бумажку оплакивали. А амнистия, жила хоть и далеко от улицы Красных Зорь, однако в этой местности, в болотистой чаще, и жертвы её хоронили в сосновых и еловых гробах на поселковом кладбище у сосняка-брусничника. К тому ж амнистия пришла тогда, когда война кончилась и стала не опасной. Сама Тоня, правда, амнистии не помнила, но слышала, как взрослые, Тонина мама Уля, и тетя Вера, и муж тети Веры, дядя Никита, вспоминали про кассира с мочально-рогожной фабрики, которого нашли в Пижме без головы, и про семью Ануфриевых, которую зарезали и обокрали. Зарезали всех, кроме парализованной бабушки. С бабушки только сняли одеяло, вытащили из-под головы подушку, а из-под бабушкиного тела простыню. Но когда амнистированных переловили, время стало спокойное, хоть и голодное.

С тех пор, как Тонин отец уехал от них, мама Тони и трехлетнего Давидки работала на станции, мыла товарные вагоны. Уйдет, оставит на столе миску с пареной свеклой, а рядом чугунок с соленой водой. Поедят дети свеклы, попьют соленой воды и лезут на печку. Как и во всех поселковых домах, в Тонином доме была большая русская печь с лежанкой. А меж окон висело зеркало, в которое Тоня любила смотреть, и на зеркале много бус, нанизанных на нитку, красивых, разноцветных, которые Тоня любила перебирать. На подоконнике стоял цветок в горшке, который весной красиво расцветал, а в углу висела балалайка с красным бантом. Балалайка досталась Тониной маме от ее отца, дедушки Григория.

Тонина мама, Ульяна Зотова, была поселковая красавица и певунья. Тоня любила, когда мама в сорочке до пола расчесывала перед зеркалом свои светлорусые косы гребнем пепельного цвета с ручкой, а она, Тоня, сидела рядом, прижимаясь к теплому мягкому материнскому телу. К Ульяне Зотовой многие сватались в поселке, но вышла она замуж за Менделя, рыжего еврея из сосланных, и родила от него двоих детей. Мужа она любила и, когда была в хорошем настроении, то звала – Мендель.

Но когда ссорилась с ним или была в плохом настроении, то звала – Миша. Работал Мендель шофером на мочально-рогожной фабрике, начальство его уважало, поскольку был он умеренно пьющий, и после того, как кончился срок его ссылки, предоставило ему оплаченный отпуск. Мендель уехал к себе на родину, на Украину, потом вернулся, увидел здешнюю нищету, от которой он за месяц жизни у своих родственников отвык, увидел двух малых детей, жену, простую таежную бабу, взял расчет и опять уехал. Поступил так, как ему родственники советовали.

– И хорошо, – успокаивала Ульяну ее сестра Вера, – не нужен тебе еврей-жид.

Но Ульяна отвечала.

– Я Менделя люблю, всё равно он ко мне вернется.

Когда говорила про Менделя, то всегда улыбалась чуть-чуть, уголками губ, таинственно, точно знала про него такое, чего другие не знали.

– Я знаю, – говорит, – что нам с Менделем вместе через реку по жердочке еловой идти. Вместе по досточке сосновой. Мне на станции ссыльная цыганка нагадала. А вместе по жердочке через реку это любовь до гроба.

Про Менделя говорила только с улыбкой, но когда пела, то плакала. Поэтому петь старалась не при детях, а в одиночестве.

Подросла Тоня, и Ульяна начала пускать ее погулять с меньшим Давидкой, но наказывала далеко от дома не идти. К брусничнику не идти, потому что там поезда проезжают, а по грунтовке телеги и грузовики-полуторки. К черничнику тем более, мост подвесной через Пижму шаткий, малому, некрепкому свалиться можно. А не свалишься, перейдешь, и того хуже. Хоть амнистированных всех давным-давно переловили, но кто знает, может какой засиделся в чаще, на болоте. Говорят, недели две назад краснопогонники в черничник нагрянули с собаками, кого-то искали. А дедушка Козлов, дом которого самый дальний с речной стороны, слышал ночью в черничнике выстрелы, да не двустольные охотничьи – из нарезного оружия. Поселковый народ, особенно старей, в таком деле понимал и умел отличить гул-

кий охотничий хлопок от короткого ясного голоса военного карабина. Потому Ульяна, отпуская детей, наказывала гулять только по улице Красных Зорь. Была, правда, и на улице Красных Зорь для детей опасность, о которой шептались поселковые женщины, — дядя Толя.

Дядя Толя жил в поселке давно, с незапамятных времен, но на поселковых похож не был, поселковые его старались избегать и детям своим наказывали с ним не говорить, а если заговорит, то не отвечать и ничего у него не брать. Дядя Толя был высокого роста, худой, в пенсне. Любил он с детьми на улице заговаривать и гостинцы им дарить, а бабушка Козлова и тетя Вера и другие поселковые женщины шептались, будто дядя Толя детей, которых гостинцами подманивал, колол иголочкой и от этого они помирали. Будто шестилетняя дочка Митяевых от игопочки померла. Куда-то писали, жаловались, но жалобу оставили без последствий и разъяснили: дочка Митяевых померла, мол, не от каких-то иголочек, а от скарлатины. Однако женщины продолжали шептаться и хотели писать в Москву Сталину жалобу на местное начальство, при котором дядя Толя работал садовником. Дядя Толя жил в единственном на весь поселок трехэтажном, каменном доме у мочально-рогожной фабрики. В доме этом помещался также поселковый совет и фабричное управление, а вокруг дома был сад, огражденный высоким забором.

Ульяна не верила шепоту поселковых, по своей сестре судила и понимала, что верить поселковым нельзя, однако на всякий случай всё ж наказывала детям, если увидят дядю Толю, идти прочь, ничего не брать у него, с ним не говорить и ему не отвечать.

Отправит детей, завесит окна черными шторками, возьмет отцовскую балалаечку и поет в одиночестве, сама себе, чтоб поплакать и облегчить сердце. Песни пела грустные, но сладкие. Начинала с «У муромской дороги».

У муромской дороги стояло три сосны,
Прощался там мой милый до будущей весны.
Недавно мне приснился тяжелый страшный сон,
Мой миленький женился, нарушил клятву он.

И когда пела, так сладко плакалось. Понимает, скоро дети придут с прогулки, пора умыться, да утереться, а всё не может остановиться, плачется и поется, поется и плачется. Вдоволь наплачется и веселей становится, вспоминаются песни, которые певал ее покойный отец, Григорий Зотов, под эту балалаечку. «Три ключи» сплет.

Три ключи золотые
На аловой, на ленточке,
На фарфоровой тарелочке,
На дубовом столике,
На фабричной салфеточке.

И конечно же, любимую, свадебную плясовую: «Жердочка еловая, досточка сосновая». Поет и приплясывает. Уж повеселела, уж улыбается, а из веселых глаз слезы по-прежнему текут. Случилось, в таком виде ее дети застали, дверь забыла запереть. Детям всегда страшно видеть свою плачущую мать, особенно когда плачет она одна, сама по себе, по-детски, не делаясь ни с кем своим горем. Испугались дети, заплакали, но мать успокоила.

– Это я лук резала, глупые, сегодня будем похлебку есть с картошкой и пшеном.

– А мне хлеба хочется, – говорит Тоня, – я по хлебу скучаю.

Взяла тогда Ульяна Тоню на руки и поднесла к календарю отрывному за 52-й год. Календарь этот к репродукции с картины был укреплен – Сталин в полный рост в военном мундире и военной фуражке.

– У Сталина хлеба проси, – говорит Ульяна.

Начала Тоня просить хлеба у Сталина, просила, просила, потом говорит.

– Мама, Сталин не отвечает.

– Ну вот видишь, – говорит Ульяна, – даже у Сталина хлеба нет, а ты у меня просишь.

Мытье вагонов – работа тяжелая, а платят мало, как за неквалифицированный труд. Приносила Ульяна домой деньги и говорила Тоне:

– Давай аванс делить.

Садилась за стол и начинали делить. Ульяна раскладывала деньги и приговаривала.

– Это на то-сё... А это на еду.

Тоня брала деньги на еду, перебирала рублевки, червонцы и говорила.

– Я буду аванс кушать.

Седьмого апреля, в день рождения Ульяны, заехали тетя Вера и дядя Никита, гостинцев привезли, а встретить гостей нечем. Постелила Ульяна на стол чистую скатерку, поставила миску жареных семечек. Все сидели лузгали семечки, а шелуху с пола Тоня подметала. Тетя Вера и дядя Никита были не поселковые, а совхозные. Не очень далеко, но всё ж поездом ехать надо или по грунтовке на полуторке. Можно, конечно, и бесплатно, пешком по шпалам, но в летнюю погоду. Лето здесь теплое, хоть и короткое, а зима суровая и долгая. Только в мае начинает лед на Пижме ломать. Седьмого апреля пурга была, улица Красных Зорь вся в сугробах, а в доме тепло, уютно, взрослые все выпившие, дядя Никита в особенности. Конечно, тетя Вера дяде Никите много пить не позволяла из-за склонности к алкоголизму, но при закуске семечками и полстакана самогона хватало.

Выпил дядя Никита и начал опять про Молотова, как уже бывало.

– Молотов, – говорит, – Молотов... Ненавижу, – говорит, – я мальцом у купца работал, отца Молотова. Порядочный человек, он сына своего проклял.

А Ульяна, мать Тони, русская добрая женщина, за Молотова застывает.

– Он не виноват. Зачем его ругать? Его назначили. Он же должен где-то работать.

– Ох, беда моя, – говорит тетя Вера, – как увидит дом культуры имени Молотова или проезжали мы Молотовск, так прямо при людях ругается и проклиняет. Как еще цел, не знаю. Семью имеет, пятеро детей.

А Ульяна, мать Тони, чтоб семейный скандал унять, говорит.

– Хвать вам посторонним себя расстраивать. Вот Тоня сейчас вам кабардиночку спляшет, развеселит.

Все в ладоши хлопают: асса! – а Тоня танцует. Ульяна

не налюбуется на дочь глядя и, тоже подвыпивши, говорит.

– Звездочки мои небесные, – говорит, – детки мои, Тоня и меньшей Давидка. Вот погодите, – говорит, – новые цеха открывают при мочально-рогожной фабрике – веревочный, да войлочный. Устроится мать ваша на хорошую работу, купит подарков: сарафан праздничный, калоши новые. Тоня у меня девочка умненькая, добренькая, тороватенькая.

Тороватенькая на местном наречье значит щедрая. Слышит Тоня такие похвалы себе и еще лучше танцует, старается. Кончила танцевать, тут мать ей вопрос задает, чтоб похвалиться гостям, какая у нее дочка уже взрослая и умная.

– Кто ты есть, – спрашивает, – какого возраста и где проживаешь?

– Тоня Пейсехман, – отвечает, – шесть лет. Улица Красных Зорь дом десять.

Вдруг тетя Вера как разозлится.

– Какая ты Пейсехман! Ты Тоня Зотова.

А дядя Никита, чтоб только с тетей Верой поспорить, говорит.

– Правильно, одобряю. Она фамилию сменила, чтоб товарные вагоны не мыть, как мать ее, и чтоб на тракторе не надрывать, как дядька ее с рассвета до поздна в мазуте и тавоте. Отец ее Миша, шоферюга, может, самый дурной из них. У него брат родной кто? Доцент все-союзных знаний – вот кто.

Тут Ульяна как крикнет.

– Ты Менделя моего не тронь! Не позорь отца при ребятах.

– Какой же он отец им, – говорит тетя Вера, – если сбежал. Ты б лучше на алименты подавала, чем грязные вагоны скоблить. Погляди на руки свои. Тебе только двадцать семь и статная, нашей породы. Тебя и с двумя детьми возьмут. Вот Лука Лукич, главбух наш совхозный, вдовец, герой войны, к тебе интерес имеет.

– Нет, – отвечает Ульяна, – я Менделя люблю. Вернется он ко мне.

– Когда вернется, – спрашивает Вера, – письмо от него, что ли, получила?

– Я и без письма знаю. Будущей весной вернется.

– Это она из песни своей придумала, – засмеялась Вера, – пойдем Никита, пойдем. Пора уж, а то детей на суседку оставили. Пора уж... А ты, Ульяна, сестрица, гляди, как бы при твоём упорстве слезами не облиться.

На такие слова тети Веры Тоня рассердилась, затопала ножками и крикнула.

– Ты Менделя нашего не тронь.

– Вот, значит, чему тебя твоя маманя учит-балует, – говорит покрасневшая тетя Вера, – гляди, глупых детей дядя Толя иголочкой колет.

И ушли не попрощались. Вера даже на пороге плюнула. Однако потом помирились и в гости к себе пригласили, в совхоз. Это уж летом, правда. Но с детьми раньше лета всё равно в совхоз не выберешься.

Дни стояли погожие, лето теплое, а у Ульяны как раз двухнедельный отпуск подоспел. Посоветовалась Ульяна с Тоней и решили – пешком пойдем по шпалам. Пораньше встанем, с передышками пойдем, еду какая есть с собой возьмем. По дороге в брусничнике малинки нарвем, как раз подоспела, водицы из ключа попьем.

Утро было чистое, солнечное, облака легкие и высокие, как всегда в погожие дни. А меж облаков такие же легкие и высокие птицы. Лесные или поселковые птицы шумят, а этих не слышно – истинно небесные птицы.

– Это жаворонки, – говорит Ульяна, – вот мы сейчас у них здоровья попросим.

Стала, подняла голову и заговорила.

– Ой вы жаворонки, жавороночки. Летите в поле, несите здоровье. Первое – коровье, второе – овечье, третье – человечье.

– Они ведь высоко, – говорит Тоня.

– Ничего... Они добрые слова сердечком слышат.

Пошли дальше. За переездом началось ржаное поле. Ульяна поцеловала колоски и, взяв детей на руки, велела и им целовать колоски.

– Ржаной колосок – медовый пирог. Приехал на сохе, на бороне, на кобыле вороне.

Хорошо, весело, красиво вокруг и по шпалам легко идти. Поезда редкие, раз только пропустили, и по грунтовке изредка полуторка пыль поднимет или телега прогрохочет. Люди совсем уж редко навстречу попадают. Шли мимо поля – ни живой души. Уж миновали поле, когда из брусничника по тропке бабушка Козлова с полным кузовом лесной малины. «Куды, да раскуды?» Сели вместе передохнуть.

– День какой солнечный, – говорит Ульяна, – лето славное. Вот рожь как поднялась. С хлебом будем.

– Верно, – смеется бабушка Козлова костяным белогубым ртом, – был бы хлеб, а мыши будут. И мышь в свою норку тащит корку. Мышей развелось невидимо. Это к голоду, к беде. Я еще солнца не было иду, а мыши развозились и пищат, беду закликают. А ты далёхонько?

– В совхоз, к сестре.

– К сестре – хорошо. Только в брусничник глубоко не ходи. У моей кумы тесть молодой, а уже в чинах. Кажись, главный лейтенант. Так говорит – поберечься надо.

– От чего поберечься, бабушка?

– От чего? – и опять костяным белым ртом щелкнула.

Дети дружно заревели.

– Ты, бабушка, детей мне не пугай, – говорит Ульяна, – иди своей тропкой, а мы своей дальше пойдем.

– Ты не торопись, – говорит бабушка Козлова, – ты молодая, тебе беречься – не мне. Хоть и старым беречься не грех. Вон Саввишна Котова, моя одноклассница, в черничник ходила. Черницы захотела. И встретили ее у мохового болотца два огольцы. Говорят, подымай, бабуся, сарафан. Зачала она их стыдить да ублажать. «Вы молоды, вам молодка потребна». Так, думаешь, они Саввишну послушали?

– Пойдем, дети, – говорит Ульяна, – пора нам. Тетя Вера да дядя Никита ждут.

– Ребят пуще себя береги, – кричит вслед бабушка Козлова, – дядя Толя иголкой колет, а сестра его Раиса, волосы длинные, на крови пельмени варит.

«Чтоб ты сдохла, щука старая», – подумала про себя Ульяна и скорее прочь пошла. Тоне велела за юбку дер-

жаться, а меньшого Давидку на руки взяла. Но уж день не таким чистым казался и за малинкой в брусничник идти перехотелось, хоть дети клянчили.

– Лучше скорее в совхоз доберемся, там с народом совхозным за малинкой сходим.

Но дорога неблизкая, умаялась Ульяна меньшого Давидку на руках нести, умаялась Тоня ножками топать по шпалам. Было уж за полдень, утренние облачка улетели и в бесконечном небе осталось только солнце да жаворонки. Начинался зной, солнце пекло, а еще сильнее солнца пекло от шпал и гравия, покрытых черными мазутными пятнами. Душный запах мазута глушил лесные и полевые запахи. Хорошо – грунтовка свернула и унесла свою пыль к понтонному мосту через Пижму. Ульяна решила держаться железной дороги, которая выведет прямо к совхозу. Да и безопасней, чем к брусничнику спуститься. Дорога пошла на закругление, и уж солнце светило в спину, а сосняк-брусничник был с обеих сторон. Перекусить бы, попить, но боязно было среди леса с обеих сторон. Наконец вышли к Пижме. Шли в другую сторону, а вышли всё к той же реке, потому что Пижма река длинная и извилистая. Здесь уж былолюдно, слышались людские голоса, у пристани причалена была баржа и плоты сплавщиков. На барже сушилось белье, а какие-то подростки ради баловства, видать, жгли на отмели смоляную бочку.

– Ну вот здесь мы и перекусим, – сказала Ульяна, – здесь и со шпал сойти можно. От дороги железной отойти. Здесь место людное. Расстели, Тоня, скатерку, я сейчас на пристань за водой схожу.

– Из ключа попить хочу, – заныла Тоня.

– Попьешь и водопроводной, – сердито сказала Ульяна, – ключ в сосняке остался, который мы миновали. Слыхала, какие страхи бабушка Козлова рассказывает.

Пристань называлась: «Поселок светотехстрой». Никакого поселка еще не было, но земля во многих местах была очищена от травы и лежало много срубленных деревьев.

Перекусили спеченными накануне Ульяной холодными блинами из пшена и ржаной муки, а для Тони и

Давидки Ульяна припасла на закуску яблочко, каждому половинку. Попили водопроводной воды, пахнувшей речной тиной. После того, как перекусили и попили, не сразу пошли, а еще посидели.

– Ты почему на бабушку Козлову «щука» сказала? – спросила Тоня.

– Вот-те раз, разве я сказала? – удивилась Ульяна, – а сказала – тоже не беда. Щука – рыба умная, она своими острыми зубами все болезни и все беды загрызает. Если укусит невзначай – пенять нельзя, за дело укусила, – и увидав, что ребята от усталости приуныли, от еды разомлели, а дорога еще не кончилась, пропела, чтоб подбодрить: – «Щука шла из Новгорода. Она хвост волокла из Бела озера. Как на щуке чешуйка серебряная, что серебряная, позолоченная...»

2

В совхозный поселок пришли уж под вечер, усталые, запыленные, потные и продрогшие, поскольку, когда побагровевшее солнце пошло на закат, от леса и Пижмы потянуло холодом, а одеты-то все по-летнему: на Ульяне легкая кофтенка и юбка, на ребятах платъица. Меньшой Давидка, хоть мальчик, тоже платъице носил старое Тонино.

Совхозный поселок быстро разрастался, и дома здесь все были свежие, недавно сложенные, а улиц много, не то что одна – Красных Зорь да тупички. Зато каждый тупичок на другой не похож, а здесь улицы, как одна мать родила. Хоть была Ульяна у сестры не однажды, но с трудом нашла. Подходит Ульяна к дому, узнаёт по воротам, да по резной фигурке над кровлей, которую дядя Никита вырезал и прибил, узнаёт и нажимает звонок. Не отпирают. Тогда стучит. Не отпирают. Что за страсть? Уж беспокоиться начала. Но в окнах свет – значит дома. Опять звонит и стучит. Зинка, старшая, отпирает.

– Тетя Ульяна? Мама еще с работы не пришла.

– А отец?

– Папаня есть, только он спит. Вы проходите.

Проходит Ульяна с ребятами в дом и видит такую картину. Никита лежит на полу навзничь с открытым ртом и храпит пьяным храпом. Штаны, пиджак, рубашка – всё мокрое и грязное, точно он долго в канаве плескался. Ноги босы и тоже грязны, а рядом ботинки, облепленные комьями грязи, в грязной лужице мокнут. Лицо разбито, в запекшейся крови и засохшей грязи. А вокруг него ребята возятся все пятеро, оравой – Зинка, Бориска, Сергейка, Матвейка и меньшей – Влас, Давидкин ровесник. Мочат ребята тряпицы в ночной горшок и тряпицами этими отцу лицо обтирают. Тут же кот Барсук трется, слушает с любопытством храп, подойдет, понюхает открытый Никитин рот, понюхает и лапками на полу у Никитиной головы закапывает, понюхает и закапывает. Всплеснула руками Ульяна.

– Ах ты чёртова беда.

Попробовала перетащить Никиту на лавку – тяжелый. Набрала миску воды, обмыла лицо, нашла йод – смазали ссадины. Ребята всей оравой, теперь уж всемером, ей помогали. Смех, визг, толчея – весело. Пока так возились, Вера с поля пришла. Увидела – ничего не сказала, только рукой махнула. Перенесли сестры Никиту на лавку – пусть храпит. Вера одежду стащила грязную в стирку, всё привычно, всё как водится. Управилась и стала на стол накрывать – сели ужинать. Поужинали сытно: грибами вареными и хлебом, а на сладкое лесной малиной. Поужинали и спать легли. Вера ребятам всем вместе на полу постелила, Ульяна с Верой в кровать легла, а Никита так до утра на лавке и прохрапел. Точнее, до рассвета. Когда проснулись – его уж не было, уж давно на тракторе своем. Потому и ценили в совхозе: пить пьет, а в работе не подведет. Утром уселись всей оравой за стол, поели холодца.

– Я кость от окорока варю, когда достану, – говорит Вера, – шкурки, кусочки хрящика. Ребята любят, и мой поест тарелку, трехлитровую банку кваса выпьет и доволен. Его если хорошо кормить, он меньше пьянствует, только иногда срывается. А иной раз я кость с горохом варю.

Потом поехали в поле, на покос. Было очень красиво, много людей, и в большом котле варился вкусный обед. Ульяна пошла вместе с Верой трудиться. Серпом работать умела, хоть и отвыкла. Работа нелегкая, с непривычки особенно, но радостная. Не то, что грязные вагоны мыть. От земляных запахов кружится голова и петь хочется.

– Петь здесь можно? – спрашивает Ульяна.

– А чего ж нельзя, – отвечает Вера.

И запели в два голоса: «А на шейке-то платок, точно аленький цветок, а в кармане-то другой – итальянский голубой...»

– Продавай дом, переезжай в совхоз, – говорит Вера, – я тебе уж давно советовала, да ты всё думаешь, будто я свою половину денег тороплюсь получить.

– Жалко, – говорит Ульяна, – отцовский дом. Да и Мендель вернется, куда ему в совхоз. Он на мочально-рогожной фабрике опять работать захочет, его там начальство любит.

– Что тебе этот Мендель, – сердится Вера, – чем тебя этот Мендель к себе прилепил? Он уж и думать про тебя перестал, он уж поди давненько с Сарочкой живет. Ты лучше про Луку Лукича думай, если не ради себя, то ради детей, Тони и Давидки. Сегодня Лука Лукич у нас ужинать будет. Это знаешь какой человек? Герой войны, весь пиджак в золоте и серебре. И справа висит, и слева висит. Семью свою в войну потерял и потому из тех мест уехал от тяжелых воспоминаний подальше в наши места. А здесь туз тузом. Сам Куцепалов, директор совхоза, перед ним спину гнет, поскольку все финансы у него, а он лицо материально ответственное перед городским банком. И человек добрый, редко кто теперь согласится с двумя детьми взять.

Пока взрослые беседовали и трудились, дети веселились, бегали по траве, забирались в скирды. Потом появился дядя Никита и каждому дал по птичьему яичку в желтых крапинках. Тонино яичко разбилось, и она заплакала, но дядя Никита тут же дал ей другое. Пообедали в поле крестьянской похлебкой с говядиной и капустой. Каждому досталась полная алюминиевая миска похлебки.

Вечером перед ужином Вера говорит Ульяне.

– Я тебе свое платье дам, ты приоденься. У нас, кажись, один размер. Ты чуть худее, но можно где надо булавкой зашпилить. И туфли мои одень на каблучках. Ежели велики, в носки тряпок набей. Это лучше, чем когда давят. И духами побрызгайся «Красная Москва». Я на особые случаи флакончик берегу. А это и есть особый случай в твоей судьбе, Уля.

Приоделась Ульяна, посмотрела на себя в зеркало в полный рост, ахнула, точно по волшебству из жабылягушки стала царевной. А Тоня как увидела свою маму такой – засмеялась от радости, в ладошки захлопала. Тут же и тетя Вера радостная суетится, где лишнее, булавками подкалывает. Взмахнула Ульяна руками и пошла перед зеркалом каблучками притопывать.

Вниз по озеру гагарушка плывет,
Выше бережка головушку несет,
Выше леса крылья взмахивает,
На себя воду заплёскивает.

– Хороша невеста, – смеется дядя Никита, – пора свадебную баньку топить. У нас в деревне Лобаново над рекой Истрой, откуда я родом, накануне свадьбы топили баню и подружки мыли невесту. Косы переплетали. Пока девушка – с одной толстой косой, а замужня, уж две косы... Хороша наша деревня. Над кровлей каждого дома резная фигурочка, на окнах узорные наличники.

– Ладно, – оборвала его Вера, – и наши не хуже ваших. Гляди на Улю, какая рыбка плывет. Надо только шелковы невода, чтоб ее изловить.

Лука Лукич пришел в седьмом часу вечера, как и условились. Принес бутылку водки «Московская», полфунта масла и банку красной кетовой икры. Торговля с Западом тогда велась незначительная, и икру черную и красную пускали на внутренний рынок. Стояла она на прилавках свободно, даже и в захудалой провинции, и была гораздо меньшим дефицитом, чем обычная чайная колбаса. Стоила икра по сравнению с нынешними ценами не дорого, но народ зарабатывал еще меньше и была

икра, как и ныне, мало кому доступна. Однако Лука Лукич, главбух совхоза, мог себе позволить.

– Вчера в горбанке был, – сказал Лука Лукич, усаживаясь за стол и расправляя свою хорошо выращенную, по грудь бороду, черную с седой искрой, – в горбанк ездил, а там напротив гастроном большой... Был в горбанке, купил икру в банке, – пошутил Лука Лукич.

Лука Лукич был человек тяжелого веса и уважение к себе имел увесистое. Вера устроила так, что за столом Ульяна оказалась рядом с Лукой Лукичом.

– Вы, Лука Лукич, уж поухаживайте за моей сестрой, – сказала Вера, сахарно улыбаясь, – а то она у нас несмелая.

– Рад стараться, – шутливо ответил Лука Лукич и, когда он потянулся вилкой к блюду с холодцом, то ордена и медали на его груди зазвенели, как колокольчики, которые вешают в здешней местности на шею козам и коровам, чтоб легче было отыскать их в тайге. Положив кусок холодца Ульяне, он положил кусок и себе на тарелку.

– Хренка бы, – обратился он к Ульяне, – и вам советую.

– Я острого не люблю, – сказала Ульяна.

– Напрасно, – сказал Лука Лукич, принимая от услужливой Веры посудину с тертым хреном и накладывая себе побольше. – Способствует, – добавил он, но чему способствует, не объяснил, – а студень хорош, – сказал, положив кусок в рот и прожевав, – это говяжий студень со свиными губами?

– Точно, – умилилась Вера, – вы, Лука Лукич, знаток. Вам холодец из хрящей жена не подсунет. Да и было б за что, мы, женщины, всё раздобудем.

Действительно, побегала Вера многовато, и в станционном буфете переплатила, и мясника в совхозном магазине отблагодарила, пока достала три говяжьих ноги и пол свиной головы. Ребятам, всей ораве, накрыли стол отдельно, на кухне, и потому разговор у взрослых после второй рюмки пошел серьезный и не стеснительный.

– Вчера в городе кино смотрел, – сказал Лука Лукич, – «Иван Грозный». Хорошая картина, только с названием я не согласен. Для кого он, понимаешь, Грозный был?

Для боярства и купечества, а не для народа. Я считаю, самое ему подходящее название не Иван Грозный, а Иван Серьезный.

– Это верно, – сказала Вера, сворачивая на свое, – серьезному мужчине жена всегда рада. А у сестры моей муж попался никудышний. Мендель – еврей. Бросил ее с двумя детьми.

– Не в том дело, что еврей, – медленно, рассудительно шевелил губами Лука Лукич, – это я не согласен, как у нас некоторые к евреям относятся. Маркс был еврей и Яков Свердлов. Какой человек важно, а не нация.

Такие слова Луки Лукича Ульяне понравились, она подняла глаза и посмотрела на него уже мягче. Луке Лукичу было лет сорок пять и, если б сбрил бороду, да нос был бы не так толст, то имел бы лицо даже приятное.

– Двое детей, говорите, – боролся со словами выпивший Лука Лукич, – я люблю малых... Семью мою немцы-фашисты сожгли в сарае вместе с другими односельчанами за то, что в деревне немца убили... Жену и троих маленьких, – он вынул платок и приложил его к глазам.

За столом притихли. Никита дожевывал кусок холодца, но Вера его дернула и он остался сидеть с полным ртом, пока Лука Лукич не отнял платок от глаз.

– Воспоминания, – сказал Лука Лукич, утер слезы и громко в этот платок высморкался.

Только после этого Никита дожевывал кусок.

– Не в шумной беседе друзья узнаются, – сказал Лука Лукич, – друзья узнаются с бедой. Коль горе настанет и слезы польются, тот друг, кто заплачет с тобой.

– А мы, Лука Лукич, все плакали, – сказала Вера. – ... Верно, Никита? Когда вы начали про деток... – и она приложила платок к глазам, громко всхлипнула.

– А где же детки? – спросил Лука Лукич.

– Нету деток, – сказал Никита, – деток немцы в сарае сожгли.

– Тю на тебя, – сказала Вера, – он, когда выпьет, Лука Лукич, не помнит, что говорит. Лука Лукич про Ульяниных деток спрашивает, – и через стол быстро шепнула Ульяне, – позови Тоню и Давидку.

Когда позвали детей Ульяны, из кухни пришла вся орава.

– Ай, хорошо, – умилился и повеселел Лука Лукич, – люблю, когда полный дом детей.

– Это дело наживное, – сказала Вера и рассмеялась.

– Которые из них? – спросил Лука Лукич, тоже смеясь, – которые Ульяны? Этот, что ли?

– Нет, – сказал Никита, – это наш. Это Макарка.

– Макарка, – умилился Лука Лукич, – ты чей будешь, Макарка?

– Я? Матерный сын.

– Матерный? – захохотал Лука Лукич, снова прижимая платок к глазам и утирая слезы, но уже от смеха, – именно, что матерный... Так нехорошо, так не надо... Матерный...

Если пьяного и сытого человека что-то рассмешит, то уже остановить невозможно, пока не высмеется.

– Матерный... Ах ты, ах ты... Ах ты цыцкин сын... Цыцкин сын – это приличней. Кто из нас не цыцкин сын, тот цыцкина дочь... Все мы цыцкины дети...

Было уже поздно, в окна светила яркая луна. Лука Лукич глянул на свои карманные часы-«луковицу» в хромированном стальном корпусе.

– Пора... Завтра мне на работу пораньше... дебит-кредит...

– Проводи Луку Лукича, – сказала Вера Ульяне, – а то, может, его кто обидит... Я детей сама уложу.

– Сделайте любезность, – сказал Лука Лукич Ульяне, – сперва вы меня проводите, потом я вас провожу.

– Ты куда, мама? – спросила Тоня, увидав, что мать ее направляется к дверям с Лукой Лукичом.

– Иди, иди спать, – вмешалась тетя Вера и повернулась к Ульяне, – гуляй, не беспокойся, я с детьми сама управлюсь.

Ульяна вышла на улицу. После душного, спиртного застолья сырой холодный воздух был вкусен, хотелось стоять и дышать, не думая ни о чем. Черную мглу вокруг освещали лишь слабые отсветы из окон. Во тьме лаяли собаки, что-то скрипело и гудело.

– Это на Пижме паром скрипит, – сказал Лука Лукич, – никак мостом не разживемся. Я, как депутат, уже несколько раз ставил вопрос в исполкоме. И фонари необходимы, улицы осветить. Здесь местность таежная, людишек хватает, которым во тьме удобней... Был у меня случай в прошлом месяце. Подходит ко мне – часы давай. Я ему говорю: сволочь, не успеешь опомниться, как я тебя ударю по голове. Причем дважды. Он меня ударил по верх головы. В том смысле, что я пригнулся... Я же после партизанщины и фронта все приемы знаю... Главное в драке – бухгалтерский расчет... Шаг назад и яйца сохранены...

Про яйца с перепоею сказал, поскольку еще не выветрилось, но тут же опомнился и извинился.

– Я, знаете, никогда не ругаюсь, хоть работа у меня нервная, ответственная. Если уж припечет, скажу: ах ты хрен перловый – и всё.

Ульяна ничего не ответила. Шли молча. Подошли к Пижме у скрипящего во тьме парома.

– Похолодало, – сказал Лука Лукич, – вот пиджак мой позвольте, а то платье на вас легкое.

И – повесил на худые плечи Ульяны свой тяжелый пиджак с позвякивающей металлической грудью.

Меж тем, Тоня все не могла заснуть, хотела дожидаться матери. Вера с ней замучилась и даже на нее прикрикнула. Остальные дети уже спали, а Тоня все ворочалась, поднимала голову и глядела в окно.

– Спи, – прикрикнула тетя Вера, – мать твоя тоже человек, погулять хочет. Она не скоро придет.

Однако вернулась Ульяна, к радости Тони, через какие-нибудь полчаса.

– Ты чего? – тревожно спросила Вера.

– Ничего, – ответила Ульяна и добавила тихо, – не люблю, когда у мужика борода водкой воняет.

– Э – эх, – сказала Вера, – только мое платье студнем забрызгала. Вон пятно, теперь не отстираешь.

– Это Лука Лукич забрызгал, когда за мной ухаживал, – ответила Ульяна.

И больше о Луке Лукиче разговора не было. Утром Вера ушла на покос сердитая, не попрощавшись, а Ники-

та, у которого был отгул, отвел Ульяну с детьми на полустанок и купил им билет на поезд. Так, на поезде, уже без всякой усталости, быстро и удобно приехали они назад, на свою улицу Красных Зорь.

3

Улица Красных Зорь осенью непроходима. Ноги не вытащишь. А вытащишь – калошу в грязи оставишь. Осень для Тони – худшая пора. Этой же осенью совсем худо – старые калоши порвались, а на новые мама Ульяна деньги не заработала. Получила Ульяна аванс, сели они с Тоней за стол деньги раскладывать: на то, на сё, на то, на сё и на еду отдельно. А на новые калоши не получается.

– Ты, может, потерпишь, дочка? – говорит Ульяна, – в слякоть все равно далеко не пойдешь, а вот замерзнет скоро, снега наметет, валенки наденешь. Они у тебя новые и теплые.

Согласилась Тоня, что поделаешь. Согласиться-то согласилась, но все равно обидно. Сидит Тоня на заборе и плачет. Калош нет – гулять не может. Вдруг видит Тоня, дядя Толя идет. Испугалась, еще сильнее плачет. Подходит к ней дядя Толя и спрашивает.

– Чего ты плачешь, голубушка?

А лицо у него бледное, пенсне блестит, и все покашливает. Спрашивает и покашливает сипло. Хочет Тоня с забора соскочить, хотя бы и в грязь, да от страха как будто к доскам приросла. Полез тогда дядя Толя рукой в карман свой.

«Ой, сейчас иголочку вытащит, – думает Тоня, – ой, сейчас уколёт».

А дядя Толя вынул из кармана бордовую ленту и подарил. Взяла Тоня, побоялась не взять, да и лента шибко красивая. Пошел дядя Толя своей дорогой, вреда Тоне не причинив, даже наоборот, несколько раз останавливался и рукой ей махал. И Тоня тоже раз в ответ рукой махнула – не удержалась. Потом, когда дядя Толя скрылся, слезла Тоня с забора, пошла в дом, матери все рассказала и ленту показала. Узнали про ленту бордовую сосе-

ди и тетя Вера, которая проведать сестру заехала, и бабушка Козлова, и прочие поселковые женщины. Все говорят – выкинь ленту, выкинь. А бабушка Козлова даже посоветовала: спали ее. Послушала Ульяна эти советы, послушала и бант завязала. Красив бордовый бант в Тониных темно-русых волосах. Ахнул народ поселковый, как узнал, что Ульяна совершила.

– Ульяна сама порченная, – говорят, – она с жидом жила, от жида детей прижила. У ней кровь тифозная.

А дедушка Козлов сказал.

– Раньше с жидом, а теперь с контрой. Дядя Толя ведь непокорный враг революции. Он дворянского звания.

Меж тем, дядя Толя еще подходил и заговаривал с Тоней, поскольку Тоня не гуляла, а сидела на заборе и ее встретить было нетрудно. Тоня уже не пугалась, не плакала и брала у него гостинцы, какие раньше и не чудились: то шоколадку, то печенье мятное, то две мандаринки. А раз принес новенькие калоши. Подкладка ярко-красная, мягкая, резина тугая, пахучая. Натянула Тоня калоши – в самый раз. С забора соскочила, по грязи пошла: ноги сухие и калоши прочно сидят – высшее качество. Не областной фабрики, а мосрезинотреста. Клеймо имеется. Ульяна вместе с Тоней со всех сторон новые калоши осмотрели – хороши. Тоня их перед сном рядом с кроватью аккуратно ставила, а не в передней, где иная, старая обувь. Вымоет, высушит и поставит. Пусть стоят, блестят, резиной вкусно пахнут. Радуется – не нарадуется вся семья, даже меньшей Давидка подойдет к Тониным калошам, да погладит. Однако, у Ульяны имелись и сомнения: отчего дядя Толя такой тороватый к Тоне, что у него за умысел и откуда он про калоши догадался? Говорит Ульяна Тоне.

– Если еще дядя Толя появится, кликни меня, я подойду.

Тоня и сама уж ждала дядю Толю – что подарит? Уж привыкла к подаркам. Ждала, когда на улице Красных Зорь послышится сиплое покашливание, и потому она не обращала внимания на крики соседских ребят, которые ее дразнили.

– Дядя Толя, дядя Толя! – кричали они ей, – Тоню иголочкой колет.

– На-кось выкуси, – кричала им в ответ Тоня, – больше не дам никому ни кусочка пряника, ни кусочка шоколадки.

Дразнить – дразнили, а уйдет дядя Толя, подбегали и лакомства выпрашивали. Вот приходит дядя Толя и приносит два пирожка. Вкусные, медовые, с орешками. Берет Тоня пирожки, пробует и наслаждается, а соседским ребятам незаметно кукиш показывает. Ест Тоня пирожки и спрашивает, пережевывая сладкие, липкие кусочки.

– Можно, – спрашивает, – я свою маму, Ульяну, позову, поскольку она просила ее позвать, когда вы придете.

– Буду весьма рад, – отвечает дядя Толя, – я твою матушку издали наблюдал, и для меня большая радость с ней познакомиться.

Позвала Тоня Ульяну, и дядя Толя действительно весьма обрадовался, улыбается и смущенно покашливает.

– Разрешите представиться, – говорит, – Мамонтов Анатолий Федорович, – и Ульяне руку поцеловал.

Ульяна сначала от такой необычности растерялась, а потом освоилась, себя назвала.

– Ульяна Григорьевна, в девичестве Зотова, по мужу Пейсехман.

– Весьма приятно.

– И мне приятно. Только вас спросить хочу – почему вы нам подарки делаете? Ведь мы же чужие.

– Я верующий, – отвечает, – и по моей вере полагается чужих любить как своих. Слышал я, как соседские ребята Тоню дразнят, что у нее калош нет, вот и подарил калоши.

Подивилась Ульяна таким речам, они ей непривычны были. И человек дядя Толя непривычный. Издали опасным казался, а вблизи улыбку имел тихую, беззащитную. Нищую улыбку, которая словно что-то выпрашивала, будто в состоявшемся знакомстве не дядя Толя одаривал, а его одаривали.

– Буду весьма признателен, – говорит, – если вы с мужем согласитесь принять приглашение мое на обед.

– Хорошо, – отвечала Ульяна, – только муж мой Мендель Пейсехман в настоящее время в длительном отъезде и жду я его возвращения не раньше весны. Но с Тоней приду.

И начали они с Тоней с того времени к дяде Толе в гости ходить. Первый раз пришли – обомлели. Дядя Толя с его сестрой Раисой жили в большой пятикомнатной квартире на нижнем этаже трехэтажного дома из серого кирпича, словно перенесенного сюда из Москвы, Ленинграда или, в крайнем случае, из области. Впрочем, к внешнему виду дома поселковые привыкли и не дивились, поскольку стоял этот дом еще с давних, дореволюционных времен. И конечно, подобно иным поселковым, Ульяна видала высокие внутренние комнаты, когда приходила на верхние этажи дома в поселковый совет или фабричное управление. Однако те комнаты были уж переоборудованы в присутственное место с канцелярскими столами и побеленными стенами. Каждое жилье имеет свою душу, свой дух, который исчезает вместе с прежними обитателями. Потому так быстро обращались в пропахшие керосином хижины-коммуналки бывшие квартиры-дворцы аристократии, буржуазии и купечества. А из всех насекомых наибольшим классовым сознанием, как известно, обладают вошь да клоп, которые сразу сообразили, куда им из полуподвалов переселяться.

Однако в пятикомнатной квартире Мамонтовых прежний дух был сохранен полностью и обитателями, и обстановкой. Все пять комнат были тесно уставлены мебелью такого вида, которая не то что Ульяну, столичного советского гражданина удивила бы. Ульяна, как и прочие поселковые, привыкла к рундукам, сундукам да ларям, дощатым, крепко сколоченным из сосны и ели, прямым, угловатым. Здесь же мебель словно текла, изгибались не только ножки, но и ручки и спинки кресел и стульев. И обивка сидений и спинок кожаная, бархатная, шелковая, атласная. Прибито все гвоздиками с блестящими головками, отделано бахромой и тесьмой. Множество резных шкафов и шкафчиков шоколадного

цвета, посудные буфеты, и на них изображены разные плоды, цветы, листья, фигурки детей, животных. Уж на что Никита в свободное время искусно резал по дереву и даже над кровлей дома фигурку прибил, да разве сравнить тонкую столярную работу с работой плотника.

Но как же не разбили все это во время революционной бури, как не конфисковали во время классовой борьбы? Заступники нашлись. Сначала из революционной интеллигенции, а потом из совещанства, поскольку красивая мебель отечественного производства для революции безопасна, а для новых любителей роскоши даже полезна. Конечно, много побили, много пропало, и в итоге мебельную фабрику Мамонтовых переоборудовали в мочально-рогожную фабрику, но эти пять комнат сохранили как музей, и при музее жил бывший владелец, который ныне работал садовником. В начале двадцатых годов, еще при покойном Федоре Евгеньевиче Мамонтове, был на мочально-рогожной фабрике мебельный цех, снабжал губкомы, райкомы, исполкомы, посылал и в центр. Федор Евгеньевич работал в этом цехе спецом. Однако давно уж и этот цех закрыт, а Федор Евгеньевич давно уж покоится на сельском кладбище села Абрамцево, близ подмосковного городка Хотьково, покоится рядом с женой своей, которая, как выразилась Раиса Федоровна, «имела счастье умереть в 1916 году».

– В селе Абрамцево у нас имение было, – рассказывала Раиса Федоровна, после того как пообедали и сели за полированный столик чай пить с домашним пирогом.

Обед был куриный, пахучий, поскольку Анатолий Федорович садовником при начальстве зарабатывал неплохо и ценился особенно за земляные вазы из цветов, которые он по заказу делал. Даже в область ездил и перед обкомом такую вазу соорудил. Обед был непривычен и вкусен, однако ведь и Ульяна умеет вкусно приготовить, если есть за что. Не курицу тушеную с вином, но зато пельменей налепит – сами в рот просятся. Пельменей-то налепит, а вот подать их, кроме как в алюминиевых мисках или в глиняных тарелках, не в чем. Поразил Ульяну и Тоню не так обед, как поразила посуда. Большие тарелки с золотым ободком, с лазурью, с розовыми цветами.

Ноготком по краюшку постучишь – они так тихо звенят, так музыкально отзываются. Что еще понравилось Ульяне у Мамонтовых, так это гитара, тоже шоколадного, густого цвета, с краснотой. На гитаре не то, что на балалайке, пальцы с непривычки путаются, но попробовала, наиграла мелодию «У муромской дороги». А Раиса легко струны перебирала, мягко, полузакрыв глаза, и пела в своем шелковом красном капотике, сидя на шелковом зеленом диванчике, потряхивая длинными до плеч, распущенными темными волосами. Пела романсы.

Тихо, так тихо
На землю спускаются грезы.
В темную летнюю ночь
Росой наполняются розы.

Попела, помолчала и неожиданно начала рассказывать, как их старшего брата Костю в семнадцатом году убили.

– Мы с Толей тогда еще в гимназии учились, а он студент. Ехали из Петербурга в Москву, домой. Как сейчас помню, ведь столько лет, а помню, стояли в тамбуре и вдруг видим, в тамбуре соседнего вагона по стеклу кровь потоком, будто на стекло ведро крови выплеснули. В соседнем вагоне солдаты ехали пьяные и меж собой драку затеяли. Костя наш был романтик, народолюбец, у него на груди красный бант висел. Да и у меня тоже. Простой народ мы любили и на этом воспитаны были. У нас в Абрамцеве отец организовал учебно-показательную столярную мастерскую. Набирали деревенскую молодежь, были подростки, были и столяра поопытней. Народ талантливый, милый, славный. Если и выпьет кто, так попляшет, попоет, проспится и опять работать. Работали с любовью. Отец и здесь, когда перед революцией фабрику построил среди местных лесов, собирался кустарно-художественную мастерскую открыть и столярному делу народных умельцев обучать. Земство нас активно поддерживало. Дело шло хорошо. Помню, отец говорил: перед мебельным делом стоит задача создать обстановку русского жилого дома, русской церкви и русской школы. Помимо фабрик, и артели организовать хо-

тел с использованием старой русской резьбы по дереву. Мебель наша призы брала на Нижегородской ярмарке и за границей, в Лейпциге. Вот Костя и решил, что дерущиеся солдаты – это те же столяры, только перепившиеся не в меру и кем-то обманутые, стравленные. Пошел к ним – товарищи! Не лейте свою революционную кровь на радость врагам России – и хотел разнять. А они сразу – наших бьют! – объединились и на Костю. Опомниться никто не успел, как на куски разорвали и начали эти куски по ходу поезда из вагона выбрасывать. Поезд остановили, но левую Костину руку так и не нашли. Хоронили без левой руки.

Раиса Федоровна вдруг сжалась в комочек, в углу дивана, подобрала под себя ноги и заплакала, задрожала, а вслед за ней испуганно заплакала Тоня. Анатолий Федорович сел привычно рядом с сестрой, видно, эти припадки были не впервой и начал гладить по плечам и голове.

– Перестань, Раиса, что старое вспоминать. Как давно было. Вот ты гостей напугала, девочку...

– Старое! – крикнула Раиса, – а сейчас нас здесь по-старому и ненавидят, точно революция не кончилась. Только что на части не рвут, поскольку это запрещено властью. Мы как будто и не высланы, сами сюда приехали, а уехать отсюда не разрешают, особенно брату. Сначала отказывали, будто мы родственники белого генерала Мамонтова. Не знаю, может, и родственники – все дворянство меж собой в родстве. Но теперь уж генерала не упоминают, отказывают просто так. У Толи легкие больные, а климат здесь болотистый, сырой. Но народ здесь еще хуже климата. Выдумали, что Толя детей иголочками колет... Ох, ненавижу... Хамы! Волки!

Анатолий Федорович взял сестру за плечи и увел ее в соседнюю комнату. Ульяна уж жалела, что пришла. Ей Тоню успокаивать, да хоть бы кто ее саму успокоил после рассказа Раисы и ее припадка. Ульяна была местная, поселковая, и по себе знала, что такое поселковое мнение, которое передается от соседа к соседу, от родителей к детям и в котором жертва может утонуть не хуже, чем в моховом болоте. Но все ж это было привычно, с этим можно было сжиться, если ступать не в глубину, а идти

по кромке, как вдоль болота. А в ненависти Раисы было чужое, она слепила, как пришедшая с небес молния, и сжиться с этим было нельзя, обойти невозможно. Попадет – испепелит.

Успокоила Ульяна Тоню и решила: больше сюда ни ногой. Хотя поселковые и темны и злобны, но в чем-то правы: гусь свинье не товарищ. Так решила, однако решения своего не исполнила. Слишком уж ее после поселкового однообразия, после домашней бедности и тяжелой работы по мытью вагонов привлекли эти, может как раз всеобщей поселковой нелюбовью сохраненные в первичном своем виде люди, эти тарелки и эта мебель. К тому ж больше подобных разговоров не было. Первый раз прошумело от новизны встречи, от накопившегося с обеих сторон однообразия. Тем более, минут через десять после припадка, вышла Раиса Федоровна умытая, одетая по-иному, хоть и богато, но как одеваются барышни в советских конторах – юбка, жакет, белая блузка с манжетами. Волосы не распущенные, а собраны, заколоты клубком, губы слегка подкрашены, Красивая, хоть и в летах. Видать, и сама чувствует эту свою красоту, женщина всегда свою красоту чувствует. Рассказала, что главный инженер мочально-рогожной фабрики ее сватал, но она отказала, невзирая на то, что мужчина он заметный и на десять лет ее моложе.

– Зачем? За областного начальника или московского тем более, может, и вышла бы ради брата. Однако мы ведь ссыльные. Областной даже и захочет – побоится. А просто так быть наложницей, терпеть возле себя хамский запах, который никакими дорогими духами не заглушишь, – уж извините. Особенно после моего жениха – поляка. У меня в начале двадцатых была в Москве любовь с одним польским художником. Точнее, дипломатом, но и художником. Другом Анатолия. Прочти, Анатолий, стишок, который ты про Збышека сочинил.

Анатолий Федорович, который более молчал, слушая свою властную, обожаемую сестру, подчинился и прочел:

Он был не в меру польский,
Он был не в меру псих.
Он был Збышек Раздольский,
Моей сестры жених.

– Замечательно, – сказала Раиса Федоровна, – и после всего этого с хамом? Мы ведь сюда приехали не совсем добровольно. Точнее, бежали в глушь, опасаясь ареста, после того, как Збышека выслали в Варшаву... И после всего поменять Збышека на хама, – снова повторила она, – вы знаете, какой слух они про меня пустили? Теперь уж забылось, а когда я была помоложе, то многие из них меня хотели... Тут был начальник поселковой милиции Восрухов... Фамилия замечательная, княжеская. Так этот Восрухов меня изнасиловать хотел... Вызвал как будто для проверки паспорта.

– Оставь, Раиса, – умоляюще сказал Анатолий Федорович, – здесь же девочка.

– Ребенок всё равно не понимает, о чем речь... Дай ей конфет... Вон ту коробку. Это московские конфеты фабрики Бабаева, бывшей фабрики Абрикосова. Купцы больше любили от Абрикосова, а аристократия от Эйнема, ныне фабрика «Красный Октябрь»... Теперь ведь всё красное... Зори покрасили, осенний месяц переокрасили... Но чего я всё о конфетах? Чтоб подсластить нашу горечь, что ли? Знаете, какие слухи обо мне этот Восрухов пустил? Будто я живу со своим братом не только как сестра, но и как женщина...

– Умоляю тебя, Раиса, – сказал Анатолий Федорович, – не понимаю, отчего ты сегодня так разговорилась при гостях.

– Потому и разговорилась, что при гостях. У нас ведь гостей не бывает.

– Верно, мы уж засиделись, – заторопилась Ульяна, – меньшого из садика время забирать.

Вышла с Тоней и решила: сама сюда больше не пойду и Тоню не пущу. Однако и сама ходила, и Тоню пускала, поскольку более опасных разговоров не было и время проводилось приятно и полезно. Тоня полюбила книжки с картинками разглядывать, которые ей Анатолий Федо-

рович показывал. И Ульяна этому радовалась: ведь уже большая, через год в школу. А сама Ульяна полюбила слушать, как Раиса Федоровна поет, поскольку тоже была певунья. Петь, правда, при Раисе Федоровне и Анатолии Федоровиче стеснялась, но слушала пение с удовольствием. Пела Раиса Федоровна всегда с надрывом.

Астры осенние, грусти цветы,
Тихо задумчивы ваши кусты.
Тихо качаетесь, грустно склоняетесь,
Осенью поздней к земле.

Когда Раиса Федоровна так пела, то у Ульяны каменило в груди и было жаль чего-то непонятного, о чем раньше не думала никогда.

Сад весь осыпался, всё отцвело,
Листья опавшие в даль разнесло,
Лишь одинокие астры осенние
Ждут не дождутся весны...

4

Выпал и растаял первый снег – это значит, зима уже рядом, хоть валенки надевать еще рано и Тоня по-прежнему ходила в подаренных дядей Толей калошах. «Осенний снежок – не лежок. Выпал да тает. От первого снега до санного пути шесть недель срока». Когда минуло эти шесть недель, когда запуржило, замело в поселке, когда Пижму льдом сковало, совсем уж Ульяна и Тоня привыкли к Мамонтовым и случалось даже с меньшим Давидкой приходили, которого Мамонтовы угощали молоком и медом. И случалось, уж сама Ульяна приходила без детей, поскольку нравилось ей с Анатолием Федоровичем говорить, точнее, слушать его. Говорили о разном, о таком, о котором ранее Ульяна и представления не имела. Но слушала с интересом и удивлялась, как много меж собой связанного в мире, что ни возьми. Растения ли, которыми Анатолий Федорович увлекался, поскольку работал

садовником, мебель ли, которая как будто стоит и молчит – всё тревожит и радует, если взглядеться и вдуматься.

– Меня давно уж волнуют чувства растений, – говорил Анатолий Федорович, – их смерть от холода и жары, их страдания от ранений. Вот бухарник или медуница, медовая трава, – и он показал стоящие на застекленной теплой террасе среди прочих цветов маленькие бледно-лиловые колоски, – они меня узнают, когда я подхожу. Меня они любят, а мою сестру не очень, потому что она слишком уж грубо ломает их стебельки. Я же стараюсь это делать осторожно и всегда с молитвой прошу прощения. Стебельки мне необходимы для настоя, поскольку это хорошее, старое средство при нездоровье легких. У меня легкие давно уж нездоровы и, может, потому больше иных поэтов я люблю Надсона. Я понимаю, Александр Сергеевич Пушкин лучше, а люблю всё равно Семена Яковлевича Надсона. Сейчас он забыт, а в наше время его всё мое чахоточное поколение любило. Как он о себе писал. «Болезнь груди да пламень личного желания»...

И Анатолий Федорович осторожно прикоснулся к руке Ульяны своими холодными пальцами. Прикосновение больных пальцев было неприятно, но Ульяна вытерпела, чтоб не обидеть этого милого человека. Они сидели в странном кресле, двойном, спиной друг к другу. Слышно было, как в соседней комнате Раиса Федоровна брэнчала на гитаре и тихо пела.

Целый день спят ночные цветы,
Но лишь солнце за рошу зайдет...

– Это кресло так и было обозначено в рекламации: «Для более укромного и тайного поцелуя», – сказал Анатолий Федорович. Он блеснул глазами и улыбнулся таинственно. Пенсне по-чеховски висело у него на ухе, на шелковом черном шнурке, – «я тебе ничего не скажу...» – игриво пропел Анатолий Федорович повторяя куплет, который из соседней комнаты пела его сестра, – «я тебе ничего не скажу, я тебя не встревожу ничуть...» Теперь Надсон забыт, а во времена моей юности он был любим-

цем. Он искал успокоения от надвигающихся потрясений на лоне чистого счастья, в мире грез, в мире чистой красоты... «У меня не песни, а намеки» – очень образно сказано... Он сейчас забыт, а тогда его любил Чехов, Бунин считал его своим учителем... Знаете, человек прежде чем сделать решительный выбор, желает не только мыслью, но и сердцем осознать предстоящий ему путь... Вам скучно меня слушать, Ульяна Григорьевна?

– Нет, очень, очень интересно... я и не думала, что возможно так говорить... Но только извините, кресло слишком неудобное... Отчего это спиной надо сидеть один к другому?

– Для большей интимности, – тихо сказал Анатолий Федорович, – впрочем, если вам неудобно, мы можем пересесть в то кресло, тоже сдвоенное, но друг против друга. Оно в рекламации называлось: «Для чинной беседы и покойного обмена рассудительными разговорами».

– Давайте пересядем, – сказала Ульяна, чувствуя беспокойство от прикосновения к ее спине худых лопаток Анатолия Федоровича, – то кресло удобней.

– «Не говорите мне, он умер, он живет, – продекламировал Анатолий Федорович Надсона, когда они пересели, – пусть жертвенник разбит, огонь еще пылает, пусть роза сорвана, она еще цветет, пусть лира сломана, аккорд еще рыдает», – он снова блеснул глазами, потом надел пенсне и тихо пропел вслед за сестрой:

И в больную усталую грудь
Веет влагой ночной, я дрожу,
Я тебя не встревожу ничуть,
Я тебе ничего не скажу...

Приехали мы сюда давно, а вот впервые я так с местным человеком говорю... Помню, поселок был маленький и улица называлась – Брусничная. Потом, к десятилетию Октября, ее в Красных Зорь переименовали... Сколько лет прошло, а вражда вокруг меня и сестры так и осталась. Поэтому я вам благодарен, Ульяна Григорьевна. И

Тоне... Хорошая у вас дочка, берегите ее. Она должна учиться.

– Отчего ж меня благодарить, – сказала Ульяна, – это я вас благодарить должна. Но мне пора, Тоня одна дома управляется.

– Погодите, – умоляюще сказал Анатолий Федорович, – я вам собирался нечто сказать, но вот запамятовал.

– В следующий раз вспомните.

– Нет, Ульяна Григорьевна, в следующий раз я, может, и не решусь... Скажите, Ульяна Григорьевна, – он опять снял пенсне и посмотрел ей в лицо, близоруко щуря голубые, влажные глаза, – Ульяна Григорьевна... Отчего... Нас ненавидят?

Чувствовалось, что он спросил вовсе не то, что хотел, и в последнее мгновение вопрос свой подменил. Ульяна знала, какой это вопрос, она слышала его уже произнесенным: согласитесь ли вы выйти за меня? «Конечно, нет, потому что я люблю Менделя». Но, по счастью, Анатолий Федорович не спросил и она не ответила, по счастью, он вопрос о любви подменил вопросом о ненависти.

– Сестра моя человек с большими нервами, но ведь она права. Выросли новые поколения, а ненависть к нам осталась прежняя. Отчего так?

– Оттого, Анатолий Федорович, что они Надсона не читали.

– Но ведь и вы Надсона не читали?

– Я живу одна, а они живут все скопом. Они и меня не шибко любят, за то, что я не живу вместе с ними, скопом.

Пришла Ульяна после этого разговора домой, покормила детей, управилась по прочим бытовым нуждам, а когда дети заснули, окончательно решила: больше к Мамонтовым не пойду. Тоня пусть ходит, а я не пойду. Анатолий Федорович умный, душевный человек, он поймет, отчего, и не обидится. Жаль, конечно, да что поделаешь.

И действительно, больше не ходила. Тоню посылала, а сама не ходила. Раз увидела на улице Красных Зорь Анатолия Федоровича со спины, так в тупичок торопливо свернула, переждала.

– Раиса Федоровна про тебя спрашивала, – говорит как-то Тоня, – отчего ты не приходишь?

– Скажи – захворала, – отвечает Ульяна, – я туда, дочка, больше не пойду, а отчего, тебе еще не понять, поскольку мала слишком. Ты же ходи, люди они хорошие и хорошему тебя научат. А я папу нашего, Менделя, ждать буду, тем более до весны уже не далеко.

Такой срок сама себе внушила и в него поверила. Однако гораздо ранее весны, под новый, пятьдесят третий год прибывает поздравительная открытка. Глянула Ульяна и затряслась – от Менделя. Что написано, прочесть из-за слез не может, да и буквы от волнения не складываются, а просто прижимает открытку, то к губам, то к сердцу и целует. Как взяла открытку у почтальона, села с ней на лавку, так и не поднялась, пока Тоня с прогулки не пришла.

– Случилось что? – спрашивает Тоня, глянув на мать.

– Папа приезжает, папа Мендель приезжает! – как закричит Ульяна.

А ведь открытку-то так и не прочла. Начали они с Тоней открытку разглядывать. С одной стороны ёлка в золоте и серебре и дед Мороз с подарками среди зайцев. А с другой стороны корявым почерком Менделя написано поздравление жене и детям, а про то, что приедет, – ни слова. Однако Ульяна не унывает: раз вспомнил, написал, значит приедет. Ульяна ответить не могла, поскольку обратный адрес указан не был, однако ждала и, действительно, в феврале – новая открытка: крейсер «Аврора», по углам красные знамена, а с обратной стороны корявым почерком Менделя – «еду» – и прочее, разное – «люблю», «соскучился». Но главное – «еду», а то, что «люблю, соскучился», и без того понятно.

В начале февраля прибыла открытка с крейсером «Авророй», а двадцать шестого февраля, в метельный, морозный день приехал Мендель.

Встречать на станцию на санях поехали Ульяна и Тоня, меньшого Давидку дома закрыли. Сани с лошастью выделил профком мочально-рогожной фабрики, поскольку Ульяна известила о приезде мужа и фабрич-

ные тоже были рады – хороший шофер и первоклассный слесарь возвращается, а людей не хватает. Увидели Ульяна и Тоня Менделя, повисли на нем. Он еще с вагонных ступенек на снег не спустился, а они уже повисли, другим пассажирам мешают выходить.

– Подождите, – смеется Мендель, – давайте дома доцелуемся, а то на морозе друг к другу примерзнем, – потом вдохнул воздух, – ах, – говорит, – ну и вкусный же здесь воздух, как брусника замороженная, со снежком.

Дорога от станции и улица Красных Зорь были в сугробах, лошадь вязла, сани боком шли, и Мендель выскакивал из саней, вместе с возницей лошади помогал. Пуржит, ветер в лицо снегом хлещет, но весело, радостно, и, что б Мендель не сказал, Ульяна и Тоня хохочут. Мендель, кстати, себя шутником считал. Был он мужчина сильный, с большими руками, упитанным квадратным лицом, нос имел широкий и курносый, уши оттопыренные и, если взглядеться, то чем-то Луку Лукича напоминал. Был тяжелодум и каждое слово произносил значительно, так что брат его, Ося, даже дал ему кличку «философ». Однако, в отличие от Луки Лукича, был Мендель добрый и обаятельный, а в сочетании с некоторой туповатостью это создавало характер спокойный, веселый, ласковый. Недаром Ульяна так по мужу тосковала. И Мендель соскучился по жене и детям.

– Как Давидка? – спрашивает, когда к дому подъезжали, – узнает ли меня, признает ли?

– Признает, – отвечает Ульяна, – он тебя тоже ждет, не дождется. Ему уже четыре года, всё понимает.

Когда Мендель вошел в дом, Давидка стоял у окна.

– Давидка, – сказал Мендель и протянул к нему руки.

Давидка повернулся лицом к окну, спиной к отцу. Глаза мальчика наполнились слезами.

– Давидка, – снова, уже с некоторой тревогой, позвал Мендель.

Давидка по-прежнему стоял отвернувшись и молчал. Мендель сам подбежал, схватил сына на руки, поцеловал, и тогда лишь Давидка заплакал громко и сказал.

– Папа, чего ж ты так долго не ехал?

Однако и Давидка вскоре уж смеялся, веселился и вместе с Тоней помогал матери мыть отца. Ульяна крепко натопила печь, постелила у печи солому, поставила на солому деревянную, склепанную обручами бадью, наполнила бадью горячей мыльной водой и поливала сидящего в бадье Менделя из деревянной шайки. Мендель был человек рыжий, и белое тело его всё покрывали веснушки.

Так вернулся Мендель к своей жене и детям, и поселок, как бы ни злословил ранее в его адрес, как бы ранее ни обзывал, но возвращение встретил одобрительно.

– Какой ни есть, а муж законный.

Может, из двух зол выбирали меньшее. Слишком уж разозлила и напугала поселок связь Ульяны с Мамонтовыми. Об этой связи быстро Менделю донесли, и он решительно стал на сторону поселка против Мамонтовых. Наверно, и ревность свою роль сыграла, потому что уж наговорили с полный короб. Пошел Мендель в фабком, на работу устраиваться, идет по улице Красных Зорь, ему с разных сторон.

– Здравствуй, Миша.

– С приездом, Мендель Моисеевич.

Бабушка Савишна Котова встретила.

– Ты, Миша, то... это... Ты молоду жену более без присмотра не оставляй. Тут кобельков хватает... то... это... В черничник не зайдешь, старух лапают, а уж молоду и подавно... то... это, – и рассказала, как Ульяна к Мамонтовым ходила.

– Как, Уля, такое понимать? – спрашивает Мендель.

– Понимай, Миша, как понимается.

– А понимается так, что напрасно я приехал. Прав был мой старший брат Ося, недаром он доцент-историк. Прав был мой брат Ося, который сказал мне: Мендель, ты делаешь роковую ошибку. Права была моя мама, которая сказала мне: на мои похороны не приезжай и за моим гробом не иди, потому, что буду проклинять из гроба.

– Ты, Миша, хотя бы при детях такие слова не говори, – отвечает Ульяна, – ты поселковых не слушай, они и

на тебя знаешь что плели? Мамонтовы люди хорошие, деликатные, ученые, они многому научить могут.

– И чему ж тебя это Мамонтов учил? Приставал к тебе?

– Это здесь, в поселке, да в черничнике пристают и, может, там на родине твоей такие же уличные пристают. Анатолий Федорович имел серьезные намерения насчет меня. Но я ж тебя люблю, Менделёчек мой. Я туда давно уж ходить перестала.

И обняла Менделя, размякла, и размяк Мендель. Однако против Мамонтовых не остыл.

– Пусть Тоня тоже туда не ходит. В поселке говорят, они детям вред могут причинить. Уколы какие-то детям делают.

– Какие еще уколы? Лают это поселковые, а ветер носит. Он Тоне книжки давал с картинками. Ей же скоро в школу.

– Пусть книжки в библиотеке берет. У нас на мочально-рогожной фабрике в клубе библиотека большая. Не ходи туда больше, Тоня.

– Не пойдет она, – соглашается Ульяна, – раз отец запрещает – не пойдет.

Уж очень ей хотелось с мужем поладить. Соскучилась по нему и всё не могла привыкнуть, что муж у нее, как и у всех, и ничего в том особенного нет: живет в доме, ест да пьет, ходит на работу, когда дети заснут, то побалуует с полчаса и спать до утра. Всё ей чего-то особенное в муже своем виделось. А раз виделось, значит и было это особенное. И жить хотелось по-особенному, тем более, деньги в доме завелись, как Мендель на мочально-рогожную фабрику вернулся. За время отсутствия Менделя дом пообносился, пообнищал, надо было сызнова достаток добывать. Мендель работал смену шофером и еще полсмены слесарем. Однако Ульяне велел со своей работы уволиться и более вагоны не мыть.

– Хватит тебе надрываться. Ты лучше дома по хозяйству хлопочи и за ребятами следи.

Трех-четырёх месяцев не минуло – окреп дом, приоделся, отъелся. Ульяна была хозяйка хорошая, стряпуха неплохая. И времена чуть лучше стали, кое-что в продук-

товом появилось, кое-что в промтоварном. Хлеб всегда уж купить можно было, колбасу чайную, с яичками куриными стало полегче и даже с маслом сливочным.

– Давай, – говорит Ульяна Менделю, – вторую свадьбу устроим, поскольку у нас с тобой вторая жизнь началась и должна она быть лучше первой. Тем более, общий достаток увеличился и народ повеселел.

А это были первые месяцы после смерти Сталина, и кое-что еще к лучшему менялось. Дедушка Козлов, к примеру, на Маленкова сильно надеялся, который «в Бога верует православного и для народа православного истинно коммунистическую жизнь собирается устроить».

– Попляшем, – говорит Ульяна, – да попоем, раз такое дело. И выпить можно по такому случаю.

– Согласен, – отвечает Мендель.

И сыграли Ульяна с Менделем вторую свадьбу, собрался народ поселковый, все разодетые, все веселые да певучие. И тетя Вера с дядей Никитой на свадьбу приехали. Ульяна напекла, наварила, насолила, выпивки накупила. Лица у всех красные, как праздничные флаги. Все веселы, один лишь дедушка Козлов от выпивки помрачнел и громко начал какую-то историю рассказывать.

– Он мне кричит: разойдись отсюда! Я ему: ах ты, смердячий рот! За такие вещи, говорю, не в морду бьют, а в висок.

– Ладно тебе, дед, – говорит дядя Никита, – ладно настроение портить... Жизнь пошла веселая, – и запел: «Я другой такой страны не знаю, где так долго дышит человек...»

Дядя Никита если запоет, то обязательно хоть слово, да вставит не то. В спортивном марше пел не «закаляйся, как сталь», а «напрягайся, как сталь». Мендель же умышленно слова коверкал, шутки ради: «Две гитары за стеной жалобно заныли, кто-то свистнул в патефон, милый мой, не ты ли...»

Тут тетя Вера, в свою очередь тоже выпившая, заявляет:

– Подсладить бы...

И сразу несколько догадливых голосов с разных сторон.

– Горько!

Припала Ульяна губами к губам Менделя – не оторвешь.

– Будя, – кричат, – задавишь.

А дедушка Козлов ладони у рта сложил лодочкой.

– Брысь! – кричит.

Отпустила Ульяна Менделя, сняла с гвоздика отцовскую балалаечку, и начался общий свадебный перепляс с припевками. Уж кто как мог, так и плясал, а уж пел, кто в каком голосе. Даже бабушка Саввишна Котова запела, а дедушка Козлов говорит.

– Голосина, как волосина. Так тонка.

Жердочка еловая, досточка сосновая.

По той жердочке никто не хаживал.

Перешел наш Мендель-свет,

Перевел Ульянушку...

Напоминаем, в народных песнях переход по жердочке-досточке через реку всегда означал любовь. Хоть и без песни всем было понятно, что Ульяна да Мендель – это любовь. Поздней ночью, когда уж всё уgomонилось, все разошлись и легли Ульяна с Менделем в лунном полусвете, спросила Ульяна.

– Менделёчек, не боязно тебе, что у меня родинка слева?

– Что ж мне боязно должно быть?

– Старые люди говорят, родинка слева у женщины приносит несчастье мужчине.

– Бабские сказки, – говорит Мендель и целует родинку у левого плеча Ульяны.

Тогда припала Ульяна к Менделю и забылась надолго. Очнулась от детского плача. Давидка плакал, видно, приснилось ему что-то. Плакал уж несколько минут, да Ульяна не слыхала. Вот как любила мужа, даже о детях забывала, точно кроме ее и Менделя на свете пустота.

Однако, люби не люби, а каждый день жить надо. Пошли дни один за другим. На Пижме лед раньше вре-

мени сломало – значит лето будет теплее обычного. И действительно, расцвело раньше. Брусничные кусты вечно зеленые, как хвойные деревья, а черничные меняют листву. Но и они к концу мая зеленью покрылись и уж ягоды начали наливаться. В июле можно было чернику потреблять.

Как-то утром собралась Ульяна печь черничный пирог. Растопила печь, замесила тесто, помяла чернику, когда вдруг в дверь стучат. Мендель был на работе, Давидка в детском садике, Тоня к соседским детям пошла, кто б это? Отпирает дверь – Раиса Федоровна. Сразу в глаза бросилось – на улице жарко, а она вся в черном: туфли черные, платье черное, длинное, шляпка черная. Поздоровалась.

– Извините, – говорит, – я попрощаться пришла и кое-что передать. Меня Анатолий Федорович просил. Вот вазочку Тоне завещал и вот записку написал. Больше ничего не осталось, всю мебель в область забрали. Говорят – в музей.

– А что с Анатолием Федоровичем? – спрашивает Ульяна.

– Умер.

– Умер? – Ульяна от неожиданности и печали рот ладонью прикрыла, помолчала, – когда умер? Я и не слышала.

– Не удивительно. Вы ведь счастливая, а счастливые часов не наблюдают, газет не читают, ничего вокруг не видят. Я знаю, к вам муж вернулся.

– Да, вернулся, – растерянно говорит Ульяна, точно она виновата в своем счастье перед этой женщиной, – вы проходите... Извините, у меня руки в тесте, пирог черничный печь собралась.

Села Раиса Федоровна у стола, вынула из темной сумочки вазочку фарфоровую и на стол поставила, а рядом записку положила.

– Это Тоне, – говорит.

В записке было две строчки нетвердым почерком: «Я тебя люблю. Ты должна учиться».

– Когда это случилось?

– Неделю назад.

– Я и про похороны не слыхала.

– Хоронить буду в Абрамцево, там, где мама, и папа, и Костя похоронены. Добилась. Мертвому выезд разрешили. Так что Анатолий Федорович теперь в дороге на родину. И я уезжаю. Слава Богу, никогда больше не увижу эти места, этих людей.

– А вот Мендель мой соскучился по этим местам, – сказала Ульяна, – я ему предлагала: если хочешь, продадим дом, поедем жить к тебе на Украину. Нет, говорит, мне здесь больше нравится.

Раиса Федоровна сидела у стола сгорбившись, подперев голову тонкими своими аристократическими пальцами.

– В Абрамцево я жить не собираюсь, – сказала она после паузы, – что мне делать? Старого народа давно уж нет, отцовских столяров. Всюду одна и та же рвань, а руководят разжиревшие комбедовцы. Всюду светят красные зори, всюду красная астрология, от которой зависят наши судьбы.

– Где ж вы жить будете? – спросила Ульяна.

– Поеду в Литву, все-таки ближе к Польше, к Европе. Может быть, приму католичество. Мой брат был православный, верил в русского Бога, а мне это азиатское христианство не по душе... У вас муж еврей, я вам завидую. Я б и сама вышла замуж за еврея, за поляка, за литовца, только не за русского. Не люблю русских, ненавижу русских. Народ грубый, злой, а если доброта, то юродивая, – она вдруг закашлялась, может быть, от подступившего к горлу кома ненависти, и кашляла долго, все не могла остановиться. Ульяна налила ей в стакан брусничной настойки. Раиса Федоровна сделала несколько глотков, вытерла губы кружевным платочком. – Я, конечно, на личное счастье больше не надеюсь. Как поется: только раз бывают в жизни встречи, только раз судьбою вьется нить...

Глаза ее были измучены злобой и страданием, а губы дергались, извивались, точно жестокая насмешка и горький плач боролись меж собой и каждый пытался вылепить из этих дрожащих губ свое, но ни того, ни другого не получалось.

Когда Раиса Федоровна ушла, Ульяна долго не могла успокоиться. От этого беспокойства пирог с черникой не получился, подгорел, лопнул, черника вытекла, что еще более Ульяну расстроило. Пришел Мендель с работы, сразу увидал – жена не в духе.

– Что с тобой? – спрашивает.

– Пирог подгорел, – отвечает.

– Не беда, новый спечешь.

Сходила Ульяна за Давидкой в садик, кликнула Тоню – сели обедать. Поели щей, Тоня спрашивает.

– Где же пирог?

– Пирог сгорел, – говорит Мендель, – но ты не расстраивайся, Тоня, я вам с Давидкой в поселковом магазине конфет-тянучек купил, – и дал тянучек. Дети успокоились, а Ульяна все не может, – тебе тоже тянучек дать, – шутит Мендель.

– Возьми, Тоня, Давидку, – говорит Ульяна, – и пройдишь после обеда. Погода, гляди, хорошая.

Ушли дети, и говорит Ульяна.

– Пирог жалко, но не в пироге дело. Тут Раиса Федоровна приходила, сестра Анатолия Федоровича.

Потемнел сразу лицом Мендель.

– Ей что надо здесь?

– Пришла проститься, она уезжает. Анатолий Федорович ведь умер.

– Ну и что, – говорит Мендель, – знаю я, что умер. В поселке слышал.

– Знал и мне не сказал, – говорит Ульяна.

– А что в этом интересного? В поселке говорят – скатертью дорога. Воздух станет чище.

– Нельзя так, Миша, против мертвого. Это был добрый человек. Он вот Тоне вазочку передал и записку.

– Какую еще вазочку и записку? – совсем обозлился Мендель, взял у Ульяны записку и прочел вслух: – «Я тебя люблю. Ты должна учиться». Чего это он чужих детей любит и им советы дает? Своих надо было завести, контрик недорезанный. Эту вазочку вместе с запиской я в Пижму выброшу. Незачем Тоню расстраивать.

– А греха не боишься, Миша? Все-таки воля покойного.

– Ты, я вижу, у меня верующая. Это он тебя религии обучил, бабским сказкам. Ты, я знаю, к нему бегала, – и выразился грязно.

Может, впервые за их жизнь так выразился, и впервые в их жизни был день несчастливый. Даже когда Мендель оставил ее, Ульяна его продолжала любить, а в этот день любить перестала и не любила его до следующего утра. Спать легла отдельно на лавку и всю ночь проворочалась. Понимала, что ревнует, понимала, что насплетничал поселок, понимала, что расстроен письмом от матери, прибывшим накануне, а все не могла простить.

«Мендель, – писала мать, – что ты наделал, куда ты уехал, с кем ты живешь? Ты укорачиваешь мне жизнь, я не сплю ночами, и если б собака сейчас лизнула мое сердце, она бы сдохла».

Первую половину ночи Ульяна злилась на Менделя, а когда начало рассветать, подумала, как бы хорошо поехать на родину к Менделю, познакомиться с матерью Менделя и братом Менделя, Иосифом. Да так удачно съездить, чтоб им понравиться.

Мендель тоже всю ночь ворочался, лежа один в постели, соскучился по Ульяне, еле дождался рассвета, пришел к ней босой, стал на колени и попросил прощения. Ульяна тут же его простила и опять зажили хорошо. А вазочку с вложенной в нее запиской покойника Мендель все-таки в Пижму выбросил. Так никогда Тоня и не узнала про то, что ей Анатолий Федорович завещал. Зато вместо сгоревшего черничного пирога решила Ульяна настряпать пельменей с мясом и луком. Мясо в совхозном поселке раздобыла у знакомого Вере мясника. Специально в совхоз за мясом ездила.

– Можно, конечно, и пельменей с редькой налепить, – говорит Ульяна Вере, – я случается, и с редькой делаю. Натру редьку, с маслом смешаю и леплю. Но мои более с мясом любят. Еще бы сметанки достать.

– Балуешь ты своего, – говорит Вера, – смотри, мужчин баловать нельзя.

– Мой Мендель мужчина особенный. А покушать кто не любит? Помнишь, как семечки вместо хлеба грызли? Теперь, слава Богу, не то. Мендель у матери жил, хорошо питался, и я его питать не хуже буду. Зачем же мне уступить.

Так побыла у сестры, поговорила, мяса достала и назад. По дороге на станцию Лука Лукич встретился.

– Доброго здоровья, – говорит, словно ничего и не случилось, словно не рванула она его за бороду, когда он этой бородой ей в лицо полез целоваться.

– Здравствуйте, Лука Лукич, – отвечает, а потом дорогой, как вспомнит, так смеяться начинает. Однако одновременно думает: о Луке Лукиче надо б Веру предупредить, пусть при Менделе его не упоминает. Мало ли что Мендель себе в голову возьмет.

На следующий день, прямо с утра, взялась за пельмени, поскольку работа это серьезная, если ее с толком делать. Мясо от сухожилий и пленок очистить, фарш приготовить, не пересолить, лук измельчить, потом тесто приготовить на яйцах, раскатать и прочее, и прочее. Полдня провозилась спины не разгибая. Вдруг вспомнила – надо бы к Козловым за посудиной сходить. В кастрюле варить долго и слипнуться могут, а у Козловых специальная низкая широкая посуда для пельменей имелась. Глянула в окно – льет не переставая. Хорошо, хоть Тоня калоши надела. И тут же подумалось – как бы Мендель не узнал, кто Тоне калоши подарил. Может, предупредить Козловых, чтоб не говорили, а может, не надо – зачем напоминать, авось забудется. Так, в мыслях и заботах, накинула Ульяна плащ и, скользя по грязи, побежала в тупичок к Козловым.

– Пельмешки задумала, – говорит дедушка Козлов.

– Задумала, – отвечает Ульяна, – у меня недавно черничный пирог сгорел, не углядела, жалко. Дай, думаю, взамен пельмешек налеплю.

– Черничный пирог – это жалко, – говорит дедушка Козлов, – вкусна черница... Вкусна да дорога. Слышала, в черничнике скелет обнаружили.

– Какой еще скелет? – испугалась Ульяна.

– Человеческий.

– Все б тебе, старому, пугать, – ворчит бабушка Козлова, – может, этот скелет еще с царя Гороха лежит...

– Может, с Гороха и лежит, – говорит дедушка Козлов, – да череп проломлен и истлевшая одежда рядом. Обувь валяется.

Ульяна уж и не рада, что за посудиной пришла. Взяла, да быстро домой. А там Мендель дожидается с детьми. Он с работы зашел в детский сад и Давидку взял. Тоня у соседских ребят была, увидала в окно – отец с Давидкой возвращается, – выбежала.

– Хорошо, что вся семья в сборе, – говорит Ульяна, – сейчас пельмени будут готовы.

Но начала лепить и видит, уж не к обеду поспевает, а к ужину.

– Давайте, – говорит, – я к обеду картошки сварю со шкварками, а пельмени – к ужину. Я их налеплю, они постоят, соку наберутся, еще вкуснее будут.

И действительно, удались пельмени. Съел Мендель алюминиевую миску – еще просит. Съел Давидка блюдо – еще просит.

– Сейчас, мои милые Пейсехманы, – говорит Ульяна, довольная, что пельмени удались, – сейчас вон папе еще полмиски наложу, поскольку он по делу торопится, а потом и вам, как сварятся.

Мендель действительно куда-то после ужина собрался и Ульяну попросил калитку не запирать, поскольку он не надолго. Поел Мендель добавку, полмиски, губы от сметаны отер салфеткой, рыгнул культурно, прикрыв рот ладонью, встал, кепку надел.

– Плащ надень, – кричит вслед Ульяна, – моросит ведь.

Хлестать к тому времени дождь перестал, но моросило.

– Я мигом, – говорит Мендель, – скоро вернусь и еще пельменей поем, если останутся. Вкусны пельмени, – и вышел.

Ульяна отварила пельменей для детей. Те поели. Дала им на сладкое по конфете, а сама принялась варить новые пельмени для Менделя. Пельмени варятся быстро – семь минут и всплывают в подсоленном кипятке, но ведь

и Мендель обещал быстро вернуться. Пельмени всплыли – Мендель не вернулся. Ульяна выловила пельмени и сложила их в миску, а чтоб не остыли, – накрыла другой миской. Поставила чайник, чтоб чайку попить. Чайник вскипел – Мендель не вернулся.

Уже потемнело, точнее, более тускло стало, поскольку на Севере летние вечера светлые. Далеко на станции прогудел паровоз – пришел вечерний поезд из совхозного поселка. Дождь стал опять хлестать, но уж с ветром. От ветра сильно хлопнула форточка, и Давидка испугался, заплакал. Ульяна успокоила Давидку, дала ему еще конфету и, чтоб не сидеть без дела, начала мыть посуду, все поглядывая в тусклое окно, но уже с беспокойством. Надо бы детей уложить спать, однако хотелось дожждаться Менделя, чтоб уложить их со спокойной душой.

– Что-то мне кажется, папы нашего долго нет, – сказала Ульяна.

– Он, может, опять уехал от нас? – спросила Тоня.

– Ты пустое не говори... Куда уехал? Встретил, наверно, кого. Я пойду посмотрю и плащ ему захвачу. Ты, Тоня, гляди, чтоб Давидка чего не натворил. К печи пусть не подходит, и чайник вон горячий. Лучше у стола посидите, пока я с папой вернусь. И не отпирай никому, пока не спросишь, кто и зачем, – сказав так, надела Ульяна плащ, взяла в руки плащ Менделя и ушла.

Сколько просидели дети – не знают. Чайник остыл, пельмени остыли, печь уж холодная, а за окном темнота сгустилась. Начал Давидка на стуле ерзать.

– Ты чего? – сердито говорит Тоня, – не балуй, сиди тихо, пока мама с папой не вернутся.

– Я пипи хочу, – говорит Давидка.

Повела Тоня брата в угол, где горшок стоял, пописял Давидка, и обратно его к столу привела, как мать наказывала. Давидка уж спит на ходу. Сел на стул, ноги поджал, голову свесил и посапывает. Тоня крепилась, крепилась – зажмурится и уплывает. Поплывает так в темноте, в покое, глаза откроет и опять возвращается к столу, за которым они с Давидкой сидят. Последний раз открыла – рассвет уже, солнце за окном, а мамы и папы нет. Давид-

ка на стуле спит калачиком, на столе те же остывшие пельмени, да остывший чайник. Только разволновалась от этого Тоня, загрустила, как в дверь стучат.

«Вернулись,» – обрадовалась, – но спрашивает, как мать наказывала, кто это и зачем?

– Тетя Вера, – отвечают.

Отперла Тоня дверь тете Вере и говорит.

– Наших папы и мамы нет дома. Они еще с вечера ушли, и мы с Давидкой одни.

– Знаю, – отвечает тетя Вера, – бери Давидку, веди его в детский садик и сама там оставайся, так как ваших отца и мать убили.

Тут только заметила Тоня, что лицо у тети Веры красное, распухшее и мокрое. Напугалась Тоня таких слов тети Веры и такого ее лица, под кровать полезла и Давидка вслед за сестрой туда же. Тогда тетя Вера села к столу и стала с громким плачем жадно холодные пельмени есть прямо руками. Съела тетя Вера пельмени, холодным чаем запила, вытащила детей из-под кровати и повела их в детский сад. А по поселку, по улице Красных Зорь, по тупичкам уже несло страшное слово – амнистия. И в разных направлениях, до Свердловска ли, до Муромы ли, по поездкам, по станциям, по городам и поселкам – амнистия, амнистия. Это была ворошиловская амнистия, выпустившая на свободу тысячи матерых «ворошиловских стрелков», действующих, впрочем, в основном холодным оружием.

Горе маленького ребенка или животного не сердечно, не душевно, как у взрослого, оно в глазах. Заплачет, заскулит по мертвому, как по отнятому лакомому кусочку или разбитой игрушке, однако глаза живут самостоятельно и они непередаваемы и непереносимы.

Пока шла Тоня по поселку и вела за руку Давидку, то более ныла, чем плакала, но когда пришли в детский садик, посадили Тоню на стул и подошел к ней седой дядя в очках с иголочкой, то Тоня закричала совсем громко.

– Дурочка, – сказал очкастый, – тебе прививку сделать надобно, поскольку ты теперь будешь жить не в семье, а в коллективе.

Он велел воспитательнице крепко держать Тоню и больно уколол Тонину руку. Впервые в жизни осталась Тоня одна в чужом месте и среди чужих людей. Хорошо, хоть Давидка с ней был и спали они вместе на одной койке, обнявшись. Давидке Тоня сначала говорила, что мама уехала вслед за папой, чтоб его вернуть. Но когда через два дня пришла тетя Вера с дядей Никитой и взяли их на похороны, то уж вынуждена была сказать правду. Да и что говорить, даже четырехлетнему ребенку все стало ясно, когда вынесли из их дома, где теперь хозяйничала тетя Вера, два гроба, один – побольше – Менделя, второй поменьше – Ульяны. Вынесли и понесли их рядом. Впереди шел и играл оркестр мочально-рогожной фабрики, а позади за гробом среди родственников семилетняя Тоня вела за руку четырехлетнего Давидку.

Два момента наиболее страшны в похоронах – когда выносят гроб из дома и когда опускают гроб в могилу. Пока же несут гроб, пока он в пути, то ёсть в этом какое-то последнее праздничное торжество. Похоронная процессия растянулась далеко по улице Красных Зорь, передние уж были на кладбище, а задние всё шли. Почти весь поселок провожал Ульяну с Менделем, поскольку давно уж не было такого зверского убийства, чтоб сразу отца и мать. Весь поселок провожал, но Менделя родных не было, поскольку не знали их адрес и нельзя было известить. В кармане Менделя, правда, обнаружили неотправленное письмо, но оно было так сильно запачкано кровью, что могли разобрать только отдельные фразы и слова, которые, как всякая предсмертная речь, звучали страшно, особенно повторенное три раза: «Чтоб я так жил». Видно, кому-то в чем-то клялся Мендель, а кому клялся и в чем клялся – не разобрали. Ясно было только, что клятву эту Мендель нарушил, не выполнил, выскочив из дома на минутку в тот дождливый вечер. Может, Мендель как раз и выскочил опустить в почтовый ящик это письмо, которое забыл отправить днем. Точно напомнил кто-то: письмо матери забыл отправить. Кто в таких случаях напоминает, тоже ясно – костлявая. Напоминает и дорогу указывает.

В поселке было три почтовых ящика. Один у почты, возле мочально-рогожной фабрики, второй с противоположного конца улицы Красных Зорь, там, где она уже переходит в грунтовку, и третий посредине у пятого тупичка, по которому если пойти, выйдешь к подвесному мосту через Пижму и далее по этому мосту прямо в черничник. Недалеко от этого среднего почтового ящика Менделя и нашли. Кололи Менделя либо неумело, либо с слишком большим остервенением, в два, а то и в три саксона, три мессера, одежда его была залита кровью и потому ее не взяли. Забрали кепку, забрали ботинки, забрали швейцарские ручные часы, подаренные братом Осей. Забрали и новый Менделя плащ, который несла ему Ульяна. Ульяна лежала тут же в кустарнике, изнасилованная и убитая. С нее тоже сняли плащ, забрали туфли и шерстяную кофту.

5

Круглосуточная группа в поселковом детсадики была дошкольной, потому Давидку оставили, а Тоню отправили в область. Перед отъездом пришли с ней проститься дядя Никита и тетя Вера, обнимали, обещали навещать Давидку и писать Тоне письма. Тетя Вера сильно плакала, но когда вышли после прощания и муж ее, Никита, начал в который раз говорить: «Надо бы детей к нам взять, родные ведь», Вера покраснела, нос ее заострился и глаза сами по себе высохли.

– Куда взять? Ты мне пятерых смастерил и Менделя еще двух на меня повесить хочешь. А жить как?

– Ведь дом Ульяны нам достался. Продадим.

– Не дом, а полдома. Полдома и так мне принадлежит по праву наследства.

Уже после отъезда Тони в поселке появился Иосиф, брат Менделя, лысый, с толстым, как у Менделя, носом, но с совершенно иным лицом. У Менделя лицо было глуповатое и доброе, а у Иосифа задумчивое и хитрое. Иосиф привез подарки: Давидке барабан, Тоне куклу в розовом платье, которая закрывала глаза и говорила – «мама». Но поскольку Тони не было, куклу Иосиф пода-

рил Зине, дочери Веры. Иосиф приехал, чтоб забрать Менделя и перевезти его в родной город, на Украину, на еврейское кладбище. Он обратился в поселковый совет, и там ему объяснили: требуется согласие ближайших родственников, родной сестры жены. Сначала Вера согласия не давала, а потом дала. В поселке говорили – Иосиф ей хорошо заплатил.

Так после смерти разлучили все-таки Менделя с Ульяной, и осталась Ульяна лежать одна на поселковом кладбище. Тоня, как и отец ее Мендель, тоже из этих мест уехала далеко и тоже не по своей воле. В области пробыла недолго, и вместе с ребятами-сиротами из других районов отправили ее в город Владивосток поездом, а из Владивостока автобусом в детский дом села Барабаш, Приморского края. Прошла Тоня дезинфекцию, надели на нее кремовое с цветочками, сшитое из кашемировых платков платьице, какое носили в детдоме все девочки, и стала Тоня здесь жить.

Здесьние места были совершенно не похожи на родные, климат морской, весной теплый ветер, летом ветер освежающий, но зимой бешенный, порывистый, штормовой. Снега зимой мало, только кое-где тонким слоем. А деревья росли и знакомые, и незнакомые. Например, весной красиво цвела манчжурская черешня. Пожила Тоня год, и пока еще не прижилась, пока все новым было, то думалось меньше, а больше гляделось. Но как осмотрелась, как привыкла и пошла учиться в школу села Барабаш, вдруг овладела ею сильная тоска по родным местам, а особенно по родителям своим. Придет из школы, сядет у дороги на камень и провожает глазами каждого прохожего или прохожую. Хотела увидеть женщину, хотя бы похожую на ее мать, или мужчину, хотя бы похожего на ее отца. А от того, что изо дня в день прохожие мимо нее шли всё чужие и даже отдаленно ни мать, ни отца не напоминавшие, появилась у Тони какая-то апатия, безразличие ко всему, особенно по утрам, начало ей болеть под ложечкой, сосать что-то, давить. Была она уж в школе и в детдоме на плохом счету, учителей и воспитателей слушала невнимательно, с детьми общалась плохо

и имела кличку – «Матерь Божья курская». Заведующая, Нина Пантелеевна, ей как-то сказала.

– Чего ты сидишь у дороги, как матерь Божья курская? Как икона святая. Прохожие думают, что ты нищенка-попрошайка, и этим ты позоришь звание советской детдомовки.

С тех пор Тоню дети дразнили – матерь Божья курская. Ругала Тоню Нина Пантелеевна так же и за то, что она ногтями себе на лице прыщики расковыривала, сидит и ковыряет, а также выщипывала нитки из белья, простынь порвала. Нина Пантелеевна считалась воспитательницей строгой, но справедливой, детей своих детдомовских любила, говорила им.

– Я мать ваша. Не та мать, что родила, а та, что вырастила, выкормила и на коня посадила.

Часто так повторяла, и ребята соглашались все, кроме Тони, которая однажды застонала, задрожала и крикнула Нине Пантелеевне.

– Вы мне не мать!

За это лишена была Тоня права на «праздник весны», который устраивался каждый год в детдоме к первому прилету птиц. На детдомовской кухне повариха пекла из теста «жаворонков». Каждому доставался такой «жаворонок». Дети привязывали сладких «жаворонков» к шестам, бегали с ними по улицам и кричали, как им велела Нина Пантелеевна.

– Жаворонки прилетели! Весна, весна пришла!

Потом они этих жаворонков съедали. А наказанная Тоня сидела запертой в тесной кладовой среди грязного белья и, слушая веселые крики с улицы, вспоминала, как шли они с мамой и Давидкой по шпалам в совхоз к тете Вере и вокруг по обе стороны был лес, а в небе тихо высоко летали жаворонки.

– Ой вы жаворонки-жавороночки, – вспомнилось Тоне, – летите в поле, несите здоровье, первое – коровье, второе – овечье, третье – человечье.

– Нина Пантелеевна, – крикнула Лида Неизвестных, круглолицая, розовощекая отличница, наушница и любимица заведующей, – а матерь Божья курская в кладовке молится.

Нина Пантелеевна отперла кладовку и сказала окружавшей ее веселой, разгоряченной игрой в «жаворонки» детворе, указывая на сидящую в уголке Тоню.

– Смотрите, дети, она ждет не прилета птиц, а прилета ангелов.

Ребята смеялись, кричали.

– Матьер Божья курская, вот ангелочек полетел.

– Пойдемте, ребята, песни петь, – сказала Нина Пантелеевна, – а ей пусть ангелы песни поют, – и опять закрыла Тоню в кладовке.

С тех пор начала Тоня думать не только про свою мать Ульяну и отца Менделя, но и про ангелов. Ангелы казались ей похожими на серых певчих дроздов. Много дроздов летает на улице Красных Зорь в конце теплого лета, когда поспеет черная рябина, отчего их прозывают рябиновики. Подлетит, усядется на дерево повыше и осматривается, нет ли кого в огороде, потом вниз пикирует через частокол, начинает сладкую рябину клевать. Бабушка Козлова, или бабушка Саввишна Котова, или иная бабушка выскочит, в ладоши хлопает, пугает дрозда, ругает его, стыдит, а он уже поел свое, уже насладился. Хорошо в родных местах. Жаль, писем Тоня не получала, тетя Вера написала одно письмо, а Давидка писать не умел. Но приснилось Тоне, что она опять на улице Красных Зорь. Хоть мать ее и отец по-прежнему мертвые, даже и во сне, зато вокруг множество знакомых с детства людей и летают ангелы, которых Тоня кормит из рук черной сладкой рябиной. Приснился такой сон Тоне, и затосковала она пуще прежнего.

Однажды пришел в детдом некто Машков. Он хотел взять на воспитание мальчика, но Тоня подбежала к нему с криком.

– Папочка, папочка, ты пришел за мной!

Машков совсем не был похож на Менделя, однако слишком уж было Тоне в детдоме плохо и одиноко. Машков разволновался, взял Тоню на руки, поцеловал ее и оформил у Нины Пантелеевны, забрал с собой. Повез он Тоню во Владивосток.

Владивосток, город с гористыми крутыми улицами, а если смотреть из окна вечером, то огней масса, словно

звезд на небе. Одни неподвижны, другие ползут на гору либо с горы, дрожат, третьи плывут в разных направлениях, искрятся.

– Это бухта Золотой Рог, – объяснил Тоне Машков, – это катера и буксиры. А вон, гляди – теплоход.

Во тьме плыла гора разноцветных искристых огней, которая, словно таяла, как льдина, растекаясь в разные стороны по темным волнам. Как жаль, что папа Мендель и мама Ульяна этого не видят, а брат Давидка далеко на улице Красных Зорь. Тоня любила стоять у окна, упершись в стекло лбом, и смотреть. Но новая мама Тони, Светлана Машкова, стоять долго не разрешала и отправляла спать. Спала Тоня в мягкой хорошей постели в отдельной комнате. Квартира у Машковых была большая с белым роялем, на котором Светлана Машкова играла скучную музыку. Новая Тонина мама еще меньше, чем Машков на Менделя, похожа была на маму Ульяну. Это была черноволосая, гладко причесанная женщина маленького роста с зелеными камушками в ушах. Мама Светлана учила Тоню правильно держать нож и вилку во время еды и учила, что с чем когда едят.

– К рыбе какая подливочка? – спрашивала мама Светлана.

– Беленькая, – отвечала Тоня.

– А к мясу?

– Красненькая, – отвечала Тоня.

Хоть Тоня по-прежнему тосковала, но было ей здесь лучше, чем в детдоме. Однако через месяц Машков вновь отвез Тоню в село Барабаш и сдал в детдом. Видно, не понравилась. Уехал не попрощавшись, и Тоня его быстро забыла. Из всей жизни у Машковых запомнилось: к мясу подливочка красненькая, – к рыбе подливочка беленькая. Нина Пантелеевна встретила Тоню с досадой, думала, избавилась от дурной овцы. А дети кричали.

– Матерь Божья курская вернулась, – и весело пели ей вслед, –

Уродилась я на свет горькая сиротка,

Родила меня не мать, а чужая тетка.

Зато к дороге, у которой сидеть любила, пошла Тоня как к знакомому месту, и камень, на котором сидеть

любила, тоже родным показался. Когда сидела теперь Тоня у дороги, то смотрела не только на прохожих, но и в небо – не летят ли ангелы.

Холодало, задули с моря ледяные ветры, собрались птицы в большие стаи и улетели к другой далекой весне и другому далекому лету. Стало пусто в белом небе да и на земле озябшие прохожие старались быстрее промелькнуть мимо Тони по сначала мокрой, а затем скользкой дороге. И все-таки приходила Тоня, смотрела и ждала: может, просто из упрямства, а может, уже догадывалась, что стаи ангелов всегда летят навстречу птицам, от весны и лета к осени, от осени к зиме. Не туда, где радость и пение, а туда, где вера и терпение.

Минуют необъятные российские годы, пройдут бесконечные российские дни и опять наступит тот дождливый вечер с пельменями, который переломил Тонину жизнь у самого корня. Но на сей раз вечер перейдет не в ночь, а сразу в рассвет, станут блекнуть земные зори, как блекнут горящие свечи, освещенные сильным заревом, и услышит Тоня чистый, заоблачный голос, как бы единый голос Ульяны и Менделя.

- Прийди, ближняя моя, прийди, голубица моя.
- Тогда ответит Антонина радостно.
- Готово сердце мое, Боже, готово.

Апрель-май 1985 года
Западный Берлин



Петр ВАЙЛЬ, Александр ГЕНИС

Строительство утопии

Из книги «60-е»

В любой толпе, в любом городе, на любом континенте мы легко узнаем советского человека. Будь это приезжий из Москвы или эмигрант с десятилетним стажем – человек, рожденный и воспитанный в советском обществе, несет на себе отпечаток своего происхождения. Нас всегда интересовал этот странный феномен, и мы решили разобраться, что делает советского человека особенным.

Кажется естественным искать ответ на этот вопрос в Октябрьской революции 1917 года, которая разделила мир на две принципиально противоположные системы. С тех пор, как в России отменили частную собственность и провозгласили равенство, братство и счастье, история России вступила в новую эру и стала историей Советского Союза.

С 1917 года началась борьба за осуществление лозунгов. Страна последовательно воевала с контрреволюцией, интервентами, разрухой, крестьянством, интеллигенцией, фашистами, космополитами. Закончился этот героический этап борьбой со Сталиным. XX съезд в 1956 году, разоблачив «культ личности», как бы завершил борьбу с прошлым. Началась борьба с сегодняшним днем за день завтрашний.

Социализм представлялся фундаментом утопии. Как Китайская стена, он строился в крови, грязи, мучениях. Но теперь, опираясь на него, нужно было окрылить

народ мечтой, которая искупит все ошибки социализма и наконец воплотит в жизнь идеалы революции.

В 1961 году XXII съезд партии внятно и четко назвал эту мечту – коммунизм. Советский Союз вступил в эпоху позитивную, когда строилось больше, чем разрушалось.

Нам кажется, что именно в 60-е годы советский строй реализовал все свои потенции. Именно тогда он показал все, на что способен. Именно в 60-е годы специфика советского сознания сформулировалась в самом полном, самом ярком выражении. Но именно тогда и закончился этот феерический этап. Общество переродилось, не успев произвести ничего вечного.

Если в начале 60-х страна строила утопию, то в конце 60-х она строила только самое себя. Если в начале этой эпохи СССР погрузился в создание всемирного коммунистического рая, то в конце его Советский Союз вернулся к строительству империи.

С нашей точки зрения, 60-е начались в 1961 году XXII-м съездом КПСС и закончились в 1968-м танками в Праге. Восемь лет, заключенные в эти несколько условные рамки, были живописными, характерными и значительными. Тогда образовалась особая культура 60-х, которая противоречивым образом вместила в себя тенденции советского прошлого и советского будущего. Это была пора открытий – космоса, романтики, гражданского сопротивления, Запада. И в эти же годы в стране прорастали традиционные ценности – религия, славянские древности, патриотизм.

Ни до 60-х, ни после них советский образ жизни не был таким ярким и четким. И никогда он не был так доступен наблюдению, как в эту бурную открытую эпоху столкновения нового и старого.

В книге «60-е», над которой мы сейчас работаем, нам хочется рассказать не историю этого периода – это сделали политики, ученые, мемуаристы. Мы пытаемся восстановить уникальную атмосферу тех лет. Пытаемся понять, какими идеями жила страна, какие идеалы стояли перед ней и какие пути вели к их осуществлению. Нравы, образ жизни, символы эпохи – вот что интересует нас в первую очередь. В книге должны быть аналитические

главы, беседы с «шестидесятниками», иллюстрации, коллаж фактов и мифов будничного потока тогдашней реальности.

Конечно, наше отношение к истории – субъективно. Может быть, 60-м особую важность придают ностальгические воспоминания поколения: в юности все кажется самым главным. Что ж, история заблуждений – тоже часть общей истории страны, которая называется родиной.

* *
*

Фрагмент, который мы назвали «Строительство утопии», должен открывать книгу.

Итак, год тысяча девятьсот шестьдесят первый...

Нью-Йорк, 1985 г.

1. 20-й г. до н. э. Программа КПСС

Эра коммунизма началась в Советском Союзе 30 июля 1961 года. Можно сказать, что этот день следует считать датой построения коммунистического общества в одной, отдельно взятой стране – СССР.

Хотя проект новой, третьей, Программы КПСС был принят Пленумом ЦК в июне, в газеты текст попал 30 июля.

Это было воскресенье. В «Современнике», который в ту пору именовался еще «театром-студией», шло «Третье желание», в Зеркальном театре сада «Эрмитаж» – легкомысленная «Девушка с веснушками». На вечер телевидение запланировало всенародный праздник – матч московских команд «Спартак» и «Динамо». Хотя их монополию уже нарушили торпедовцы, а в нынешнем сезоне к чемпионству резво шли киевляне, старая гвардия бурно волновала умы. Гагарин, распрощавшись с Фиделем, летел в Бразилию и по пути в этот день был с восторгом принят населением голландской колонии Кюрасао. Госполитиздат закончил выпуск 22-го тома Полного

собрания сочинений Владимира Ильича Ленина со статьями о ликвидаторах, отзовистах и примиренцах. Никита Сергеевич Хрущев не давал себе передышки: «В шесть часов утра, когда солнце только поднималось над степью, Н. С. Хрущев уже подъезжал к селу Екатериновка»¹, где дорогого гостя ждал председатель колхоза по фамилии Могильченко.

Любое из этих событий привлекало внимание неслетного множества людей в такой большой стране, как Советский Союз, и все события поблекли перед главным – текстом проекта Программы КПСС. Потому что в жизнь каждого советского человека вторглась поэзия, призванная изменить жизнь всей необъятной страны.

Новая Программа КПСС обещала построение коммунизма – и эта задача, собственно говоря, уже была выполнена – самим произнесением сакральных слов: «Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!» Строительство утопии – и есть воплощение утопии, так как все, что для этого нужно – наличие цели и вера. Как истинного христианина вовсе не волновала реальность существования Царства Божия на земле, так и строитель коммунистического общества автоматически становится его членом.

Такое прочтение проекта Программы КПСС – а другого и не предполагалось – возможно только при подходе к его тексту как к художественному произведению. Никому не приходит в голову требовать от поэмы или романа воплощения в жизни, и сопереживать Анне Карениной вполне можно без раздавленного трупa на рельсах. Тем не менее, книга Толстого учит терпимости и добру эффективнее уложений о семейном праве. В этом великая разница между проповедью и инструкцией. Инструкцию должно выполнять, проповеди достаточно внимать.

Проповедь о добре, благополучии и красоте жизни, – каковой являлась новая Программа, – немедленно и справедливо наводила на сравнения с утопиями прошлого. Характерно, что обсуждение Программы в советской периодике практически не обходилось без этого слова – «утопия», – хотя оно прежде носило явно негативный оттенок. Теперь и слово, и само понятие были реабилити-

рованы: то, что раньше обозначало «несбыточную мечту», оставило за собой только значение «изображения идеального общественного строя». Занятно, что реже всего упоминалась аналогия с алюминиевым царством Чернышевского, хотя он-то был ближе всех по национальности и революционности. Может быть, дело в том, что роман «Что делать?» проходили в школе, и контуры коммунизма могли быть низведены до слишком известного образца. Зато всю мелькали имена Томаса Мора и Кампанеллы. В особой чести был итальянец: ведь это он, впервые в истории, трактовал труд как дело чести и насущную потребность человека. Он же предлагал применять к лентяям не только убеждение, но и принуждение («кто не работает – тот не ест»). А герб Советского Союза был уже описан в «Утопии» Мора: серп, молот, колосья.

В качестве новой утопии Программа КПСС была универсальной, учитывая самым буквальным образом мысли и чаяния всех членов советского общества. Потребность в таком универсальном инструменте назрела с полной очевидностью.

Всегда перед страной стояли конкретные и внятные задачи: победить внешних врагов, победить внутренних врагов, создать индустрию, ликвидировать безграмотность, провести коллективизацию. Все это сводилось к общей идее построения социализма, вскоре после чего началась великая война – сама по себе мощный импульс созидания через разрушение. Советский народ всегда что-то строил, попутно что-то разрушая: буржуазное искусство, попутчиков, кулачество как класс. Разруха войны с последующим разрушением врага стала таким мощным созидательным импульсом, что не вторглись в Россию Германия, повод к войне следовало бы изыскать Советскому Союзу. XX съезд отнял у людей идеалы, не дав ничего взамен, – маячил призрак великой смуты: священное имя Сталина, «вождя и вдохновителя всех наших побед», было дискредитировано. Страна пребывала в неясном томлении – без опоры, без веры, без цели. Со страной поступили нечестно, сказав, как *не надо*, а как *надо* – не сказав.

Вообще-то говоря, смутно каждый догадывался, как следует жить. Но, как растерявшийся у доски школьник тянется к учителю, приходящему на помощь: «Ведь ты хотел сказать так...», так страна откликнулась на сформулированные и оттиснутые типографским способом свои собственные мысли.

В самом прямом, конкретном смысле в конкретные цифры Программы никто не поверил. Но этого и не требовалось – по законам функционирования художественного текста. Но зато каждый нашел в Программе желаемое для себя. О чем же говорила Программа?

Целью она провозглашала строительство коммунизма – то есть общества, смыслом которого является творческое преобразование мира. Многозначность этой цели только неизмеримо увеличивала ее привлекательность. Творческое преобразование мира – это было всё: научный поиск, вдохновение художника, тихие радости мыслителя, рекордная горячка спортсмена, рискованный эксперимент исследователя.

При этом, духовные силы человека направлены вовне – на окружающий мир, неотъемлемой частью которого он является. И в качестве таковой субстанции человек не может быть счастлив, когда несчастливы другие.

Знакомые по романам утопистов и политинформациям идеи обретали реальность, когда любой желающий принимался за трактовку путей к такой светлой цели.

Художники-модернисты усмотрели в параграфах Программы разрешение свободы творчества. Академисты и консерваторы – отвержение антигуманистических тенденций в искусстве. Молодые прозаики взяли на вооружение пристальное внимание к духовному миру человека. Столпы соцреализма – укрепление незыблемых догм. Перед любителями рок-н-ролла открывались государственные границы. Перед приверженцами «Камаринской» – бездны патриотизма. Руководители нового типа находили в Программе простор для личной инициативы. Сталинские директора – призывы к усилению дисциплины. Аграрии-западники разглядели зарю интенсивного землепользования. Колхозные мракобесы – дальнейшее обобществление земли. Прогрессивное офицер-

ство опиралось на грядущую модернизацию военной техники. Жуковские бонапартисты – на упомянутых в Программе сержантов.

И все хотели перегнуть Америку по мясу, молоку и абстрактному искусству на душу населения: «Держись, корова, из штата Айова!»

Программа, с мастерством опытного проповедника, коснулась заветных струн в каждой душе. Против предложенных ею задач нельзя было ничего иметь в принципе. Три цели, намеченные Программой, не могли не устраивать: построение материально-технической базы, создание новых производственных отношений, воспитание нового человека.

Первая задача обеспечивала благополучие без отвратительного, разлагающего призрака стяжательства. Неприглядный облик погрязшего в плюшевых абажурах мещанина не нравился никому. Отрицание частной собственности превратилось из лозунга в категорический императив, и всем было ясно, что в правильном обществе правильные люди должны располагаться под светом торшеров изящного – даже не рисунка, а неведомого пока дизайна. Мещанство с абажуром было прошлым, торшер и нестяжательство – будущим.

Новые производственные отношения предусматривали ответственность за конечный результат труда, и когда передовой сварщик хвастался американскому журналисту: «Это моя ГЭС!», он не лицемерил и не занимался пропагандой. Современный характер производства – коллективный – предполагал только два пути: бездумный конвейер либо принцип соучастия. И жизнь советского человека, в которой труд не отделялся от быта, давала однозначный ответ. Поэтому сварщик понимал то, что было невдомек американскому журналисту: только при таком характере труда возможно построение этой самой материально-технической базы.

Общий труд, сама идея общего дела были немыслимы без искренности отношений человека с человеком. Это было ключевым словом эпохи – «искренность». После разоблачений многолетних обманов, после унижительной веры в чудовищную ложь болезненно хотелось

правды. И правда эта становилась болезненной. Моральный кодекс строителя коммунизма – советский аналог Моисеевых заповедей и Нагорной проповеди Христа – был призван выполнить третью главную задачу – воспитание нового человека. В этой библейской аналогии – тексту Программы стилистически ближе суровость ветхозаветных заповедей. В 12 тезисах Морального кодекса дважды фигурирует слово «нетерпимость» и дважды – «непримиримость». Будто казалось мало одного призыва к честности (пункт 7), добросовестному труду (2), коллективизму (5); ко всему этому требовалась еще борьба с проявлениями противоположных тенденций (пункт 9)². Искренность обязана была быть агрессивной, начисто отрицая принцип невмешательства, – что абсолютно логично при общем характере труда и всей жизни в целом. В идеале нужно было не только сказать красивой женщине, что она прекрасна – вдохновляя ее, но и заявить некрасивой, что она уродлива – в целях исправления недостатков. Впрочем, искренность сама по себе, без всякой утилитарной пользы, была счастьем – как единственно верный путь к главной правде.

Так воспринималась и вся Программа в целом – как путь, а не как конечный результат. Какая, в принципе, была разница – в три с половиной или в четыре раза мы превзойдем в чем-то там Америку, если уже сейчас в руках был инструмент, оружие, с которым можно было вести борьбу. За что? За все! В освобожденной от тирании и лжи стране все было захватывающе интересным. Все было молодым и новым – цели, методы, дистанции, масштабы.

И в том, что Программа обещала построение коммунизма через 20 лет, было знамение эпохи – пусть утопия, пусть волюнтаризм, пусть беспочвенная фантазия. Ведь все стало иным – и шкала времени тоже.

В этой новой системе счисления время сгущалось физически ощутимо. На дворе стоял не 1961 год, а 20-й до н. э. Всего 20-й – так, что каждый вполне отчетливо мог представить себе эту «н. э.» и уже сейчас поинтересоваться: «Какое, милые, у нас тысячелетье на дворе?»

Изменение масштабов и пропорций было подготовлено заранее. С 1 января вступила в действие денежная реформа, в 10 раз укрупнившая рубль. 12 апреля выше всех людей в мировой истории взлетел Юрий Гагарин, за полтора часа обогнувший земной шар, что тоже оказывалось быстрее предыдущих достижений во много раз. В сознании утверждалось ощущение новых пространственно-временных отношений.

Действительность, в соответствии с эстетикой соцреализма, уверенно опережала вымысел. Иван Ефремов, опубликовавший за четыре года до Программы свою «Туманность Андромеды», объяснял: «Сначала мне казалось, что гигантские преобразования планеты и жизни, описанные в романе, не могут быть осуществлены ранее, чем через три тысячи лет... При доработке романа я сократил намеченный срок на тысячелетие»³. В этом лепете существен порядок цифр. Про тысячелетия все знали и без Ефремова – то, что когда-то человечество придет к Городу Солнца, алюминиевым дворцам, Эре Великого Кольца. Потрясающим в партийной утопии был срок – 20 лет.

С точки зрения волевой математики, партия вела себя безукоризненно. Партия знала, какой результат следует получить, и соответственно изменяла значение сомножителей – пространства и времени. Если бы коммунизм следовало построить, скажем, в отдельно взятом Краснодарском крае, то к этой цели надо было бы идти не торопясь, постепенно. Но территориальный охват, ограниченный лишь размерами Земного шара, требовалось уравновесить сжатыми сроками – чтобы получить все тот же результат: коммунизм, счастье человечества.

Во «Введении» новой Программы указано, о каких пространственных границах идет речь: «Партия рассматривает коммунистическое строительство как великую интернациональную задачу, отвечающую интересам всего человечества»⁴. Именно так – всего человечества.

Что касается временных пределов, они были четко указаны в последней фразе Программы: «Партия торжественно провозглашает: нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!»⁵

Эти слова тут же украсили повседневную жизнь народа. «Нынешнее поколение» – это было ясно каждому. Это когда подрастут внуки. Когда женится сын. Когда станешь взрослым.

Публицист Шатров нарисовал реалистическую картинку обсуждения проекта Программы:

«Весть о высшем счастье человека стучится во все двери. Желанной и дорогой гостьей она входит в каждый дом.

– Читали?

– Слышали?

– Мы будем жить при коммунизме!»⁶

Идиотизм сценки довольно точно передает ощущение мозгового сдвига, возникающего при чтении Программы. Надо отдавать себе отчет в том, что никто и не заблуждался насчет построения коммунизма в 20 лет. Самый железобетонный партиец мог выглянуть в окно и убедиться в том, что пока все на месте: булыжная мостовая, очередь за кофточками, алкаши у пивной. И самый цельнолитой ортодокс понимал, что пейзаж не изменится радикально за два десятилетия.

Но Программа и не была рассчитана на выглядывание из окна и вообще на соотнесение теории с практикой. В ней отсутствует научная система изложения, предполагающая вслед за построением теории стадию эксперимента. Текст Программы наукообразен – и только. При этом философские, политические, социологические термины и тезисы с поэтической прихотливостью переплетаются, образуя художественное единство. Сюжет Программы построен, как в криминальном романе, когда автор ловко обиняком называет разные признаки искомого персонажа – так, что читатель к концу книги и сам уже понимает, кто есть кто, но все же вздрагивает на последнем абзаце, в сладостном восторге убеждаясь в правильности своей догадки.

«– Читали?

– Слышали?

– Мы будем жить при коммунизме!»

Положения Программы не доказывались, а показывались, апеллируя скорее к эмоциям, чем к разуму. Ко-

гда-то Каутский грустил о временах, «когда каждый социалист был поэтом и каждый поэт – социалистом»⁷. Эти времена диалектически возрождались на глазах поколения 60-х. Программа партии была безнадежно неубедительна логически, но доказывала верность обозначенной цели и выбранного пути самим своим появлением. (Таковыми противоречиями полна жизнь: так, например, любой тезис о гибели культуры неизбежно работает против себя – и чем убедительнее, тем сильнее противоречит сам себе. Так, например, реквием Германа Гессе по европейской духовности есть одновременно ее жизнеутверждающий гимн и импульс к совершенствованию.)

Сам факт существования Программы – при всей очевидной, содержащейся в ней, ахинее – опровергал эту ахинею. Цифры Программы не соответствовали здравому смыслу, но вполне укладывались в законы того волевого счисления, по которому коммунизм во вселенском масштабе было можно и нужно построить быстрее, чем в какой-нибудь отдельно взятой Тамбовской области. Программа была поэтической абстракцией, но когда-то поэтической абстракцией воспринимались геометрия Лобачевского и физика Эйнштейна.

Характерно, что самые впечатляющие положения Программы были отнюдь не самыми важными. Все говорили в основном о том, что будет бесплатный транспорт, бесплатные коммунальные услуги, бесплатные заводские столовые⁸. Можно, конечно, отнести такой пристальный интерес к мелким параграфам на счет низменной природы человека. Но дело, видимо, именно в прочтении Программы как художественного текста, в котором конкретные и внятные детали берут на себя функцию пересказа. Трудно пересказать своими словами лирическое стихотворение или дальнейшее развитие принципов социалистической демократии. Но вот с приключенческим рассказом или бесплатным проездом в автобусе это сделать куда проще.

Так же и в Моральном кодексе запавшие в душу советского человека заповеди, которые чаще всего повторяются и пишутся на заборах, – это вовсе не самые

главные тезисы. Это те, которые выражены афористически:

- кто не работает, тот не ест;
- каждый за всех, все за одного;
- человек человеку – друг, товарищ и брат⁹.

Эти кристаллы внятности вычленились из жвачной массы неудобоваримых формул, вроде «забота каждого о сохранении и умножении общественного достояния», которые не только трудно, но и не хочется запоминать. Правда, нельзя сказать, что афоризмы Морального кодекса тут же перешли в практику. Но, укрепившись в сознании и памяти, они сослужили и еще долго будут служить необходимому нравственному императиву. Так, прочитав стихи «Мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы», никто не мчится возлагать себя на алтарь родины. Но общей патриотической тенденции легкие пушкинские строчки служат куда эффективнее, чем не менее патриотичные, но тяжеловесные оды Державина.

Разумеется, Программу КПСС читали многие. Но о восприятии ее следует говорить, имея в виду пересказ текста – то есть то, что осталось в сознании после бесконечного бормотания по радио и телевидению, заклинаний в лозунгах и газетах. Подобно тому, как литературное произведение может стать основой направления в литературе, но не в ботанике или тригонометрии, – так и Программа допускала только поэтические, вольные трактовки. Конечно же, вышли в свет тысячи всяких научных трудов, трактующих Программу, но это фактор, который имеет отношение к пропаганде или карьере. Другое дело – сфера воображения.

Поэт Долматовский вопрошал:

Великая Программа, дай ответ,
Что будет с нами через двадцать лет?¹⁰

Вопрос идиотский только на первый взгляд: вроде бы как раз про это в самой Программе и написано. Но в том-то и дело, что по сути ее текст предназначен не для буквального восприятия, а именно для трактовки, пересказа про себя и вслух, переосмысления, полета фантазии.

Лирик мечтал о том, что «все лучшее в эпохах прошлых в дорогу заберем с собой». Он складывал в романтический рюкзак «и Моцарта, и Маркса, и стынть есенинских берез»¹¹, отдавая дань интернационализму, ортодоксии и почвенничеству.

Человек попроще размышлял о свободном столике в ресторане и отдельной квартире: «Нигде не скажут „нет мест“. Задумал жениться – мать не спросит с удрученным видом: „А где жить-то будете?“»¹²

Прямое воплощение идеалов 17-го года виделось неисправимому комсомольцу: «Глаза Программы смотрят нам в глаза, в них – нашей революции метели»¹³.

В представлении сатирика мечты о совершенном обществе причудливо, но гармонично сочетались с тревогой о будущем своей профессии: «При коммунизме человека общественные суды будут приговаривать к фельетону!»¹⁴

Поэтическая энциклопедия тем и прекрасна, что каждый находит в ней свое, как Белинский находил, что ему было нужно, в «Евгении Онегине».

Заботы сатириков, кстати, были самыми показательными. В общем-то предполагалось, что недостатки должны изживаться с нечеловеческой быстротой – то есть со скоростью, соответствующей новой шкале времени. Сатирики сбились с ног в поисках персонажей для фельетонов будущего. После долгих дебатов в качестве резерва духовного роста остались грубияны, равнодушные, эгоисты. Остальных следовало забыть на перроне, когда государственный поезд отправится в коммунизм. Это буквально и изображалось: перрон, а на нем пестрый стилига, синеносый алкоголик, толстая спекулянтка, прыщавый тунеядец. Все они задумчиво смотрели на отходящий состав с молодцеватыми пассажирами. Поезд уходил туда, где царствовали нестяжательство, коллективизм, искренность. В новую Утопию.

Все эти утопические события начались в день 30 июля 1961 года, когда страна прочла проект Программы КПСС. Собственно говоря, этим построение коммунистического общества и закончилось – то есть его построил каждый для себя, в меру своего понимания и потребностей. Во

всяком случае, страна так или иначе применила Программу для насущных потребностей. Что же до практического выполнения указанных задач, то о подобных утопиях вполне определенно высказался тот, с чьим именем и под чьим руководством эту утопию предстояло созидать – Ленин.

Жизнь подсовывает художественные детали в неприличном обилии – тем она и прекрасна. 30 июля 1961 года в том же номере «Правды», где был напечатан текст Программы КПСС, нашлось место сообщению о выходе в свет очередного, 22-го тома Полного собрания сочинений В. И. Ленина. Именно в этом томе содержатся слова вождя:

«Утопия... есть такого рода пожелание, которое осуществить никак нельзя, ни теперь, ни впоследствии...»¹⁵

Совпадение, конечно, символическое. Но никто настоящему и не надеялся Программу КПСС осуществить – «ни теперь, ни впоследствии». Сам процесс, который именовался (ортодоксально или иронически) строительством будущего, творил небывалый в мировой истории феномен – советского человека.

2. Путем пирамиды. Космос

Завоевание космоса стало попыткой возрождения забытых идеалов.

Российское средневековье, продолжавшееся дольше, чем в любой европейской стране, и протянувшееся до ХУІІІ, а во многом и до ХІХ века, оставило в народной памяти неизгладимый образ соборности. Когда-то, в баснословные времена, важнейшие государственные задачи решались не волею монархов и полководцев, а всем миром. Ушедшее коллективное сознание основывалось на двух главных символах: войне и храме. Так, впрочем, было во всей Европе, не только в России. Ремесленник и крестьянин знал, – пусть даже не был в состоянии сформулировать это для себя, – что в нужный час он подберет по руке секиру или рогатину и включится в передел окружающего мира. Так же полуосознанно, но

безусловно он относил свою заработанную копейку, чтобы когда-то потом, может быть через поколения, над его фамильным кровом возвысился Храм. По сути каждый возделывал свой сад, опуская в землю семя с твердой решимостью не увидеть ни плодов, ни самого дерева.

Идея народной войны была мощной движущей силой и для рати Александра Невского на Чудском озере, и для войска на Куликовом поле, и для ополчения Минина и Пожарского, и для партизан 1812 года. И в новой России XX века священная народная война стала не просто образом в песне Александрова, но важнейшим аргументом в борьбе до победного конца.

С храмом дело обстоит хуже. Старые храмы были упразднены вместе с признанной устаревшей верой. Если и была легкая иллюзия, что их смогут заменить новые партийные сооружения (в идеале – из стекла и алюминия, по Чернышевскому), то она стремительно исчезла: ввиду утилитарности решаемых в этих учреждениях задач. Более того, обилие человеческих жертвоприношений наводило скорее на сравнения с языческим капищем.

Со старыми храмами поступали по-разному. Наиболее пылкие и идеалистически настроенные революционеры неразумно рушили церкви – не зная, видимо, истории и не понимая, что активно творят мученические образы. Более практичные и трезвые превращали храмы в картофелехранилища, не только используя готовую постройку, но и идя по пути осквернения святыни, что всегда более действенно, чем разрушение. В отдельных случаях власти поступали даже с остроумием и фантазией. Гордость России – воздвигнутый в честь победы над Наполеоном московский храм Христа Спасителя – не просто сравнивали с землей. На его месте соорудили не клуб, не казарму, не райком – а бассейн, заменив возвышение углублением, гору пропастью, мужской символ женским. И зияющая впадина была залита стерильной хлорированной водой.

Но сам позыв к общению с высшим не мог исчезнуть в человеке, даже если его лишили привычного места для такого общения. Вероятно, подобное насилие над челове-

ческой природой вообще невозможно. Вертикальная картина мира присуща нашему сознанию еще больше, чем горизонтальная, потому что в плоскости наш кругозор может быть ограничен (например, суша – водой), а мысленный взгляд вверх – безбрежен. И даже у не вполне развитых эвенков небо – это плодородная тайга верхнего мира, в которой блаженствует космический лось Хэглун.

С четвертого тысячелетия до нашей эры существовали сооружения для наблюдения за звездами. Кромлехи неолита, зиккураты Вавилона, пирамиды Египта, пагоды Китая, кафедралы Европы – все это возвышало человека, устремляя его ввысь. И в той иерархии ценностей, которая неизменна столько, сколько существует человек, верх всегда противостоит низу со знаком плюс: как день – ночи, правый – левому, белый – черному, теплый – холодному. Универсальный знаковый комплекс заставляет человека задирать голову, даже если он опасается, что свалится кепка.

Мощные и прекрасные культовые сооружения, призванные заменить утраченные храмы – вертикальные модели, воплощающие идею высоты, – так и не были построены в советской России. Магнитка и ДнепрогЭС, при всей своей масштабной привлекательности, были слишком служебными конструкциями: они варили обыкновенный металл и перекачивали банальную воду. Требовалась чистая идея – без утилитарной нагрузки.

Потребность во всенародном подвиге заполнил космос, тем более прекрасный, что для завоевания его не требовалось кровопролития. Да и вообще это деяние было более универсальным – потому что не принадлежало простому смертному. В самих образах космонавтов причудливо смешались демократические запросы народного государства и религиозные каноны. С одной стороны, они были простыми парнями, из соседнего двора, обыкновенными, советскими. С другой стороны – их окружала таинственность небожителей и высокие достоинства служителей культа.

Герои в Советском Союзе всегда призваны выполнять широкую просветительскую задачу. Допустим, токарю совершенно недостаточно ловко точить детали

из болванок: передовой токарь еще играет на виолончели. Рекордсмен не просто быстро бегают, но и пишет кандидатскую диссертацию по ферромагнетизму. Оперный бас берет на две октавы ниже всех других басов и при этом награжден медалью «За отвагу на пожаре». По мере продвижения вверх число достоинств увеличивается, стремясь к бесконечности. Именно поэтому про маршалов и членов Политбюро неизвестно ничего вообще, ибо недоступно умственному взору. (В скобках стоит вспомнить о попытках низвести богов до героев. Так, о Ленине сообщалось, что он ежедневно в Швейцарии совершал по горным кручам прогулки в 70 и более километров. Мао Цзе-дун погрузился в Янцзы, побив все мировые рекорды, при том, что во время заплыва дружески беседовал с плывущими рядом товарищами. Эти попытки были заслуженно забыты как снижающие образ верховного существа.)

Космонавты – вознесшиеся буквально выше всех – должны были занимать промежуточное положение, сочетая рабоче-крестьянскую доступность с принадлежностью к высшим сферам. Их начисто лишили даже подобия недостатков, и следует только дивиться тому, что первым в космос отправился человек с сомнительной по пролетарскому происхождению фамилией Гагарин, а вторым – человек с нерусским именем Герман. Однако все разъяснилось наилучшим образом. Потомок смоленских крепостных Гагарин как раз и утер нос своим однофамильцам-князьям, лишней раз доказав демократический характер советской России. Что касается Титова, то оказалось, что его отец увековечил в своих детях – Германе и Земфире – бессмертные образы великого русского поэта. Кстати, таким путем была внедрена ставшая постоянной линия повышенной интеллигентности космонавтов. Существует, например, обильная литература об учителе из алтайской деревни, воспитателе космонавта № 2, взрастившем целую когорту суперкультурных крестьян, позволявших себе называть детей немецкими именами.

В начале 60-х существовало даже некоторое противопоставление Гагарина и Титова. Первый был любимцем народа, второй – интеллигенции, покоренной иноземным

именем, более заметной задумчивостью и его играющим на скрипке отцом. Но затем, после многочисленных полетов, стало ясно, что энциклопедичность знаний присуща всем космонавтам без исключения. Биограф новых героев пишет: «Как-то в беседе с Юрием Гагариным зашла речь о профессии космонавта. Он говорил, что космонавт не может, да и не должен замыкаться в какой-то одной области знаний. История, искусство, радиотехника, астрономия, поэзия, спорт...»¹⁶

Здравый смысл тут ни при чем, поскольку речь идет не о простых человеческих созданиях. Люди – от самых обычных до подвижников и героев – совершают по жизни горизонтальный путь. Путь вертикальный – удел мифологических персонажей.

Только этим переходом космонавтов в иной иерархический ряд можно объяснить всенародное участие в женитьбе Адриана Николаева на Валентине Терешковой. Событие это было и остается уникальным в истории Советского Союза – страны, где жен нет ни у кого: ни у государственных деятелей, ни у директоров заводов, ни у поэтов, ни у спортсменов, ни даже у киноартистов. Само слово «жена» в общем-то отсутствует в речевом обиходе, заменяемое на «моя» – как, впрочем, отсутствует и слово «женщина». И вдруг в этой самой целомудренной в мире стране праздновалась в государственном масштабе свадьба, а вслед за ней – и рождение ребенка, что уже совершенно выходит за рамки приличий. Но именно потому, что речь шла о небожителях, целомудрие сохранялось и при широком обсуждении. По сути дела, от Николаева могла бы родить не Терешкова, а например, Быковский. И это было бы в порядке вещей, как безропотно принимается тот факт, что Зевс родил Афину.

В выборе и подаче космических кандидатов были проявлены такт и мудрость, причем – еще до полетов человека. Самые популярные собачьи имена в России – иностранные, вроде Рекса или Джульбарса, но полетели наши, русские, теплые: Лайка, Белка, Стрелка и совсем уж домашняя Чернушка. Американцы опрометчиво запустили в космос обезьяну, которую нельзя полюбить, потому что она карикатура на человека, а не друг его, как собака.

Так же располагали к народной любви и космонавты-люди. Без объяснения причин каждый знал, что они добрые, отзывчивые, хорошие мужья и отцы, и раскачивание массовой информацией образов героев происходило в правильной амплитуде колебаний. Например, о Павле Поповиче писали: «В дневниках Генриха Гейне он как-то прочел одну фразу...»¹⁷ Глядя на не обезображенное интеллектом лицо Поповича, трудно было поверить, что он читал даже про Павку Корчагина. Но согласно тезису о том; что ложь должна быть чудовищной, чтобы казаться правдоподобной, это производило впечатление: не стихи ведь Некрасова, а никому не ведомые дневники Гейне!

С другой стороны, никогда не утихала другая струя: о простых парнях.

Глухая ночь. Глубокий сон.
Два сердца бьются в унисон.
Рассвет невозмутим и тих.
Горячий завтрак на двоих¹⁸.

В этих стихах верен расчет на замирание: горячий завтрак, как у всех, как у меня. Как Ахиллес делается ближе, но не ниже из-за своей уязвимости. Как Ленин: «Он как вы и я, совсем такой же...» – и именно от таких приземленных слов встает неземной образ исключительности.

Космонавту № 1 Юрию Гагарину была уготована счастливая судьба. Не одаренный ничем, кроме улыбки – шире, чем у американских президентов, – он стал теперь уже вечным символом и принял божественные почести еще при жизни. Его имя, по сути, следовало бы писать с маленькой буквы, так как оно превратилось в понятие. Причем понятие не такое, какими вошли в историю имена Моцарта как символа творчества, Ньютона – гения, Гитлера – злодейства, Макиавелли – коварства, Колумба – поиска и открытия. С именем Гагарина связано нечто неопределенное, имеющее отношение к высшей степени. Но высшей степени чего? Евтушенко мог написать про Боброва: «Гагарин шайбы на Руси»¹⁹, и этот

образ необъясним, но понятен. Просто, что-то очень хорошее, носящее универсальный характер.

Это целиком соответствует тому универсальному характеру, который имело освоение космоса для советского общества.

Разумеется, присутствовал политический момент соревнования двух систем. При закрытости советского государства сравнение уровней жизни на практике провести почти невозможно. Вроде бы там, в Америке, и нейлоновые рубашки дешевые, и телевизоры почти у всех, и с мясом без перебоев. А с другой стороны, славны бубны за горами, а чего не видели – зря болтать не будем. Полет же в космос – факт непреложный, как непреложен и тот, что они запустили своего Джона Гленна только через 10 месяцев после нашего Гагарина и через полгода после нашего Титова.

Наглядность советской победы ошеломила американцев, взволновавших еще раньше, в 57-м, когда СССР запустил спутник. На смену трезвому практичному Эйзенхауэру пришел размашистый гуманитарный Кеннеди, и космическая лихорадка началась. Она и закончилась почти одновременно в СССР и США. В Советском Союзе такой финальной вехой можно считать смерть Гагарина в 1968 году, хоть она и не имела никакого отношения к космическим полетам. Просто, с уходом из жизни первого героя новой формации ушла и романтика космоса. Больше в СССР возбуждения в этой сфере так и не наблюдалось. Да, собственно, и не от чего было, так как полеты приняли отчетливый пропагандистский характер: то новый рекорд длительности, то в ракету посажен монгол – гальванизация идеи была уже невозможна.

Американцы закончили на торжественной ноте. 21 июля 1969 года Нил Армстронг ступил на Луну, и Штаты взяли реванш.

Но Армстронг явился в конце первого этапа космической эры, а до него мир зашелся от советских побед. И казалось, что это не просто полеты куда-то в небо, за какими-то научными исследованиями. Казалось, что сам прорыв – значителен и символичен. Так оно, конечно, и было. Интересно, что универсальность освоения космоса

для всего общества сформулировал все-таки американец – президент Джонсон. Он сказал: «Если мы посылаем человека к Луне, то значит, можем помочь старушке с медицинской страховкой»²⁰.

Научно-технический прогресс как панацея от всех бед – мысль не новая. Но, в отличие от деятелей эпохи Просвещения, люди XX века могли твердо рассчитывать на скорые результаты. Еще немного, еще чуть-чуть – и заколосятся груши на вербе, и добрые роботы выкопают на тучных полях сладкие корни, и человечество затрубит в рог изобилия.

Для советского человека выход в космос имел значение символа тотального освобождения. Разоблачен Сталин, выставлены импрессионисты, издан Хемингуэй, напечатан Солженицын, выпущены транзисторные приемники, идет разговор об инициативе и критике... Свободе нет предела, и нет предела человеческому гению. Выход в космос был логическим завершением процесса освобождения и логическим началом периода свободы. Ощущение силы и беззаветной веры в нее сказывалось во всем: в стихах, сибирских стройках, первых хоккейных успехах. И венцом новых достижений была космическая победа.

Космос стал мощной духовной встряской для советского общества, которое объединилось во всенародном порыве восторга и благодарности. Несколько упрощая, господствующее чувство можно сформулировать так: «Если мы можем это, то и все остальное нам по плечу!»

Вовсю звенела капель «оттепели», ораторы рассуждали о возврате к ленинским нормам, пример молодой Кубы возбуждал светлую память революции. И сама революция, в соответствии с техническим, космическим веком, воспринималась научно и широко, по-платоновски, по-хлебниковски.

Россия тысячам тысяч свободу дала.
Милое дело! Долго будут помнить про это.

А я снял рубаху,
И каждый зеркальный небоскреб моего волоса,
Каждая скважина
Города-тела
Вывесила ковры и кумачовые ткани.
Гражданки и граждане
Меня – государства...
...Радуюсь солнцу, смотрели сквозь кожу²¹.

Так понимали революцию автор этих стихов Хлебников, Платонов, Заболоцкий, Циолковский: как тотальное освобождение всего – даже атомов. Циолковский, почитаемый в СССР как первый теоретик космических полетов, излагал мысли о полном преобразении личности и общества через уход в космос, где составляющие человека частицы соединятся в новом, более совершенном и гармоничном сочетании.

Подсознательно нечто подобное ощущал каждый: сама идея освоения космоса возвышала и облагораживала человека. И никто, разумеется, не обращал внимания на трескотню о научных экспериментах. От этого как раз хотелось отмахнуться, обратив свои душевные силы именно к чистоте и бескорыстию идеи. Как обращал просветленный взор человек иных эпох к пирамиде, пагоде, собору – чистым и бескорыстным символам стремления к высшим образцам, которые помогут преобразовать жизнь внизу по своему идеальному подобию.

12 апреля 1961 года недоступное и вечно желанное небо стало ближе. Оно перестало быть прежним, потому что Гагарин оплодотворил его – как мужчина оплодотворяет женщину, – но в этом действе было целомудрие и красота древнего мифа. Тогда, в 61-м, это стало высшей точкой порыва к свободе и задало стандарты чистоты стремления к ней.

Когда все стандарты были отменены, то сама идея покорения космоса исчезла, хотя космические полеты продолжают. Дело, вероятно, в том, что осквернение святыни всегда более действенно, чем разрушение ее.

В одном древнем мифе рассказывается о том, что когда-то небо лежало близко от земли, но люди вытирали об него грязные руки, и оно ушло ввысь.

3. Соавтор эпохи. Поэзия

Самым главным и подлинным поэтом эпохи был Хрущев.

Стихов он, правда, не писал – во всяком случае, пока этот факт не обнаружен. Поэты-автократы известны современной истории: Мао Цзе-дун, Хо Ши Мин, Агостиньо Нето. Через много лет после смерти Сталина выяснилось, что и он писал стихи. К счастью – очень плохие. «К счастью» – потому что иначе образ Сталина в исторической перспективе приобрел бы дополнительные нюансы, что всегда затруднительно и хлопотно.

Хрущев стихов не писал, но был поэтом в том высшем смысле, что сумел преобразовать эпоху, дав целому поколению творческий импульс, выразившийся в простых, как и подобает истинной поэзии, словах: «Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!»

В словах и делах Хрущева была правда этой простоты, которая вдохновляла лучшие образцы русской гражданской поэзии:

И на обломках самовластья напишут наши имена, –
предсказывал Пушкин.

Пускай нам вечным памятником будет
Построенный в боях социализм, –
завещал Маяковский.

Нынешнее поколение советских людей
Будет жить при коммунизме! –
обещал Хрущев.

Даже в области стихотворной формы Хрущев пошел здесь своим путем, предпочтя хромой хорей заезженному российскому ямбу Пушкина и Маяковского.

Задача и цель предложенной с партийной трибуны Программы была так или иначе ясна каждому. Но, как невозможно объяснить в любви текстом Морального кодекса, так и вся повседневная жизнь требовала иного, чем сухие директивы, словесного императива. Эпоха преобразований ждала новых формулировок, соответствующих новому постижению окружающего мира.

Хрущев был главным поэтом эпохи. А ее поэтический конспект составил Евгений Евтушенко.

Евтушенко стал адекватным выразителем тех глобальных перемен, которые ощущались повсеместно. И его головокружительный успех есть результат общенародной любви и благодарности за то, что Евтушенко сумел просто и доступно разъяснить народу – что же происходит в стране и мире. Даже у самих преобразователей кружилась голова от крутых виражей и зигзагов, а чем дальше от Кремля, тем непонятнее и неожиданнее все становилось. Русский человек привык, пригорюнясь, присесть, неторопливо сказать: «Да, брат, жизнь прожить – не поле перейти...» Ходячая мудрость пословиц и поговорок, кажется, полностью исчерпывает потребность в анализе событий и явлений – благодаря своей языковой завершенности, абсолютной, как идеальный шар, гармоничности. На уровне удобных и внятных формул происходит постижение мира, и Евгению Евтушенко удалось эти формулы найти.

Похоже, он очень рано осознал свое назначение ведущего конспект. Характерно, что начинал Евтушенко с программных и соответствующих времени стихов. Шло время холодной войны, и 16-летний Евтушенко в 1949 году дебютировал в «Советском спорте» антиамериканскими стихами. Характерно и то, что стихи были именно о спорте. Спорт был той легальной формой войны, в которой уместно было употреблять агрессивно-наступательную лексику. Разумеется, имели значение и личные пристрастия поэта, который чуть было не сделал профессиональную карьеру футболиста. На протяжении десятилетий Евтушенко писал потом стихи о боксе, альпинизме, конькобежном спорте. (Заметим в скобках, что второй – хронологически – народный поэт послевоенной России,

Владимир Высоцкий, тоже много и охотно писал о боксе, альпинизме, конькобежном спорте. Лишь они оба говорили на совершенно внятном языке на совершенно внятные темы – в отличие не только от Бродского, но и Ахмадулиной, и относительно демократического Вознесенского.)

Потрясающая общественная чуткость Евтушенко направляла его на слабые участки фронта борьбы за новое. В советской поэзии не было лирики, и он, Евтушенко, стал первым лирическим поэтом. И на этом пути он единственный раз отступил от требований эпохи. Забылся. Забыл, что ведет конспект.

Сборники «Шоссе Энтузиастов» (1956), «Обещание» (1957), «Стихи разных лет» (1959), «Взмах руки» (1962), «Нежность» (1962) сохранили лирические стихи Евтушенко – ту поэзию, до уровня которой он так и не поднялся в следующие годы. Но те строки, вместе с прошедшими на несколько лет позже песнями Окуджавы, впервые за много лет показали отвыкшим от нормальных слов людям, что лирика – это не только когда ждут пропавшего без вести на фронте, это можно и в других обстоятельствах.

Людей неинтересных в мире нет.
Их судьбы – как истории планет:
у каждой все особое, свое,
и нет планет, похожих на нее²².

И стихов, похожих на эти, тогда не было. То есть были, конечно, но не выходили сотысячными тиражами. Все это было захватывающе ново, и оказалось, что можно любить самых разных женщин – может быть, даже не вполне хороших:

А после ты любишь, а может быть, нет,
а после не любишь, а может быть, любишь,
и листья и лунность меняешь на людность,
на липкий от водки и «Тетры» пакет²³.

Получалось совсем как у Ремарка и Хемингуэя, но чувства поэта были не заемными, а своими, искренними

и настоящими. В них была безыскусность и простота эмоций, что-то вроде пронзительной лирики блатных песен:

Любовь свою короткую хотел залить я водкою,
Но воровать боялся, как ни странно.

Эту лирическую стихию в 20-е годы чуть ли не дословно передавал Есенин. Интимные же стихи Евтушенко были для новой интеллигенции – той самой, которая жадно хватала все – Ремарка, Хемингуэя, КВН, Солженицына, фигурное катание. И конечно же – лирику. И «липкий от водки и „Тетры“ пакет» был точно найденной приметой времени, как и множество других образов в стихах Евтушенко, потому что интеллигентские низы не могли жить по-старому, и вечные чувства требовали нового оформления.

Целое поколение советских людей твердило, как заклинание:

Ты спрашивала шепотом:
«А что потом? А что потом?»
Постель была расстелена,
и ты была растерянна...²⁴

А потом началась лавина лирических стихов. И уже стало трудно разбирать, чем Евтушенко отличается от Эдуарда Асадова. Тогда, в начале 60-х, это было ясно безусловно. Хотя и тогда стихи Евтушенко и Асадова были похожи. Но первым руководил мощный поэтический импульс передовой идеологии, что в лирике означало прославление добрачных связей и оправдание супружеской измены. Асадов же привычно и надоедливо бубнил: «Они студентами были, они друг друга любили» – причем так, чтобы было ясно, что «любили» в самом бестелесном значении.

Но, хотя высшие поэтические достижения Евтушенко остались именно в области интимной лирики, он рожден был не для звуков сладких и молитв, а именно для житейского волнения. Его, как и Маяковского, увлекла

стихия преобразований. При этом, Евтушенко, будучи поэтом более скромного дарования, в каждый момент полностью контролировал свои поступки.

Моя поэзия, как Золушка,
забыв про самое свое,
стирает каждый день, чуть зорюшка,
эпохи грязное белье²⁵.

В этой декларации все честно и верно – в первую очередь, чудовищное качество стихов. Поэзия Евтушенко все чаще забывала про самое свое, все больше ее влек конспект эпохи. Поэт находил адекватные задачам дня формулировки, не упуская ничего важного и значительного.

Советский Союз увлеченно следил за событиями на Кубе:

Фидель, возьми меня к себе
солдатом Армии Свободы!²⁶

Проникновение западной массовой культуры волновало умы:

Что мне делать с этим парнишкой,
с его модной прической парижской,
с его лбом без присутствия лба,
с его песенкой «Али-баба»?²⁷

Интеллигенция воевала с ретроgrадами за передовое искусство:

Мы лунник в небо запустили,
а оперы в тележном стиле²⁸.

Страна потрясена хрущевскими разоблачениями и страшится повторения сталинизма:

И я обращаюсь к правительству нашему с просьбою:
удвоить, утроить у этой плиты караул...²⁹

Ширится и растет борьба с бездельниками и тунеядцами:

Закон у нас хороший есть:
«Кто не работает – не ест!»³⁰

Молодежь живо интересуется Западом – какие они там, похожи ли на нас:

Этой девочке ненавистен
мир – освистанный моралист.
Для нее не осталось в нем истин.
Заменяет ей истины – «твист»³¹.

Всегда болезненна была для России проблема еврейства и антисемитизма:

Ничто во мне про это не забудет!
«Интернационал» пусть прогремит,
когда навеки похоронен будет
последний на земле антисемит³².

Этому стихотворению Евтушенко обязан своей мировой славой. «Бабий Яр» был моментально переведен на все языки мира. Крупнейшие газеты дали сообщение о «Бабьем Яре» на первых страницах – «Нью-Йорк таймс», «Монд», «Таймс»... Западный мир, в котором отношение к евреям стало пробным камнем цивилизации, пришел в восторг. Буквально в один день Евтушенко стал всемирной знаменитостью. Хотя за год до этого поэт объездил множество стран, читал стихи в США, Франции, Англии, Африке, только скромная публикация в «Литературной газете» 19 сентября 1961 года сделала Евтушенко суперзвездой. (Интересно: знал ли он, что это был Йом Кипур – Судный день в иудаизме, день покаяния в грехах?)

Российский читатель облегченно вспомнил про забытые в созидательных хлопотах традиции русской интеллигенции, и тысячные толпы требовали – теперь уже требовали – смелости. Напечатавший в газете «Литература и жизнь» отповедь «Бабьему Яру» Алексей Марков³³ выину-

жден был отменить свои поэтические вечера из боязни физической расправы. По рукам ходили чьи-то стихи-ответ этому самому Маркову:

И вот другой садится за чернила,
Но по бумаге яд в стихах разлит.
В стихах есть тоже пафос, страстность, сила,
звучат слова «пигмей», «космополит»...³⁴

Космополит Евтушенко мог торжествовать – он стал народным трибуном. Именно тогда его стали критиковать, ругать, поносить по-настоящему. И именно тогда на его выступление однажды пришли 14 тысяч человек. Именно тогда он выступал по 250 раз в год. И кто-то из эпиграммистов мог с полным основанием почтительно пошутить:

То бьют его статью строгой,
то хвалят двести раз в году.
А он идет своей дорогой
и бронзовеет на ходу³⁵.

Это была слава.

В отличие от Есенина, который хотел «задрать штаны, бежать за комсомолом», Евтушенко сам вел комсомол и всю передовую общественность страны. К слову говоря, ему трудно было бы задрать штаны: тогда поэты были во всем первыми – брюки у них были самые узкие, идеи самые прогрессивные, слова самые смелые. Кто-то из западных корреспондентов, замороженный трибунным чтением Евтушенко, сказал, что он мог бы возглавить Временное правительство. Наверное, это так – но лишь по форме, не по содержанию. По содержанию Евтушенко преобразователем и революционером не был. Он шел в фарватере эпохи, которая требовала лозунга. И толпа, которая всегда слышит громогласный призыв, а не отданный вполголоса приказ, смотрела снизу вверх на своего лидера – поэта.

И лидер так же нуждался в аудитории, как и она в нем. Поражает тот качественный разрыв, который суще-

ствуется между написанными и услышанными стихами Евтушенко. Его строки рассчитаны на прочтение вслух. Это ораторские речи, слегка зарифмованные – благо, процветала ассонансная рифма, и сам этот процесс был несложен. Сам Евтушенко простодушно считал, что изобрел что-то в области стихосложения, даже писал о какой-то «евтушенковской» рифме³⁶. Но все это неверно, да и не важно, потому что при чтении на стадионе ветер относит окончания слов.

Странно: трудно себе представить, что тогдашние поэты изучали античные риторика, но действовали они именно в соответствии с указаниями Аристотеля и Дионисия Галикарнасского:

«Оценить речь, основанную на знании, есть дело образованных, а здесь, перед толпой, это невозможно. Здесь мы непременно должны вести доказательства и рассуждения общедоступным путем»³⁷.

Нам не слепой любви к России надо,
а думающей, пристальной любви!³⁸

– уж куда доступней.

Установка на риторику, на помощь трибун давала немедленные результаты, страшно разочаровывая будущих читателей. И тут все предусмотрел Аристотель: «Речи ораторов, даже если они имели успех, кажутся неискusstными в руках; причина этого та, что они пригодны только для устного состязания»³⁹. В соответствии с законами риторики, стихи были рассчитаны на массы народа, и потому заботы о точности и красоте стиля были не только не обязательны, но и излишни – как не следует заботиться о прорисовке каждого листка при изображении отдаленного леса.

Вряд ли Евтушенко изучал античных авторов – это было время самородков, рафинированные поэты пропали бы на трибуне. А эти, стихийные бунтарские вожди, темпераментом и напором искупали недостаток поэтического мастерства и образования. Мог же Евтушенко написать – да еще для французского журнала! – что Рембо перестал писать стихи, потому что стал работником⁴⁰.

Мало того, что Рембо торговал не рабами, а кофе, но и причина здесь перепутана со следствием.

Дело тут, видимо, в том, что тот же императив эпохи, который побуждал к интимной лирике и гражданскому горению, требовал и красоты – в любом ее, самом экзотическом, воплощении. В стихах Евтушенко с начала 60-х хлынули потоки кальвадоса, перно, атлантических волн, тихоокеанских прибоев, в которых, как в водовороте, закружились работороговец Рембо, парижские красавицы, африканские пальмы. Все это было заманчивое, хоть и не наше – только становилось нашим, как для Маяковского, который считал себя «в долгу перед бродвейской лампией». Евтушенко тоже ощущал этот новый мир своим приобретением и щедро делился с читателем впечатлениями о твисте, луковом супе, встрече с Хемингуэем.

В «Автобиографии» поэта, в истории публикации «Бабьего Яра», есть небольшая характерная деталь. Евтушенко рассказывает, как ждал из типографии свежего номера «Литературки» со стихами, как целовался с печатниками, как потом «сел со своим приятелем в свою старенькую машину. И вдруг – о, чудо! – я обнаружил на сидении бутылку «Божоле». ...Мы откупили бутылку, выпили ее прямо в машине»⁴¹.

Что-то старожилы не припомнят, чтоб в Москве 61-го года так запросто могла завалиться забытая бутылка «Божоле». Но так тогда было нужно. Именно французским вином должен был праздновать победу над антисемитами настоящий русский поэт.

Боление и ответственность за все на свете было насущной необходимостью для тогдашнего поколения поэтов. Это волевое напряжение было так сильно, что произошел шок в генах – на много лет вперед это определило пути современной русской поэзии. Во всяком случае – наиболее заметной ее части. Эта линия, сосуществуя с разрушительной иронией другого направления, никогда не пресекалась. Евтушенко, по его собственному признанию, влюбился в Беллу Ахмадулину, когда она сказала: «Революция больна. Революции надо помочь»⁴². И они помогли той революции, которая потом предала их.

Евтушенко принес в жертву своей праведной борьбе самое важное и дорогое – талант и поэтическое мастерство. Знаменитейшие его стихи поражают убожеством формы и примитивностью содержания. Он не создал своей метафорической системы, своего ритма, своей строфы, своей тематики. Хотя и мог. По своей поэтической потенции – несомненно, мог. Но он был лишь соавтором эпохи.

Хрущев, по чьему личному указанию были напечатаны в «Правде» в 62-м году «Наследники Сталина», может в той же мере, что и Евтушенко, считаться автором этих стихов. Потому что, кроме факта опубликования «Наследников Сталина» в «Правде», других достоинств у стихов этих нет. В поэзии Евтушенко почти физически ощущается его лихорадочная торопливость – успеть сделать все, как надо. Не завтра, не для завтра, а сейчас и для сейчас. Хрущев с поэтическим легкомыслием разрешал все проблемы посадками кукурузы, а за ним уже спешил Евтушенко:

Весь мир – кукурузный початок,
похрустывающий на зубах!⁴³

В этих строках нет ни грана раболепия, подхалимства. Они были соратники и соавторы – поэт-преобразователь Хрущев и поэт-глашатай Евтушенко. Счастье было так близко, так возможно.

В своем последнем всплеске – «Братской ГЭС» – Евтушенко сделал попытку эпоса, а создал несколько отличных лирических стихотворений, спрятанных среди 5000 строк про турбины и пирамиды. Можно было еще многократно твердить священное имя Ленина, но тот импульс, который возводил поэта к толпе, уже угасал. Евтушенко не продался и не предал идеалы. Он и не мог их предать, потому что его идеалом было максимальное соответствие обществу, полное растворение в нем. Это общество предало Евтушенко, потому что перестало нуждаться в трибунах. Революция закончилась.

Кипение мощной природы не дало поэту перейти из революционеров в бюрократы, что представляет собой

естественный путь. Евтушенко остался один со своим ярким и ненужным дарованием, выветренным на стадионах. Как точно он написал в одном из ранних стихотворений:

Мне страшно, мне не пляшется.
Но не плясать – нельзя⁴⁴.

В Большой Советской Энциклопедии про Евгения Евтушенко сказано: «В лучших стихах и поэмах Е. с большой силой выражено стремление постигнуть дух современности»⁴⁵.

Это правда. Высокий дух времени задавал высокую ноту поэзии Евтушенко. Низкий – снижал до фальши. Слишком безусловна была зависимость поэта от эпохи.

Старение поэта – грустная тема. К счастью – это тема уже иная.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ См. «Правда», 30 июля 1961 г.

² Программа Коммунистической партии Советского Союза, часть вторая, V, I, в/. «Правда», 30 июля 1961 г.

³ И. Е ф р е м о в. «Туманность Андромеды». – М., 1984, стр. 5.

⁴ Программа КПСС, Введение.

⁵ Там же, часть вторая, VII.

⁶ «Крокодил», 1961, № 24.

⁷ Цит. по: В. И. Л е н и н, Полное собрание сочинений, т. 1, стр. 271.

⁸ Программа КПСС, часть вторая, II, д/.

⁹ Там же, часть вторая, V, I, в/.

¹⁰ «Юность», 1961, № 9.

¹¹ Там же. Автор – Э. И о д к о в с к и й.

¹² Там же. Автор – Евг. Н а в р о т.

¹³ Там же. Автор – Вяч. М о л о д я к о в.

¹⁴ «Крокодил», «1961, № 25. Автор – Л. Л е н ч.

¹⁵ В. И. Л е н и н. Полн. собр. соч., т. 22, стр. 117.

¹⁶ М. Р е б р о в. «Космонавты». – М., 1977, стр. 9.

¹⁷ Там же, стр. 43.

¹⁸ Там же, стр. 23.

¹⁹ Е. Е в т у ш е н к о. «Идут белые снега...» – М., 1969, стр. 409.

²⁰ Цит. по: The New York Times Book Review, 7 апреля 1985 г., стр. 16.

²¹ В. Х л е б н и к о в. «Я и Россия». Цит. по письму Н. Заболоцкого К. Циолковскому от 18 января 1932 г. В кн.: Н. З а б о л о ц к и й. Избр. произв. в 2 тт. – М., 1972, т. 2, стр. 273.

²² Е. Е в т у ш е н к о. «Идут белые снеги...» – М., 1969, стр. 124.

²³ Там же, стр. 90.

²⁴ Е. Е в т у ш е н к о. «Наследники Сталина». – Лондон, 1964, стр. 94.

²⁵ Е. Е в т у ш е н к о. Собр. соч. в 3 тт. – М., 1983, т. I, стр. 284.

²⁶ Цит. по ст.: Л. А н н и н с к и й. «Заметки о молодой поэзии». – «Знамя», 1961, № 9.

²⁷ Е. Е в т у ш е н к о. «Идут белые снеги...», стр. 236.

²⁸ Е. Е в т у ш е н к о. «Наследники Сталина», стр. 106.

²⁹ «Правда», 21 октября 1962 г.

³⁰ «Yevtushenko Poems». – New York: Bilingual Edition, 1966, p. 128.

³¹ Е. Е в т у ш е н к о. «Нежность». – М., 1962, стр. 48.

³² «Литературная газета», 19 сентября 1961 г.

³³ «Литература и жизнь», 23 сентября 1961 г.

³⁴ Цитируется по памяти.

³⁵ Эпиграмма напечатана в журнале «Юность» в 60-е годы. Цитируется по памяти.

³⁶ Е. Е в т у ш е н к о. «Автобиография». – London, 1963, стр. 40.

³⁷ Античные риторика. – М., 1978, стр. 17-18.

³⁸ Е. Е в т у ш е н к о. «Идут белые снеги...», стр. 209.

³⁹ Античные риторика, стр. 149.

⁴⁰ Е. Е в т у ш е н к о. «Автобиография», стр. 11.

⁴¹ Там же, стр. 138.

⁴² Там же, стр. 106.

⁴³ Е. Е в т у ш е н к о. «Яблоко». – М., 1960, стр. 47.

⁴⁴ Е. Е в т у ш е н к о. «Взмах руки». – М., 1962, стр. 231.

⁴⁵ БСЭ, Третье издание, т. 9, стр. 30.



Михаил Ромм: судьба художника

В январе 1971 года в московском Доме кино проходил вечер, посвященный 70-летию кинорежиссера М. И. Ромма. Обычно зал вмещает всех желающих, на этот раз на улице осталась толпа не попавших, терпеливо ждавшая окончания церемонии, чтобы приветствовать юбиляра.

Чем заслужил эту популярность человек, облаканный Сталиным, такой же неразборчивый в целях и методах, как и его коллеги, пять раз получавший сталинскую премию, награжденный высшими орденами, не «простаивавший» даже, когда на «Мосфильме» снимались три картины в год, ставший с началом войны заместителем председателя Комитета кинематографии и начальником Главного управления по производству художественных фильмов, всю жизнь демонстрировавший радость вдохновенного труда и великую благодарность партии за ее милости?

Может быть, своей личной добротой, обаянием, стремлением оставаться порядочным по отношению к коллегам? Но друзья и знакомые находились в зале, а толпе у входа эти его качества известны не были. Может быть, фильмами, отвечавшими настроению, потребностям людей? Но таким фильмом был только «Обыкновенный фашизм» (1965). Приступая к нему, Ромм говорил мне в интервью: «Я не сидел в тюрьме, не голодал, всегда работал и все-таки прожил трагическую жизнь – за 35 лет не сделал в кино ничего». То же мог бы сказать о себе любой советский кинорежиссер его поколения: они плыли по течению, снимали, что им приказывали, соблюдали правила игры: не размышлять, не называть вещи их

собственными именами, произносить с экрана и в жизни верноподданнические ханжеские речи, соглашаться на любые, самые ничтожные, сюжеты и по возможности красивее иллюстрировать последние лозунги агитпропа. Вопрос стоял недвусмысленно: с кем вы, мастера культуры? Им напоминали: кто не с нами, тот против нас!

Поголовную покорность кинематографистов в какой-то мере определила специфика профессии. Поэта, композитора или художника можно не печатать, не исполнять, не выставлять – они продолжают работать для себя, «в стол». Так писали М. Булгаков, П. Филонов, Р. Фальк. Для архитектуры, театра, кинематографа это невозможно – фильм требует огромных средств, а полицейское государство – единственный инвеститор, производитель, покупатель и прокатчик картин. И Ромм вместе со всеми декорировал режим, скрывая истинные конфликты времени, воспевая послушную массу и фальшивый героизм.

Относительная свобода дозволялась лишь в выборе заданных партией тем. Одни восторгались индустриализацией и коллективизацией, другие – чекистами. Ромм творил свои мифы: о басмачах и героях-красноармейцах («Тринадцать», 1936), Ленине («Ленин в Октябре», 1937, «Ленин в 1918 году», 1939), доблестных флотоводцах прошлого («Адмирал Ушаков», «Корабли штурмуют бастионы», 1953), коварных американских империалистах («Русский вопрос», 1947, «Секретная миссия», 1950)... Лишь три картины Ромма выделяются из кинематографа его времени – «Пышка» (1934), которую он создавал, еще не зная, что картина уже не нужна и будет осуждена, «Мечта» (1941), где искренность автора оказалась сильнее шаблонного замысла, и «Обыкновенный фашизм», сказавший через другую эпоху правду о своем времени, через обыкновенный фашизм – об обыкновенном коммунизме. Эти три фильма и позволяют говорить о Ромме как о большом художнике. Но поблагодарить Ромма ожидавшие его у Дома кино хотели не столько за эти картины, сколько за невиданную откровенность, с какой он публично осудил остальные свои фильмы, за боль, с которой он говорил о пустых годах, потраченных

на фальшивые ленты, за то отвращение, с которым он отшатнулся от того, что сам сделал.

Сценарист и соавтор Ромма по фильмам о Ленине А. Каплер утверждает: «Творческая биография Ромма сложилась очень счастливо». Сам Ромм сказал: «Почти каждая моя картина – предметный образец приспособления к обстоятельствам». Его жена, актриса Елена Кузьмина, вспоминает: «Особенно трудно было в последние годы его жизни, когда он стал оглядываться назад, задумываться над тем, что он сделал, как работал. От этих мыслей он мрачнел. Он считал, что прожил не так, как должен был прожить (...) Такие разговоры о неправильно прожитой жизни повторялись не раз. Когда довольно шумная семья засыпала, Ромм приходил ко мне, шагал из угла в угол. Или усаживался в так нелюбимое им мягкое кресло, начинал свою исповедь. Я знала, что ничем не могу отвлечь его от тяжелых мыслей. И помочь ничем не могу. Приходилось молча слушать и следить за собой, чтобы не заплакать от отчаяния. Было мучительно, что такой человек, как Ромм, так казнит самого себя». Случай этот в кино и во всем советском искусстве уникальный – самооценка, сама по себе свидетельствующая о крупной и талантливой фигуре. Прославленный, признанный, почитаемый художник, отрекшийся от своего прошлого и сказавший о нем правду, вызвал к себе уважение, это реабилитировало его в глазах интеллигенции.

За восемь лет до юбилейного вечера в Доме кино мне довелось слышать выступление Ромма на конференции в Доме актера. Никто не знал, что обсуждает конференция, – шли на Ромма. Двери в зал оставили открытыми – люди стояли в проходах и фойе. Ромм начал с призыва разрешить танцевать западные танцы, затем объявил о том, что знали все, но вслух не говорили – слова «безродный космополит» заменяют слово «жид», – и добавил, что эта позорная кампания не осуждена, а ее вдохновители не пострадали: те же самые люди во главе с Кочетовым в «Октябре» и Софроновым в «Огоньке» продолжают шельмовать художников политическими доносами под видом критических статей. Ромм призвал прекратить «до

бесконечности врать», «кичиться своей неделовитостью, своей отсталостью», «отгораживаться от западной культуры». И закончил: «Нельзя, чтобы на террасе твоего дома разжигали костер. А ведь костер разжигается именно на террасе нашего дома (...) Так давайте же разберемся в том, что сейчас происходит, довольно отмалчиваться».

За прошедшие с тех пор двадцать с лишним лет были публичные выступления и порезче, и пооткровеннее, но то было начало пробуждения общественного сознания, и в глазах интеллигенции знаменитый маститый Ромм оказался рядом с теми, кто читал стихи у памятника Маяковскому в Москве, подписывал письма протеста, публиковался в Самиздате. Г. Свирский в книге «На Лобном месте» вспоминает: «...Речь Ромма разошлась по России, наверное, большим тиражом, чем газета «Правда». Спустя неделю после дискуссии я улетел в Иркутск. Там мне показали новинку – речь Михаила Ромма...»

Через короткое время на открытом партийном собрании журнала «Советский экран», где я работал, читалось закрытое письмо ЦК КПСС об упущениях в идеологической работе: указывалось, что отдельные представители интеллигенции проявляют нездоровые настроения. И пример в скобках: «(т. Ромм)». После собрания редактор рассказал, что «там», «наверху», больше всего разозлились на «космополитов» и на призыв Ромма к интеллигенции не сидеть сложа руки, надеясь на помощь «сверху», – действовать самим. Выступления этого Ромму не простили до конца его жизни, и лишь ореол создателя «ленинских фильмов» заставил авторов постановления ограничиться упоминанием имени Ромма в скобках: за меньшие грехи следовали куда большие наказания.

В 1980 – 1981 гг. в издательстве «Искусство» вышел трехтомник избранных сочинений Ромма – статьи, сценарии, режиссерские экспликации, стенограммы лекций и выступлений. Ромму оказали посмертные почести – мертвый не опасен. Так было и с Вертовым, и с Эйзенштейном, и с Пудовкиным, и с Довженко, и с Шукшиным. Чуть ли не на каждой странице этого трехтомника – многоточия, означающие купюры. Выпали упоминания об учени-

ках – Тарковском, Михалкове-Кончаловском. Выпал абзац со словами академика И. Е. Тамма о его ученике академике А. Д. Сахарове, которые Ромм относил и к своим ученикам: «У него есть прекрасное свойство. К любому явлению он подходит заново, даже если оно было двадцать раз исследовано и природа его двадцать раз установлена. Сахаров рассматривает всё, как если бы перед ним был чистый лист бумаги, и благодаря этому делает поразительные открытия». Выпали мысли Ромма о писателях, перерабатывающих уроки кинематографа в чисто литературный прием, – Солженицыне, Аксенове, Войновиче, Владимове, Максимове... И, конечно, в трехтомнике нет ни выступления в Доме актера, ни писем и телеграмм, посланных Роммом в 1970 году – за год до смерти – в защиту посаженного в психушку биолога Жореса Медведева. Ромма тогда вызывали для увещевания в райком партии, но он остался тверд и говорил, что обвиняет врачей в нарушении клятвы Гиппократата.

Путь от высокопоставленного кинематографического чиновника до художника, не скрывающего своего инакомыслия, был долгим. Вера в благо революции внушалась с детства. Семья происходила из Вильны – дед владел типографией, отец был врачом. За участие в революционной пропаганде среди фабричных рабочих отца посадили в Петропавловскую крепость, а в 1889 году сослали в Иркутск. Туда приехала жена – свадьба была за неделю до ареста. В Иркутске 24 января 1901 года, вторым ребенком в семье, родился будущий режиссер. До пяти лет жил в Забайкалье, потом в Вильне и с девяти лет в Москве, где окончил гимназию и в 1917 году поступил в Училище живописи, зодчества и ваяния, в студию А. С. Голубкиной. Одновременно играл в театре. Летом 1918 года Ромма призвали в Красную Армию, и до 1921 года он служил – в матросском отряде на юге России, в запасном полку в Москве, продагентом, телефонистом, рядовым красноармейцем, инспектором полевого штаба Реввоенсовета, исколесил в теплушках и прошел пешком всю Россию. Сомнений в справедливости революции не испытывал. После демобилизации поступил на скульптурный факультет ВХУТЕИНа – Высшего государственного

художественно-технического института – и в 1925 году окончил его. Но не очень верил в свою скульптуру. Пробовал себя в театре в качестве режиссера, в журналистике, переводил с французского Золя и Флобера, оформлял выставки, рисовал плакаты и обложки книг. В 1928 году решил попытаться счастья в кинематографии – начал писать сценарии, часть которых приняли к постановке. Стал ассистентом режиссера А. Мачерета: тогда несложно было устроиться в кино. Сначала поручали картины только для «сельских установок»: десять актеров, ни одной массовки и смета втрое меньше обычной.

В апреле 1933 года Ромма вызвал директор «Мосфильма» и предложил постановку полнометражной картины, при условии, что она будет недорогой – с простыми декорациями и дешевыми актерами. Ромм остановился на мопассановской «Пышке» и даже обосновал, почему именно этот «антибуржуазный памфлет» нужно ставить в первую очередь. Дебют оказался первой вершиной творчества Ромма. Очень немногие ленты мирового кино заслужили честь повторного показа спустя десятилетия. «Пышку» продолжают показывать. По ней обучают студентов киноинститута мастерству режиссуры. Когда в 1955 году немую картину озвучили и выпустили на экраны, она оказалась современной. А ее постановщик не кончал ВГИКа и, по его рассказам, клея на монтажном столе первый эпизод «Пышки», обнаружил, что совсем не умеет монтировать, не знает, как соединяется крупный план со средним, и нужно ли клеить пленку на глянец или на мат. Персонажи отличаются друг от друга манерой поведения, жестами, мимикой – внешние приметы выражены резко, почти гротескно, выглядят как единое многоплановое существо: вместе ссорятся, вместе скупают, вместе радуются, все подлецы, все лицемеры. Из отдельных характеристик сложился редкий по выразительности групповой портрет мещанства.

Окрыленный похвалами, Ромм пригласил на просмотр Илью Эренбурга – признанного знатока Франции. Тот приехал с шофером и собакой и после демонстрации молча пошел к выходу. Ассистент режиссера догнал и спросил, как понравилось. Эренбург ответил: «Видно,

что автор дальше Потылихи из Москвы не выезжал». Потылиха – подмосковная деревня, в которой построили кинофабрику. Название ее происходит от того, что в 1812 году французов били отсюда *по тылам*. Ромм, и правда, не бывал во Франции и даже не пытался воссоздать в фильме ее атмосферу. Да и за Мопассаном он не очень точно следовал. Рассказывал, что в облике госпожи Луазо (ее играла Ф. Раневская) он себе представлял собственную тетку, которая так же торговалась в лавке и так же реагировала на проституток. Ромма интересовали не французские реалии, а всечеловеческая по остроте коллизия Пышки.

Ромм пришел в кино позже своих ровесников Козинцева, Трауберга, Райзмана, братьев Васильевых, Юткевича. Но пришел сложившимся человеком – со своей темой, настроением, стилем. Историю «девяти патриотов», едущих из Руана в Гавр, окрашивает мягкая ирония, присутствующая в лучших его лентах. Ромм проявил в «Пышке» тонкий вкус, изящество формы и не подозревал, что на многие годы она окажется единственной его картиной, имеющей художественное значение, и последним значительным советским фильмом, завершившим эпоху немого кино.

1934-й год стал переломным. На XVII «съезде победителей» Сталин доложил о «коренных преобразованиях» и задачах на ближайшую пятилетку: «Превратить всех трудящихся страны в сознательных и активных строителей коммунистического общества». Съезд призвал усилить идейно-политическую работу, систематически разоблачать идеологию враждебных классов и враждебных ленинизму течений, беспощадно громить контрреволюционные вылазки классового врага. Прокапталась волна процессов с обвинениями во вредительстве и заговорах. ОГПУ было слито с НКВД – создан общий орган полиции и службы безопасности. Партия приобрела неограниченную власть над жизнью и смертью людей. Слили в ЦК отдел культуры с отделом пропаганды, агитации и массовой работы. В новую «надстройку» вошло всё – от партшкол до газет, от научно-исследовательских институтов до театров, от журна-

лов до киностудий. Партия установила контроль над сознанием.

Удачные экранизации русской классики – «Гроза» В. Петрова, «Петербургская ночь» (по «Белым ночам» Достоевского) Г. Рошаля, «Иудушка Головлева» А. Ивановского, – вышедшие на экраны в 1934 году, были осуждены; партия потребовала от кинематографистов советского репертуара, а если классического, то только русского и в определенной дозировке. «Пышка» не относилась ни к советскому, ни к русскому репертуару, и у героини была сомнительная профессия. Требование партии к кино выразил на состоявшемся в том же году Первом съезде советских писателей сценарист Н. Зархи: «Правда, последний год прошел под знаком «Петербургской ночи», «Иудушки Головлева», «Грозы», «Поручика Киже» и других «Марионеток» (комедия Я. Протазанова. – С. Ч.). Эта линия возникает как знак поражения на гораздо более важных и ответственных участках (...) И «Мертвые души» ушедшей эпохи заменяют живые души замечательных людей нашей современности (...) «Пышка» – хороший фильм, но где фильмы о наших женщинах?» А. Жданов на этом же съезде сказал: «„Знатными людьми“ буржуазной литературы, которая продала свое перо капиталу, являются сейчас воры, сыщики, проститутки, хулиганы». «Пышку» обвинили в порнографии и идеологической нечеткости. Как и в гитлеровской Германии, советская идеология стояла на страже родины, семьи и порядка.

С 1934 года началось кино, которого раньше не было. В двухцветных фильмах-плакатах, где буржуи держали нож в зубах, а ударники перевыполняли план, полному счастью людей мешали только вредители и изменники. Партия требовала ясного, понятного каждому действия. Эталоном стал вышедший в том же году «Чапаев». Сталин вызвал Довженко, показал ему «Чапаева» и сказал: «Вот как нужно и вам...» Задачам массовой агитации и эстетике неоромантизма отвечали челюскинцы, стахановцы, папанинцы, футбольные матчи, красные транспаранты, усыпанная цветами улица Горького, правительство на трибуне мавзолея, всеобщий энтузиазм, прина-

ряженная толпа, бодрые песни. Кино учило не задумываться, а ликовать. В поэзии образцом стал Лебедев-Кумач, в музыке – Дунаевский, в массовой песне – Утесов, в драматургии – Вирта, в прозе – Фадеев, в кино – сусальные герои «Встречного», «Богатой невесты», «Великого гражданина», «Юности Максима», «Члена правительства», «Партийного билета». Доходчивые и понятные, эти фильмы стояли в том же агитационном ряду, что и беспосадочные перелеты, покорение вершин, сказки о девочке Мамлакат Наханговой, быстрее всех убирающей хлопок, и шахтере Стаханове, увеличившем в чудесную ночь добычу угля в 14 раз. Художественное кино превратилось в фальшивую хронику, разыгрываемую актерами. В 1935 году, к 15-летию советского кино, «Правда» напечатала призыв Сталина к кинематографистам добиваться «новых успехов – новых фильмов, прославляющих, подобно «Чапаеву», величие исторических дел борьбы за власть рабочих и крестьян Советского Союза, мобилизующих на выполнение новых задач...» Большая Советская Энциклопедия оценивает кинематограф тридцатых годов в Германии словами, целиком относящимися к советскому кино: «Развитие прогрессивных тенденций было подавлено наступлением фашизма. Фильмы, выпускавшиеся во время фашистской диктатуры, представляли собой либо образцы грубой фашистской пропаганды, либо стандартную развлекательную продукцию».

В новых условиях руководитель ГУКФ (Главное Управление кинофотопромышленности) при Совнаркомом СССР Б. З. Шумяцкий, правивший кинематографом с 1930 по 1937 год, предложил Ромму уехать в Таджикистан, где не было киностудии. Режиссер отказался, и его уволили. Через несколько месяцев восстановили без права писать сценарии – он писал их тайно, под чужими фамилиями. Его еще не оставляла надежда поставить «Пиковую даму» и развить в ней то, что удалось нащупать в «Пышке». Но, чтобы продолжать работать в кино, нужно было заговорить другим голосом. Свой – Ромм вновь обрел лишь в конце пути.

Неожиданно его вызвал тот же Шумяцкий и доверительно сообщил, что *один товарищ* видел одну американ-

скую картину, действие которой происходит в пустыне: американский патруль погибает в борьбе с туземцами, но выполняет свой долг. «Одна американская картина» была знаменитым «Погибшим патрулем» Форда, а «один товарищ» – Сталиным. (Тогда, как и сейчас, заграничные ленты, недоступные обычным зрителям, крутятся вождям; тогда – в Кремле, теперь – на «дачах».) Шумяцкий предупредил, что американская картина – империалистическая, а Ромм должен сделать нечто в таком же роде – о советских пограничниках: чтобы они почти все погибли в боях с басмачами, но не ушли с заставы. Ромм согласился с готовностью: на осуществление его намерений надежды не было, а упустить шанс не хотелось. И он поехал в пустыню Кара-Кум выполнять при шестидесятиградусной жаре пожелание «одного товарища».

Картина – вполне в духе тогдашних лент о «пограничниках», «басмачах», «вредителях»: красные командиры и белые офицеры, пограничники и басмачи, русские геологи и благодарные декхане. Когда в просмотровом зале Госфильмофонда в Белых Столбах под Москвой следом за «Пышкой» я смотрел «Тринадцать», не хотелось верить, что они принадлежат одному режиссеру. Но его положение на «Мосфильме» картина не упрочила: то ли высокий заказчик ее не посмотрел, то ли не высказал о ней своего мнения, то ли оно было отрицательным, но Ромма снова уволили, а когда он попробовал устроиться на другие студии, шлагбаум оказался запертым. И все же Ромм не терял надежды пережить трудное время и получить право работать над тем материалом, к которому лежала душа, – «Пиковой дамой».

Обстоятельства изменились неожиданно: понадобился режиссер, который за два с половиной съемочных месяца поставит картину о Ленине. До этого в пьесах и кино Ленина показывали лишь в эпизодах, на мгновение. Летом 1937 года прошел конкурс на лучшую пьесу и сценарий к двадцатилетию революции. Участвовали Афиногенов, Вишневский, Киришон, Корнейчук, Погодин, Тренев. Всех обошел молодой автор Алексей Каплер. У остальных Ленин не появлялся вообще или представлял в виде ожившего бессловесного портрета – как в немом

кадре эйзенштейновского «Октября», где на броневике у Финляндского вокзала стоял загримированный под Ленина типаж с удивительно тупыми глазами. У Каплера в «Восстании» Ленин стал главным действующим лицом и говорил не собственными цитатами, а словами драматурга, что давало простор любимым натяжкам и измышлениям. Ромму постановку предложили потому, что остальные от нее отказались: лучше пострадать за отказ, чем за провал. Каплер предложил – Ромма. На другую работу Ромм сослаться не мог, а соблазн был велик – успех гарантировал положение, награды и деньги. В конце мая ему вручили сценарий с распоряжением показать картину к 7 ноября: вместо обычных года-полтора – пять месяцев. На картину работал весь «Мосфильм». 3 ноября она была готова. Ромм и Каплер переплюнули даже Юткевича и Погодина – их «Человек с ружьем» вышел в том же году, но позже.

Картина Ромма не столько о Ленине, сколько о Сталине – ею началась киносталиниана, тема «великой дружбы», ставшая обязательной в историко-революционных фильмах. Ромм и Каплер приспособили историю к новым требованиям. Вместо исторического персонажа – связного Эйно Рахья, к тому времени посаженного, – появился собирательный образ русского рабочего Василия (Н. Охлопков). Он сидит на перилах крыльца, охраняя дом, где происходит историческое событие, о котором сообщают титры: «Четыре часа продолжалась беседа Ленина со Сталиным». На матовое стекло дверей ложатся их тени, идет неслышимый разговор. В другом эпизоде молодой Сталин в кителе сидит на первом плане в Смольном.

Сталин хотел возвеличить собственную ничтожную роль в октябрьском перевороте и принизить значение других исторических фигур и политических движений. Все, кроме большевиков, изображены предателями, двурушниками и изменниками. Фильм как бы подкреплял справедливость приговора, вынесенного незадолго до этого Каменеву, Зиновьеву и еще четырнадцати политическим противникам Сталина, приговоренным к смертной казни. Все деятели культуры обязаны были печатно называть их «кровавыми псами» и «агентами империа-

лизма», Ромм – рассказать с экрана об их «гнусном предательстве». Как известно, Каменева и Зиновьева обвиняли в том, что они напечатали в петроградской газете «Новая жизнь» письмо против готовящегося октябрьского переворота. В эпизоде заседания ЦК 10 октября, где было принято решение о вооруженном восстании, на общих планах в папиросном дыму различимы только лица Сталина, Свердлова, Дзержинского и Ленина, говорящего: «Я не вижу разницы между предложениями Троцкого и Каменева с Зиновьевым». Троцкий ко времени фильма уже был объявлен злейшим врагом советской власти и находился в эмиграции. Эйзенштейн в газетном отклике на картину писал: «Гнусное предательство Каменева и Зиновьева, заслуженно казненных пролетарским правосудием, взятое за нерв драматургического построения, не только на двадцать лет назад, но и на многие годы вперед раскрывает в предельной остроте подлость и историческую обреченность всех тех, кто идет в последний решительный бой против линии Ленина».

В фильме – дыхание 1937 года: доносы, слезка, коварство врагов. Злодейские планы убийства и списки большевиков, на которых будут совершены покушения, вынашивают и составляют эсер Рутковский и меньшевик Жуков. «А Урицкого забыли? – Э-эх!» – сокрушается Рутковский, просматривая список будущих жертв. Тот же Рутковский натаскивает филера, как выследить и арестовать Ленина, и вместе с Жуковым одобряет статью Каменева в «Новой жизни»*.

Первым зрителем был Сталин. Он сделал единственную поправку – заменил название «Восстание» на «Ленин в Октябре». И приказал показать фильм 7 ноября в Боль-

* Пока создатели картины придумывали, как половчее исказить историю, им дали понять, что за непослушание каждый из них может угодить в тюрьму: для острастки посадили актера Алексея Дикого, который должен был играть вожака питерских рабочих, его заменили В. Ваниным. Дикий пять лет работал в лагере на лесоповале и был освобожден в 1942 году по просьбе худрука вахтанговского театра, Р. Симона, уговорившего Микояна обратиться для этого к Сталину. Вернувшись, Дикий сыграл Сталина в фильмах «Третий удар» и «Сталинградская битва».

шом театре вместо традиционного праздничного концерта. Премьера закончилась в недоуменном молчании. Большой театр не был приспособлен для демонстрации картин. Над сценой натянули временный экран, на нем мелькали неясные тени, одна из которых говорила «под Ленина». Паузу прервал продолжитель его дела: он встал в своей ложе, которая раньше называлась царской, и заплодировал. Тогда все остальные заплодировали ему, хотя в титрах фильма не значились ни Сталин, ни исполнитель его роли Б. Гольдштаб.

На экраны картина вышла в день первых выборов в Верховный Совет СССР 12 декабря 1937 года. Шумяцкий приказал обеспечить ей всенародный успех: на фильм полагалось ходить целыми школами, заводскими цехами и колхозными бригадами, неся транспаранты с клятвами верности живому и мертвому вождям. Через несколько дней, раскрыв утреннюю газету, Ромм прочитал сообщение ТАСС о том, что фильм «Ленин в Октябре» снят с экрана для досъемки сцены «Взятие Зимнего дворца». Оказалось, режиссера забыли предупредить. Сосед Ромма по дому, режиссер Ю. Я. Райзман, рассказывал мне, что, когда он поздравил Ромма с орденом Ленина, тот спросил: «Как ты думаешь... теперь... не посадят?..»

Но в чем был Ромм теперь совершенно уверен, это в том, что ему разрешат постановку «Пиковой дамы». Он закончил сценарий, художник В. Каплуновский сделал эскизы, композитор С. Прокофьев писал музыку. Картина начиналась эпиграфом из Бальзака: «Рента – вот, что двигает сердцами в этом веке». По мысли Ромма, это было продолжение «Пышки» на новом материале. Он начал работу и снял 25 процентов материала. Любой кинематографист знает: это означает, что фильм готов на 90 процентов. Но работу неожиданно прекратили: Ромму приказали сделать следующий фильм по сценарию Каплера «Покушение на Ленина», вышедший на экраны в 1939 году под названием «Ленин в 1918 году».

Сценарий был еще в чернильнице, и Ромм, конечно, успел бы завершить «Пиковую даму», но Шумяцкого к этому времени арестовали, а на его место назначили чекиста С. С. Дукельского. Он был неумолим, приказал

в ожидании сценария прекратить съемки и думать только о будущем фильме и его героях. Даже в конце жизни Ромм говорил: «Это был удар». Десятки страниц его лекций студентам занимал разбор «Пиковой дамы».

Кафкой веет от «Ленина в 1918 году». Заговоры. Предательства. Пуля пробивает стекло возле головы Дзержинского. На фоне па-де-де из «Лебединого озера» Локкарт с «соучастниками» уточняет план захвата Кремля. «Правда» от 9 апреля 1939 года назвала картину «волнующей и поучительной» – вероятно, потому, что она разоблачала всех вождей революции, кроме Сталина и давно умерших. В заговоре на жизнь Ленина участвуют Троцкий, Бухарин, Зиновьев, Каменев, Пятаков. Главный враг – Бухарин, приговоренный в марте 1938 года к расстрелу по делу «антисоветского правотроцкистского блока» и обвиненный в заговоре с левыми эсерами с целью ареста и убийства Ленина, Сталина и Свердлова. В фильме он настаивает на террористическом акте социалки-революционерки Фанни Каплан, ранившей в 1918 году Ленина. Сергей Эйзенштейн восхищался и этой картиной: «Темные силы контрреволюции собираются в единый сгусток – в страшный облик Фанни Каплан. Ей вторит вся подлая орда врагов, от Бухарина до деревенского кулака, до явных и открыто действующих противников». Писатель Леонид Соболев говорил об «иезуите и лжеце, провокаторе и предателе, изменнике и убийце» Бухарине. Каплер объяснял метод создания ленинских картин: действие происходит «в строго исторических рамках», но «почти все конкретное наполнение было вымыслом».

Из исторических персонажей в первом фильме были Ленин, Дзержинский, Керенский, Родзянко. Во втором появились Ворошилов, Горький, Свердлов, Молотов, Каплан и Крупская. «Ленин в Октябре» Крупской не понравился, и она возражала против постановки второй картины, но с ее мнением не считались и, не спросив, сделали ее действующим лицом «Ленина в 1918 году»: она стоит рядом со Сталиным, а он рядом с Лениным. Ромм рассказывал, что по сценарию Ленин усаживает молодого и здорового Сталина в мягкое кресло, а сам садится рядом на стульчик. Ромм сказал Дукельскому, что сцену

стоит перестроить. Дукельский вынул из сейфа экземпляр сценария, на последней странице которого была начертана резолюция: «Очень хорошо. И. Сталин». Это была заключительная сцена, и, возможно, резолюция относилась именно к ней.

«Ленин в 1918 году» в большой степени является экранизацией очерка М. Горького «В. И. Ленин» (1924 – 1931). Но фильм еще лживее. Писатель вносил в очерк дополнения в соответствии с политической конъюнктурой своего времени, кинематографисты приспособляли его к политическим процессам 30-х годов. В 1924 году Горький писал: «В 17-18 годах мои отношения с Лениным были далеко не таковы, какими я хотел бы их видеть, но они не могли быть иными (...) С коммунистами я расходился по вопросу об оценке роли интеллигенции в русской революции, подготовленной именно этой интеллигенцией (...) Русская интеллигенция – научная и рабочая – была, остается и еще долго будет единственной ломовой лошадейю, запряженной в тяжкий воз истории России. Несмотря на все толчки и заблуждения, испытанные ею, разум народных масс все еще остается силой, требующей руководства извне». В 1931 году Горький дополняет очерк абзацем, оправдывающим «Процесс Промпартии» и «Шахтинское дело»: «Так думал я тринадцать лет тому назад и так – ошибался (...) После ряда фактов подлейшего вредительства со стороны части спецов я обязан был переоценить – и переоценил – мое отношение к работникам науки и техники. Такие переоценки кое-чего стоят, особенно на старости лет». В очерке Горький вкладывает в уста Ленина слова о том, что пуля в 1918 году попала ему «от интеллигенции». Фильм почти цитирует это место: «Вот мне и досталась от интеллигенции пуля». Но в фильме интонация и смысл этой фразы куда страшнее: в очерке Ленин говорит это смеясь и беззлобно, что Горький специально подчеркивает, а в картине – тоном приговора.

Фильм Ромма оправдывает методическое уничтожение интеллигенции – ученых, литераторов, людей свободных профессий, не говоря уже об офицерах и «буржуях». В одной из сцен Горький пытается защитить арестован-

ного профессора: «Это человек науки и только». – «Нет, нет, нет, – отвечает Ленин. – Алексей Максимович, таких нет». И в другом месте: «Алексей Максимович, дорогой мой Горький! Необыкновенный, большой человек! Вы опутаны цепями жалости. Это в такой острый момент борьбы! Отбросьте эту жалость прочь!! Она застилает слезами ваши глаза, и они просто начинают хуже видеть правду!!!» Это тоже парафраз горьковского очерка, где Ленин говорит: «Возможна ли гуманность в такой небывало свирепой драке? Где тут место мягкосердечию и великодушию?» В очерке Ленин говорит о «жестокости революционной тактики и быта». В фильме: «Вынужденная условиями жестокость нашей жизни будет понята и оправдана. Все будет понята, все!»

В одной своей статье Ромм писал: «Любое историческое произведение есть рассказ о двух временах: времени, о котором ведется повествование, и времени, в каком создано произведение». По отношению к фильму эти слова звучат страшной иронией: вовсе он не о Ленине, а о Сталине двадцать лет спустя. Даже идею сталинской расправы с крестьянством фильм приписывает Ленину: «Пока вы – кулаки – еще существуете, хлеб вы будете отдавать. Не отдадите – возьмем силой. Да, да, да! А пойдете войной – уничтожим! Вот вам и вся правда. Настоящая рабоче-крестьянская правда».

Может быть, не стоило бы так подробно писать о серой и лживой картине, если бы не два обстоятельства. Первое – беспомощную «кинолениану» создавал не ремесленник, а изящный, ироничный и умный постановщик «Пышки», режиссер, тонко чувствующий пластическую природу кинозрелища. Второе обстоятельство – в том, что эти фильмы продолжают регулярно демонстрировать. Хотя новейшая советская официальная история больше не называет Зиновьева, Каменева, Рыкова или Бухарина предателями, на судьбе фильмов Ромма это не отразилось: они нужны режиму, потому что оправдывают террор.

В 1955 году Ромм вырезал из картины 800 метров – сцены со Сталиным. История искусства знает случаи, когда художник уничтожал свои творения, но, кажется,

никто не делал это с такой радостью и гордостью – Ромм знал, что уничтожает позорный документ. Впрочем, это мало что убавило и ничего не прибавило – стилистика и идея не изменились, а чисто ленинские сцены ничем не отличаются от ленинско-сталинских.

Как воспринимает эти картины сегодняшний зритель? С юмором: из «революционных драм» время сделало их – эксцентрическими комедиями. Манера игры Б. В. Щукина вызывает дружный смех. Искусство этого вахтанговского актера близко к народной буффонаде, к гротеску. Его слава началась с Тартальи в «Принцессе Турандот». Он играл Ленина в спектакле «Человек с ружьем» на сцене вахтанговского театра и должен был повторить эпизоды пьесы на экране в картине С. Юткевича. Ромм, первым запустивший фильм о Ленине, перехватил актера. Юткевичу пришлось пригласить на роль Ленина М. Штрауха, сыгравшего персонажа статуарного и озабоченного. Щукин рано умер, и впоследствии – в «Выборгской стороне» Козинцева и Трауберга, «Якове Свердлов», «Рассказах о Ленине» и «Ленине в Польше» Юткевича – эту роль исполнял Штраух. Сегодня все эти картины успешно отвечают потребностям новых поколений зрителей в освобождающем смехе. Досмотреть их до конца можно, лишь настроившись на комедию, – фарсовость персонажей и нелепость ситуаций как будто нарочно придуманы авторами, чтобы насмешить. Самый комичный в киноклоунаде – главный герой, то засовывающий пальцы обеих рук за проймы жилета, то изрекающий сентенции из ходячих анекдотов. Между прочим, именно по этой причине против Щукина возражала Крупская, но Сталину он понравился. Не случайно при нем так часто цитировался очерк Горького о Ленине, где тот «стоит фертом»: «Он нередко принимал странную и немного комическую позу – закинет голову назад и, наклонив ее к плечу, сунет пальцы рук куда-то подмышки, за жилет». Материалом для множества анекдотов о Ленине, означавших всенародное развенчание навязанного кумира, послужила именно роммовско-щукинская трактовка образа. Поэтому сегодняшние зрители начинают смеяться с первого появления Ленина – в кадре картавит,

жестикулирует и «стоит фертом» известный персонаж фольклора – анекдотов о вожде революции Владимире Ильиче. Но роммовские картины не только эксцентрические комедии – они и фильмы ужасов. Дрожь пробивает, когда сестра охранника Ленина, Василия, читает вслух письмо из деревни о том, что у помещика землю отобрали, а его порешили, а Ленин, поставив ногу на табурет, заключает: «И правильно сделали, батенька...»

Ю. Елагин, в изданной на Западе книге «Укрощение искусств», рассказывает любопытный случай. В день, когда политбюро смотрело в Кремле «Ленина в Октябре» и Щукин понравился Сталину, председатель Комитета по делам искусств П. Керженцев, не зная об этом, смотрел в вахтанговском театре спектакль «Человек с ружьем» – с тем же Щукиным в главной роли. Керженцеву спектакль не понравился, и он раскритиковал Щукина: «Ну, что ж, народный артист Союза... Не сыграли Ленина-то». Щукин, узнав мнение Сталина, пожаловался на Керженцева Молотову. Тот доложил Сталину. В итоге – Керженцева и других руководителей Комитета сняли с работы, некоторых из них арестовали.

После этих картин Ромм занял одно из ведущих мест в советской кинематографии, а Сталин с тех пор лично следил за тем, что он делает. Ленинские фильмы стали и спасением, и проклятием Ромма – сделали его недоступным для погромщиков и отняли надежду на постановку «Пиковой дамы», завершить которую он так и не смог. За государственное признание приходилось платить слишком высокую цену. От третьей ленинской картины его спасла только смерть Щукина.

Ромм взялся за комедию «Суворов» по сценарию Г. Гребнера. Писался он для В. Пудовкина, но пришедший на смену Шумяцкому Дукельский начал с полной перетасовки режиссерских карт, и «Суворов» достался Ромму. Он надеялся уговорить Дукельского разрешить поставить героическую комедию. Мысль режиссера состояла в том, что выдающийся стратег не мог правдиво изложить свои военные концепции ни Екатерине II, ни Павлу I, ни Потёмкину – он был бы немедленно устранен. Поэтому Суворов и прикидывался дурачком. Екатерина

про него говорила: воевать он не умеет, но ему везет. Ромм хотел поставить фильм в жанре исторического анекдота: судьба и личность вынужденного прикидываться дурачком великого полководца. Но когда Ромм совсем уже было втянулся в работу, пришло указание главным тематическим направлением кино сделать патриотическую тему, и фигура Суворова была поднята на щит: комедия отменялась. А тут еще посадили Дукельского, и новый руководитель кинематографии И. Г. Большаков вернул «Суворова» В. Пудовкину, сказав, что комедийный жанр для такой темы не годится.

Ромм остался если не без работы, то без картины. Осенью 1939 года его, вместе с писателем В. Катаевым, оператором М. Кауфманом, сценаристом А. Каплером, включили в состав фронтовой киногруппы, чтобы фиксировать на пленку «героический поход Красной Армии», делившей Польшу с вермахтом. В Белостоке Ромм встретился со сценаристом Е. Габриловичем, был с ним в Гродно, Бресте, Вильно. Польско-еврейские задворки поразили их – своеобразным колоритом, особыми отношениями между людьми, там они и увидели «комнаты с пансионом», которые в сценарии стали пансионом «Мечта», а действие авторы перенесли во Львов, вероятно, из соображений съемочных удобств.

Ромму давалось ироническое искусство, которое он рассматривал как ключ к драме. Таким фильмом была «Пышка». Он надеялся вернуться к этому в «Пиковой даме» и «Суворова». И сумел сделать это в «Мечте». Отношение к материалу здесь – ироническое и любовное: Ромм и Габрилович встретились с нетронутым советской властью миром их детства – субботних свечей и ермолок, языка идиш и осенних праздников. Едва окрашенное иронией, щемящее ностальгическое чувство пронизывает картину.

Герои «Пышки» были единым многоплановым существом и отличались друг от друга только внешними характеристиками. В «Мечте» у каждого персонажа своя сложная судьба, не только своя манера поведения, но и свой характер, свой образ мышления. Тема картины удивительно совпала с индивидуальностями актеров. Астангов,

игравший роль захолустного жалкого павлина – пана Станислава Комаровского, до революции жил в Польше, где служил его отец. Ада Войчик, с необыкновенной человеческой теплотой сыгравшая трудную роль профессиональной невесты, – полька. Р. Плятт – извозчик Янек – поляк. Роль хозяйки номеров Розы Скороход исполнила Ф. Раневская, создав один из величайших образов мирового кинематографа – характер противоречивый и художественно цельный, в котором соединились доброта и грубость, жестокость и жалость, мелочность и мудрость. Раневская демонстрирует виртуозную смену настроений, контрасты интонаций, постоянную иронию, скрывающую непреходящую душевную боль.

«Мечта» задумывалась как отклик на политическую злобу дня: присоединение Западной Украины к СССР. Заодно оправдывалось присоединение Прибалтики, Молдавии и Западной Белоруссии. В прежних книгах и пьесах – «Тресте Д. Е.» И. Эренбурга, «Учителе Бубусе» А. Файко – Красная Армия-освободительница появлялась как символ, как авторское пожелание. В «Мечте» – впервые как реальность. Служанка хозяйки «Мечты», деревенская девушка Ганка, уходит по шпалам в Советский Союз, возвращается с Красной Армией и становится властью в родном городе. Но пропагандистский сюжет выглядел в фильме довеском. Забываются и бутафорская Ганка, и рабочий Томаш, за которым гонится полиция, и сын хозяйки пансиона инженер Лазарь Скороход, пытавшийся вместе с Ганкой уйти в СССР. Незабвенны персонажи, которым Ромм сочувствовал, сострадал, незабвенна грусть, которую не может скрыть ироническая манера автора, незабвенна всечеловеческая трагедия Розы Скороход, не сумевшей привить сыну свое отношение к жизненным ценностям.

«Мечта» время от времени тоже показывается и в кино, и по телевидению. Как мог один художник сделать и «Мечту», и «Ленина в Октябре»? Н. Я. Мандельштам пишет: «Основная разница между двумя видами людей, утративших свое «я», заключается в том, что одни, индивидуалисты, отказались от всех ценностей, – а личность осуществляется только как хранитель ценностей, – дру-

гие, оцепеневшие, заглушили в себе всё личное, но сохранили хоть каплю внутренней свободы и какие-то ценности». В «Мечте» Ромм стряхнул с себя оцепенение. Он рассказывал: увиденное в западных областях «близко и больно поразило меня». В фильме агитка уступила место живым чувствам, человечности, на экране вновь появились давно изгнанные из кино страдание, нежность, тоска.

Перед повторным прокатом картины в конце пятидесятых годов Ромм вырезал финал, в котором инженер Лазарь Скороход шел по огромному заводскому цеху к осуществленной мечте – портрету Сталина. Поправка конъюнктурная, но не больно важная, потому что картина не об этом. По системе взаимоотношений героев она опередила итальянский неореализм, который в 1939 году еще не существовал, – не искусственной и условной изобразительной стороной, а правдой быта и характеров. Может быть, если бы картина был снята проще, в естественных интерьерах, если бы в ней не было лживой политической тенденции, «Мечта» предвосхитила бы шедевры Росселини и других итальянских неореалистов. Она стала второй вершиной творчества Ромма.

Последний день перезаписи звука попал в ночь с субботы 21 на воскресенье 22 июня 1941 года. Первый экземпляр картины был готов, когда немцы уже вошли в Минск, приближались к Киеву и Риге. Картина в прокат не вышла. Несколько экземпляров попали в Войско Польское, где крутились до дыр. Потом картина стала изредка появляться на экранах. И жизнь ее оказалась долгой. Искренняя и пронзительная интонация фильма, его боль привлекают всё новые поколения зрителей. Но в официальной советской истории кино эта картина не нашла своей рубрики – ни историко-революционная, ни колхозная, ни производственная, ни военная: в «Очерках истории советского кино», выпущенных Институтом истории искусств, она просто не упоминается.

Войну Ромм встретил знаменитым, официально признанным режиссером. Его назначили заместителем председателя Комитета по кинематографии, то есть заместителем министра. Поручили эвакуацию киностудий в

Среднюю Азию и создание ЦОКС – Центральной объединенной киностудии. Он отвечал за производство художественных лент, воспевающих «целеустремленную волю руководства» и «бессмертный порыв масс». Фильмы призывали к ненависти и уверяли в готовности каждого советского человека умереть за родину и Сталина. Сам Ромм с 1942 года – сначала в Ташкенте, а потом в Москве – ставил спектакли в Театре киноактера и в конце войны снял картину «Человек № 217», смысл которой не выходил за рамки призыва К. Симонова в стихотворении «Убей его»: «сколько раз увидишь его, столько раз его и убей». Увезенная в Германию русская девушка Таня, ставшая батрачкой, говорит: «Они все палачи». С кухонным ножом в руке она пробирается в спальню хозяина, виден короткий взмах руки и слышен предсмертный хрип за кадром. Ромм так же стандартно откликнулся на войну, как и все советское кино, даже не дотронувшись до реальных конфликтов времени.

Фильмы тех лет не показали главного: война сплотила людей, изменила их, породила надежды. Страх перед тем, что война вынесет на поверхность освобожденную мысль, заставили партию и КГБ мертвой хваткой навести порядок в «идеологии». Написанный Роммом сценарий комедийно-фантастического киноромана отвергли: начиналась холодная война. Снова появились фальшивки о разлагающемся Западе – вечная тема советского искусства, начатая И. Эренбургом, А. Файко, С. Третьяковым. Теперь ее знаменосцем стала пьеса К. Симонова «Русский вопрос». Герой – американский журналист Смит, вернувшийся из СССР и отказавшийся писать «клевветническую» книжку о первой в мире стране социализма, из-за чего потерял положение, а потом жену. Спектакли по этой пьесе обязали ставить все театры, а экранизировать ее – поручили Ромму. Это было в 1947 году. Бешеная антизападная агитация продолжилась и в следующем фильме Ромма – «Секретная миссия» (1950): коварные американцы за спиной советских союзников договариваются с Гитлером. Ромм продолжил традиционные в советском кино «фильмы ненависти», в которых менялся только враг: в двадцатые годы врагами были белые и

Антанта, в тридцатые – кулаки, оппозиционеры, вредители и шпионы, в сороковые – немцы, в пятидесятые – американцы.

Всего несколько кинорежиссеров ставили фильмы в последние годы жизни Сталина. Среди них был Ромм. В 1951 году министр кинематографии передал ему распоряжение снимать картину «Адмирал Ушаков» (по пьесе А. Штейна): «Это указание сверху». Ромм ответил, что подумает. «Можете думать, – согласился Большаков, – но решение уже принято». И Ромм поехал на студию примерять на актерах парики и камзолы. Двухсерийный «морской» боевик сделан по шаблону «исторических» лент того времени: всезнающий герой и безликая масса. Лишенный своеобразия характера Ушаков, смени он костюм и грим, мог бы переключаться в фильмы об адмирале Нахимове, фельдмаршале Кутузове, генералиссимусе Сталине.

В разгар съемок появилась еще одна опасность: Ромму предложили во второй раз – после Эйзенштейна – поставить «Александра Невского». Сталин приказал снять в цвете любимые им фильмы – «Невского», «Ивана Грозного», «Суворова», «Петра Первого», а кроме того «Дмитрия Донского», «Кутузова и Наполеона» и «Ломоносова». На «Ивана Грозного» назначили Пырьева, на «Петра Первого» – Пудовкина, на «Дмитрия Донского» – Петрова. Отказ Ромма не приняли, и он написал письмо Сталину: сославшись на постановление ЦК о фильме «Большая жизнь», где обвиняли и Эйзенштейна – в плохом знании эпохи «Ивана Грозного», объяснил, что знает русскую историю только с XVIII века. Сталин счел причину уважительной, распорядился найти на «Александра Невского» другого постановщика и добавил: «Если он знает русскую историю начиная с XVIII века, пусть ставит „Кутузова и Наполеона“». От очередной сталинской премии Ромма спасла смерть диктатора.

В 1962 году, в лекции на Высших сценарных курсах, Ромм говорил: «Надо было как бы начать жизнь сызнова (...) Когда режиссер вынужден ставить картины не так, как он хотел бы их ставить, когда его за это хвалят, прославляют в сотнях рецензий, награждают и т. д., то это

наносит художнику такой же вред, какой приносил культ личности тем, кто был зачислен в космополиты и на долгое время был лишен права на творчество (...) Наше поколение расплачивается за слишком большие почести, которые они снискали при Сталине, когда ставилось всего восемь-двенадцать картин в год, а два десятка режиссеров были единственными хранителями традиций». Ромм говорил о режиссерах, переставших замечать ложь и приспособленчество. Такого признания не сделал никто из его коллег.

Ромм поставил одиннадцать игровых картин. Между «Мечтой» и «Человеком № 217» прошло четыре года. Еще через три – вышел «Русский вопрос», через два года после этого – «Секретная миссия». Ромм говорил студентам, что фактически его творческий простой длился гораздо дольше, если вспомнить, сколько лет он отдал казенным, «заказным», парадным картинам. «Осуществить намерения, с которыми я пришел в кинематограф, намерение говорить о моем современнике стало почти невозможным в те годы. Особенно для меня, потому что мои художнические убеждения протестовали против лакировки, против пресловутой бесконфликтности, против ведомственных канонов (...) Даже в мечтах нельзя было поднять сколько-нибудь острую трагическую тему». Этим Ромм объяснял свой уход в зарубежную тематику: действие «Пышки» происходит во Франции, «Мечты» – в польском захолустье, «Русского вопроса» – в США, «Человека № 217» и «Секретной миссии» – в Германии, «Адмирала Ушакова» – в прошлом веке. Это был, сказал Ромм, «своеобразный маневр, при котором я стремился сохранить те убеждения, которыми я жил и живу до сих пор».

«В 60 лет не так-то легко переделывать себя», – сказал Ромм. Он попытался это сделать – и потерпел поражение. Картина «Убийство на улице Данте» (1956) оказалась ремесленной работой невысокого класса. Старомодное скучное зрелище из эпохи французского Сопротивления рассказывало о жалком и безвольном Шарле, который, боясь разоблачений в коллаборационизме, убил свою мать. Фильм не приняли даже ученики Ромма во ВГИКе.

Между «Убийством на улице Данте» и следующей картиной – «Девять дней одного года» (1962) – прошло шесть лет, в течение которых Ромм не ставил фильмы, перестал читать лекции, писать статьи. Молчание Ромма шло от острого ощущения вреда, который принесло ему то, что он делал все эти годы, от сознания своей творческой отсталости – кино ушло вперед, появились новаторские ленты М. Хуциева и прекрасные картины учеников Ромма – А. Тарковского, А. Михалкова-Кончаловского, Г. Данелии, В. Шукшина, И. Таланкина, А. Митты. Ромм хотел перешагнуть через собственные навыки, через эстетические представления своего поколения – и спрашивал: «Можно ли уйти от своих привычек, содрать с себя шкуру навыков, переделать самого себя и снова родиться на свет?»

Он попробовал вместе с Е. Габриловичем написать сценарий фильма «Ночь размышлений» – старый человек в бессоннице вспоминает свою жизнь. Дело не пошло. Ромм решил, что выйти на «главную дорогу» ему поможет сценарий Д. Храбровицкого «Девять дней одного года»: «купился» на модную тему – человек и наука, физики-атомники, жизнь современного исследовательского института, умирающий от облучения герой. Для советского кино это выглядело ново и непривычно, но это была внешняя новизна. История ученого-экспериментатора, погибающего от профессиональной болезни, давно стала ходячей. Содружество с Храбровицким – ловким ремесленником – не принесло желаемых плодов. В картине – необычный для советского кино тех лет монтажный строй, выразительные и пластичные кадры; она привлекала тончайшим актерским даром И. Смоктуновского, органичностью экранного существования А. Баталова, но истинные конфликты и проблемы жизни остались за бортом, она демонстрировала приметы времени, а не его образ. Успех оказался коротким. В период хрущевских послаблений появились произведения искусства, в сравнении с которыми «Девять дней одного года» выглядели банальными.

Настоящую популярность принесли Ромму его устные выступления – яростный спорщик, наивно веривший

в силу публичных речей, он вызвал гнев «наверху», и «Октябрь» (1962, № 11) объявил о «наносном, ущербном, псевдоноваторском, что идет от теоретических взглядов М. Ромма». После выступления на дискуссии в Доме актера последовало наказание – Ромма сняли с должности одного из секретарей Союза кинематографистов.

Работая над «Девятью днями одного года» Ромм стал искать жанр, в котором его собственные размышления соединились бы с интересным материалом. Тогда-то и подвернулась заявка критиков М. Туровской и Ю. Ханютина на документальную ленту «Обыкновенный фашизм» – заявка находилась в III-м мосфильмовском творческом объединении («Товарищ»), которым Ромм руководил. Первоначальный замысел заключался в том, чтобы показать, как и почему в середине XX века возник немецкий фашизм. Тему раскрывал самоигральный материал – хронологически выстроенные и подчиненные общему замыслу фрагменты кинохроники времен гитлеризма. В Госкино и ЦК КПСС тема возражений не вызвала: в СССР всегда можно говорить о гитлеровском фашизме, о его разгроме советской армией и о возрождении реваншизма в Западной Германии. Но Ромм решил пойти дальше – попытаться осмыслить фашизм как характерное явление эпохи. Сначала он не предполагал делать фильм о тоталитаризме вообще, о любом современном режиме, суть которого – подавление личности: это получилось само собой во время работы, фильм рождался на монтажном столе, и материал изменил первоначальный замысел.

Я познакомился с Роммом в первые дни работы над картиной – пришел брать интервью для журнала «Советский экран». Ромм пригласил на студию смотреть архивную хронику. С тех пор на протяжении двух лет я десятки раз сидел в маленьком просмотровом зале, слышал замечания Ромма, смотрел материал и наблюдал принцип его отбора. Сложившийся произвольно, этот принцип изменил направление и смысл картины. Ромм поразился схожести проявлений, целей и последствий фашизма и коммунизма. Общей системе обмана, нетерпимости, попрания прав, уничтожения несогласных. Общности

искусства, помогающего оглуплять людей и держать их в повиновении. Схожести главарей – чванливых, самодовольных, лицемерных. Он почувствовал, что сможет сделать то, что не удалось в «Девяти днях одного года» – осмыслить главную проблему времени.

Партаппаратчиков испугала сама идея авторских замыслов, предварительно не согласованных и не санкционированных. Ханютин заявил, что снимает с себя ответственность. Ромм успокоил начальство, показав несколько готовых кусков: словесным комментарием он подчеркивал германскую конкретность каждого кадра. Это спасало от открытых придинок, но не снижало эффекта: недосказанное автором додумывал зритель. Ромм отказался от многих кадров, запечатлевших жестокость нацистов, он не хотел, чтобы они отвлекали от основной идеи – механики социального обмана: режим может быть и не таким жестоким, а методика оболванивания – та же. В интервью для «Советского экрана» он сказал: «Мы рассчитываем, что зритель будет думать во все время демонстрации картины и сам договаривать то, что не удастся сказать нам». Зрителю оставалось сделать одно усилие: подставить вместо слова Германия – СССР, и он это сделал. Еще когда в просмотровом зале отбирался материал, началось паломничество студийных работников, – а на «Мосфильме» четыре тысячи сотрудников, – и Ромм распорядился посторонних не пускать.

Хроникальные кадры нацистского рейха поразительным образом напоминают советское документальное кино. Это и облегчило работу, и затруднило ее, потому что похожи они прежде всего своим однообразием. Бесконечные церемонии, во время которых народ чествует вождей, иллюстрации к визитам всевозможных деятелей, митинги, съезды, военные парады. Советская хроника не показывает обычную московскую или краснодарскую улицу, если по ней не идут демонстранты или не открыта мемориальная доска. В двух миллионах метров архивной немецкой хроники не было ни одного кадра обычной берлинской улицы, если только по ней не проезжал Гитлер или не устраивался парад. В советской хронике невозможно увидеть просто людей – снимаются

счастливые строители передового общества. В нацистской – лица рабочих удалось найти только в «культурфильмовском» сюжете о производстве пушек. Боевые действия и в советской, и в немецкой хронике фальсифицированы. И та, и другая заполнены флагами и почти одинаковыми монументами. Совпадают лозунги. На сотнях островов архипелага ГУЛаг висело сталинское изречение: «Труд есть дело чести, дело славы, дело доблести и геройства». Ромм показал в фильме надпись на воротах Освенцима: «Труд делает свободным».

Каждое выступление Гитлера или Геббельса в берлинском «Спортпаласе» снималось с заранее установленных точек несколькими камерами. Поэтому совершенно одинаково выглядят на экране съемки 1939, 1943 и весны 1945 годов: выступающий Геббельс, лица президиума, общий план зала, простертые руки и крики «Зиг хайль!» Точно так же снимаются съезды КПСС: выступающий Сталин (Маленков, Хрущев, Брежнев, Андропов, Черненко, Горбачев), лица президиума, общий план зала, бурные аплодисменты и крики «Ура!» Те же вульгарные лозунги, тот же культ силы, та же самодовольная тушость, та же смертельная скука.

И германская, и советская хроники смягчают сердца зрителей кадрами детей: немецкие – держат флажки со свастикой и поют о Гитлере, советские – флажки с серпом и молотом и поют о Ленине и Сталине. Ошеломляющее впечатление производила такая сцена – на стадионе телами ста тысяч детей написано: «Партия наш рулевой». Затем дети встают и произносят: «Клянемся! Клянемся! Клянемся!»

Самые поразительные эпизоды «Обыкновенного фашизма» – показывающие искусство тоталитарного режима. Убогость и мертвенность социалистического реализма становились очевиднее, когда зрители видели скульптуры, картины и произведения архитектуры гитлеровской эпохи. Проект грандиозного памятника немецкому воину-победителю напоминал многометровую скульптуру работы Вучетича на Мамаевом кургане в Сталинграде. Эта часть фильма всегда вызывала смех. Г. Свирский вспоминает: «Она демонстрировалась под

нервный смех зрителей... За Гитлером, обходившим картинные галереи, где фюрер красовался во всех позах с вытянутой рукой пророка анфас и в профиль, зрителю виделись свои доморощенные фюреры – и Сталин, и Хрущев, только что отбушевавший в Москве на художественной выставке... Никогда еще российский «социализм» не был представлен столь талантливо и зримо – зримо для миллионов! – родным братом гитлеризма».

Ромм сумел передать двусмысленность почти каждого кадра: вместо обычного и привычного кинофашизма возник образ тоталитаризма вообще. Фильм заставил задуматься над тем, что фашизм может продолжаться и в другой форме, в ином обличье – уничтожение гитлеризма укрепило советскую модификацию тоталитаризма. Впервые в советском кино картина, построенная на историческом материале, получила жизненное измерение, стала способом постижения действительности.

Произошло небывалое: хотя и с поправками, и с купюрами, картина вышла на экраны – на «Мосфильме» и в Госкино никто не решился вслух сказать то, что думал про себя. Кроме всего прочего, это означало бы признать себя как бы соучастником антисоветской картины. Вышла она не сразу – ЦК не давал разрешения, и картина несколько месяцев висела в воздухе – не запрещалась и не тиражировалась. Летом 1965 года Ромм попросил напечатать интервью о картине с такой фразой: «Один ответственный товарищ сказал, что картина чересчур нагружена мыслью. По его мнению, роль кинематографа в воспитательной работе с молодежью должна быть прежде всего связана с эмоциональной сферой: побольше чувства, энтузиазма, патетики. Ну, а уж если человек захочет размышлять, то для этого есть книжная полка: читай и размышляй». Оказалось, что тогдашний секретарь ЦК ВЛКСМ по идеологии А. Камшалов (ныне заведующий сектором кино Отдела культуры ЦК КПСС) собрал совещание, на котором предупредил, что не Ромму учить советскую молодежь, как и о чем она должна думать. Она не нуждается в «умниках». Если она захочет размышлять, то вот, пожалуйста, – и он показал широким жестом на

застекленные книжные шкафы, в которых блестели коричневыми корешками тома полного собрания сочинений Ленина: «Пусть читают и думают». Ромму рассказал об этом присутствовавший на совещании режиссер Чухрай.

В сталинские времена судьба картины и ее автора зависела от одного человека. В послесталинские – решает «аппарат» и могут возникнуть разночтения. Один из аспектов картины, один из ее компромиссов заключался в противопоставлении «хорошей» ГДР «плохой» ФРГ, где возрождается реваншизм. Международному отделу ЦК, как раз тогда проводившему кампанию по обвинению Западной Германии в «реваншизме», этот аспект пришелся кстати. А тут еще выяснилось, что нет другой картины, которую можно было бы послать на международный фестиваль документальных фильмов в Лейпциг, проходивший по случаю 20-летия разгрома фашизма. Само по себе это еще не гарантировало советский прокат – «Андрея Рублева» показали на родине через пять лет после премьеры и приза в Канне, – но давало надежды. В Лейпциге «Обыкновенный фашизм» получил высший приз, международную прессу, отрывки пошли по телевизионным кабелям в мировые столицы. «Совэкспортфильм» получил заманчивые предложения о валютных сделках. К фильму решили не придирааться и, кое-что убрав и перетонировав, выпустить на экраны.

Когда после первого года проката подвели итоги, оказалось – каждую из двух серий фильма посмотрело по 25 миллионов зрителей. Случай небывалый в мировом кино. Документальные ленты вообще редко получают коммерческий прокат – они не приносят сборов. В крайнем случае, их делают короткими – 20-30 минут. А тут две серии, по полтора часа каждая, привлекли публики побольше, чем комедия или детектив.

Властям оставалось сделать хорошую мину: «Обыкновенный фашизм» объявили победой советского кино. Для Ромма он означал – конец карьеры: ему перестали доверять. Визиты к номенклатурным чинам не помогли. Была бы его воля, он сделал бы фильм именно о них. Однажды, фантазируя, сказал, что главным героем выбирает

А. Караганова – мелкого администратора, ставшего секретарем Союза кинематографистов. На примере кино, сказал Ромм, где такая же атмосфера чиновничества, титулов, привилегий, слезки, доносов, блата, как и в любом учреждении, от домоуправления до ЦК КПСС, можно рассказать о структуре власти и о власти предрешающих. В сложном механизме подавления, где на разных ступенях стоят секретари, председатели, зав. отделами, зав. секторами, министры, инструкторы, уполномоченные, дворники, конвоиры, он приравнял Караганова к должности надзирателя над кино: передает кинематографистам полученные в ЦК указания, точно знает и сообщает, что можно, а чего нельзя, следит за выполнением и докладывает о непослушных. В гипотетическом фильме это должен был быть персонаж, начисто лишенный любви к искусству и чувства художественного, но судящий об авторах, жанрах, стиле, темах. Не знаю, почему именно Караганов стал для Ромма персонифицированной советской бюрократией. Может быть, потому что он образованнее других. А может быть, вот почему. Ромм отказался поставить свою подпись под коллективным письмом советских кинематографистов чехословацким коллегам с осуждением Пражской весны и лег в больницу, надеясь, что письмо тем временем уйдет. Караганов приехал к нему в загородную больницу и вернулся с подписью.

После «Обыкновенного фашизма» Ромм решил поставить серию документальных фильмов под названием «Мир сегодня» – в той же стилистике, но на новом материале: авторский комментарий к кадрам, пластически выражающим стоящие перед человечеством проблемы. Индустрия развлечений и индустрия преступлений, демографический взрыв, истребление естественных ресурсов планеты, отравление воздуха в городах, проблемы «Третьего мира», массовый психоз, моды и чрезвычайные происшествия, разрушение моральных норм, живые боги и миллионная толпа, потерявшая способность мыслить, тотальная организованная обработка человеческого сознания... Ромм сказал в интервью, что фильм должен вызывать ощущение тревоги и надежды

(«Тревога и надежда» – название программной статьи А. Д. Сахарова).

Заявка Ромма месяцами путешествовала по кабинетам, обсуждалась, возвращалась, доделывалась, согласовывалась, на словах одобрялась, но не утверждалась. Чиновники больше не доверяли ему. Они боялись, что кадры многотысячной толпы, орущей от восторга на пекинской площади, напомнят зрителям Красную площадь во время демонстраций, что зрители начнут примерять к советской действительности кинорассказ о контрасте между бедностью населения и непомерной военной мощью, заметят, что отравление воды в Миссисипи не идет ни в какое сравнение с трагедией Байкала, Дона, Волги, Днепра, Днестра, а кривая пьянства и преступлений нигде не стремится вверх так быстро, как в СССР...

Ромм решил вернуть себе расположение властей возвращением к ленинской теме. Это помогло ему в 1949 году: между «Русским вопросом» и «Секретной миссией» он смонтировал документальную ленту «Владимир Ильич Ленин» из сохранившихся кадров хроники. Теперь он предложил картину о первых попытках создать образ Ленина, сделанных художниками, скульпторами, писателями, кинематографистами: Джон Рид, Горький, Маяковский, Эйзенштейн, художники Шафран, Альтман, Добужинский, скульптор Андреев. Отказать Ромму не могли – приближалось столетие со дня рождения вождя. К картине «Первые страницы» Ромм привлек молодых режиссеров С. Линкова и К. Осина. Я видел ее на «Мосфильме» – фильм не разрешили показать даже на общественном просмотре в Доме кино. Хроника, фрагменты художественных картин, интервью с Каплером, Александровым, Юткевичем, Козинцевым. Ромм рассказывает о посещении Крупской. Все чинно, солидно, благопристойно. Но не приняло фильм начальство из-за самой идеи постепенного накопления материала к образу Ленина. Это означало, что утвержденная икона всего лишь плод человеческой фантазии, и ей не обязательно поклоняться: и внутренний, и внешний облик персонажа могли быть совсем иными. «Разные точки зрения» в пони-

мании образа Ленина, на которых настаивал Ромм, давали зрителям пищу для размышлений.

В фильме показано искусство двадцатых годов, выглядящее в семидесятом недопустимо вольным: модернистские памятники, театрализованные шествия, «живые газеты», «Синяя блуза», «массовые действия», агиттеатры, искусство В. Мейерхольда, С. Радлова, К. Марджанова, Н. Альтмана, уехавших в эмиграцию Н. Евреинова, Ю. Анненкова, А. Кугеля. А смонтированные рядом с ними куски из художественных лент Ромма, Юткевича, Козинцева вызывали нестерпимое ощущение фальши, несовпадения. Новым подходом Ромм перечеркивал и собственную лениниану. Получился фильм о деградации искусства. Иные кадры оказались просто нецензурными: Ленин отказывается подписать рисунок Бродского, потому что он непохож на оригинал, но все настаивают, и он уступает – вождь подписывает то, с чем не согласен...

За полгода до смерти Ромму позволили монтировать первую часть «Мира сегодня» – фильм о Мао и Китае «Великая трагедия». Он успел озвучить самое начало. Режиссеры Э. Климов и М. Хуциев закончили монтаж этой части. В ней есть виртуозно разработанные сцены, ирония и сарказм, гнев и – страх автора перед тем, что картину не выпустят: она абсолютно «проходима», большого интереса не вызвала и событием не стала. Власть снова превратила поэта в чиновника.

Н. Я. Мандельштам замечает: «...Людей, работавших в искусстве, полное отрицание существующего приводило к молчанию; полное признание губительно сказывалось на работе, делало ее ничтожной, и плодотворны были только сомнения, которые, к сожалению, преследовались властями». Ромм прошел путь от признания к сомнениям. И в выступлениях, и в «Обыкновенном фашизме» он сказал свое слово. Ромм не был диссидентом в нынешнем понимании этого слова, но не скрывал своего инакомыслия. Он не переступил «черту личной безопасности», но оказался самым честным из всех кинематогра-

фистов своего поколения. Орвелловское двоемыслие – характерная черта советского интеллигента – стала его подлинной трагедией, болью, которую не выдержало сердце. Ромм умер 1 ноября 1971 года, и врачи, производившие вскрытие, сказали, что редко встречали сердце с таким количеством рубцов.



Забытая годовщина

Говорят, что признание – величина векторная от времени. Оценка вклада в науку, искусство, культуру редко остается постоянной, но чаще всего меняется на протяжении нескольких поколений. Имена, с благоговением проносимые отцами, почти забываются детьми; известно и противоположное – вдруг из глубин забвенья выплывают великие художники, гиганты мысли. Но я хочу рассказать о случае, быть может, уникальном, когда кривая признания человека проделала поразительный зигзаг от полуобожествления до почти полного забвения за каких-нибудь 5-10 лет, и что удивительно – не в результате переоценки его достижений общественным мнением, коллегами, но исключительно под давлением сверху. «Что же тут удивительного? – возразит мне читатель. – Разве такая редкость в нашей стране, что имя какого-нибудь политического деятеля уже через несколько дней после смерти становится непечатаемым и непроизносимым?» Между тем, тот, о ком я говорю, никаким политическим деятелем не был. А был – садоводом.

Наверно, читатель уже догадался, что речь идет о человеке, которого некогда называли «великим преобразователем природы», об Иване Владимировиче Мичурине.

Он родился 27 (14) октября 1855 г. в лесном поместье своего отца, отставного военного чиновника, близ деревни Долгое Пронского уезда Рязанской губернии. Гимназии он не окончил и служил сначала конторщиком на железнодорожной станции, а затем работал механиком-кустарем. В 1875 году – снял в Рязанской губернии усадьбу

с плодовым садом и начал заниматься селекцией растений как любитель-садовод. Не стану перечислять достижений Мичурина, они достаточно известны; упомяну лишь, что наибольший успех имели его опыты по отдаленной гибридизации, то есть по разработке методики скрещивания отдаленных, не родственных друг другу видов растений. В 1918 году Народный Комиссариат Земледелия РСФСР экспроприировал питомник Мичурина (к тому времени он был значительно расширен и переведен в слободу Донское в окрестностях города Козлова), но назначил при этом его самого в качестве старшего специалиста Наркомзема и заведующего питомником, с правом приглашения к себе помощников и комплектования штата по своему усмотрению. В 1928 году на базе питомника была создана Селекционно-генетическая станция, а в 1934-м – Центральная генетическая лаборатория, руководителем которой опять же был назначен Мичурин. Через год – 7 июня 1935 года, на 80-м году жизни, И. В. Мичурин умер.

Он был популярен и при жизни, и после смерти. Однако апогея популярность его достигла в конце 40-х и в 50-е годы. В это время почитание Мичурина приняло форму подлинного культа: его именем называли улицы, колхозы, научно-исследовательские и учебные институты, ему воздвигали памятники, о его жизни писали книги, ставили пьесы и снимали фильмы; школьникам на уроках биологии вменялось в обязанность знание не только основных работ, но и подробной биографии Мичурина; в обиходный язык в тот период прочно вошли такие словосочетания, как «мичуринское яблоко», «мичуринская станция», «юные мичуринцы» и т. п. Самого Мичурина в то время именовали не только «великим преобразователем природы», но и «творцом нового этапа в развитии биологии – мичуринского учения».

Времена мичуринского культа давно минули; теперь его не только не почитают как великого, гениального ученого, – о нем стараются вообще не говорить и не писать. Даже 7 июня этого года, в 50-ю годовщину со дня смерти, о нем не вспомнили ни «Правда», ни «Известия». Обошли молчанием эту дату и «Учительская газета»,

когда-то столь много писавшая о «мичуринской биологии» и преподавании ее в школах, и даже «Сельская жизнь», по традиции уделяющая много места селекции и плодоводству. Не вспомнили о Мичурине и в июньских номерах советских научно-популярных журналов.

Чем это объяснить? Неужели с тех пор его работы полностью утратили научное и практическое значение? Но как тогда понять, что Мичурина до сих пор помнят и ценят на Западе, что работы его переведены на многие европейские языки, причем даже в недавние годы? Ответ неожиданно прост. Никакого гениального ученого и великого преобразователя природы Мичурина не было. Не было и «мичуринской биологии», и «мичуринского учения»; то есть «учение»-то было, но истинным творцом его был совсем не Мичурин. Весь же его культ не был культом реального человека, но некоего искусственно созданного идола. Мичурин, реально существовавший, никогда не был тем, кем представляла его официальная пропаганда. Советская история знает множество примеров подобной фальсификации: в пропагандных целях фабриковались никогда не существовавшие герои войны; великие мыслители, писатели и поэты, которые и писать-то по-настоящему не умели; Мичурину – суждено было стать таким же фальшивым кумиром от науки. Но в историю именно этой фальсификации стоит, однако, углубиться подробнее.

Советская пресса много писала в свое время о тяжелом положении Мичурина в «годы царизма», о непризнании правительством его заслуг и таланта. Однако Мичурин вполне благополучно работал и до 17-го года; он имел неплохой питомник, дважды расширял его; работы Мичурина печатались в крупнейших научных и сельскохозяйственных журналах. В 1911 году достижения Мичурина были представлены на Всемирной Сельскохозяйственной выставке в Тулоне (Франция), где он получил медаль «За выдающиеся работы в сельском хозяйстве». С другой стороны, при жизни популярность Мичурина в СССР вовсе не была чрезмерной. Хотя еще в 1929 году было издано собрание его трудов, а в 1931-м он получил «Орден Ленина», степень доктора наук ему присудили

только за год до смерти; академиком же он стал только 2 июня 1935 года, то есть за 5 дней до смерти, и только после того, как его избрала своим почетным членом Чехословацкая Академия (3 марта 1935 года).

Интересно проследить за популярностью Мичурина по количеству опубликованных о нем в нашей стране работ. До 1917 года в России вышло 40 статей о Мичурине; от 1917-го до 1935-го (года смерти) – 99 статей, из них 43 непосредственно в год смерти. Таким образом, учитывая, что имя Мичурина стало известным лишь в начале нашего столетия, можно сделать вывод, что количество работ о нем в год почти не изменялось на протяжении всего этого времени (4-6 работ в год). Только в год смерти оно выросло вдруг почти в 10 раз. Затем, с 1935 по 1948 годы, количество публикаций о Мичурине также почти не менялось: 53 статьи (около 4-х статей в год). Но вот в 1948 году число их увеличилось сразу в несколько раз: с 1948 по 1956 годы (в период «культа» Мичурина) о нем вышло 418 книг и статей*. В это же время было издано 25 различных портретов Мичурина, серии плакатов о нем; многие книги переводились на другие языки; например, книга В. А. Лебедева «Рассказы о Мичурине» (Детгиз, 1952) вышла на 20 языках, включая тувинский, удмуртский и эвенкский, а также по-русски в специальном издании для слепых.

Но наиболее показательно не само количество работ о Мичурине, а их содержание. В статьях до 1948 года Мичурин характеризуется как выдающийся садовод, смелый экспериментатор. И он-таки был таковым на самом деле! А вот работы 1948 года и после характеризуют его как «великого ученого», «творца новой науки». Разумеется, никаким великим ученым садовод-самоучка Мичурин не был. И на роль создателя новой науки он и сам не стал бы претендовать. Так называемое «мичуринское учение» было создано не им, а небезызвестным Трофимом Денисовичем Лысенко, и конечно, с одобрения его могуще-

* Я учитываю, разумеется, не все работы о Мичурине, а только основные, напечатанные в крупных журналах или отдельными книгами. – А в т.

ственного покровителя И. В. Сталина. О Лысенко и его монополии в биологической науке написано много; здесь я хочу только обратить внимание читателя на то, что «мичуринская биология» и «советский творческий дарвинизм» – доктрины Т. Д. Лысенко – были противопоставлены в первую очередь не менделевской генетике, как принято считать, а дарвиновской концепции естественного отбора.

Теорию Дарвина, хотя и с весьма существенными поправками и оговорками, в свое время приняли «классики марксизма». Это, отчасти, вынудило советские власти принять ее официально. Но шаг этот был явным упущением: теория естественного отбора, и, прежде всего, ее основное положение о неопределенном, то есть случайном характере изменчивости, никак не сочетались с принципами марксистской философии, с ее ведущим догматом – «бытие определяет сознание», а также с ленинской «теорией отражения» (к которой сам Ленин, к чести его и по справедливости, надо сказать, имел столько же касательства, сколько Мичурин к «мичуринской биологии»). Если предположить, следуя за Дарвиным, что признаки, в том числе и психические, возникают на базе случайной изменчивости, то для определяющей роли бытия уже не остается места. Если органы чувств формируются в процессе эволюции в *конкретных* условиях обитания организма, то каким же образом могут они адекватно и верно отражать *всеобщие* явления окружающего мира, «формы движения материи»? Однако Дарвина уже нельзя было запретить или отменить. Оставалось одно – реформировать!

Марксистов всегда значительно более устраивала эволюционная концепция французского биолога конца XVIII – начала XIX века Жана-Батиста де Ламарка, согласно которой новые признаки формируются в эволюции целесообразно, под влиянием внешней среды. Например, если свинью хорошо кормить и она от этого будет жиреть, то ее поросята родятся уже с несколько большей склонностью к ожирению и т. п. Таким образом, среда, или бытие, определяет признаки, в том числе и высшие признаки, такие, как сознание и способность к отраже-

жению. Итак, ламаркизм импонировал марксистам больше, чем дарвинизм. По всей вероятности, поэтому в советских учебниках дарвинизма 40-х – 50-х годов де Ламарку уделялось не меньше, а зачастую и больше страниц, чем самому Дарвину. При этом, конечно, вместе с дворянской приставкой «де», были изъяты и многие идеалистические положения теории Ламарка: его представляли читателю почти что материалистом.

И все же заменить дарвинизм ламаркизмом тоже не получалось. Во-первых, в эти годы в СССР учили, что паровую машину изобрел Ползунов, паровоз – братья Черепановы, самолет – Можайский, радио – Попов, а творцом закона сохранения и превращения энергии провозглашался Ломоносов. Следовательно, «творчески переработать» дарвинизм могли только на основе учения русского (или советского) автора. Во-вторых, чтобы учение «перерабатывать», нужен был не предшественник, а последователь. Но такового в СССР не было! Сам Лысенко не претендовал на роль творца «нового этапа развития биологической науки» отнюдь не из скромности: просто, для этой роли он был еще слишком мало известен. Но ученый-биолог – популярный и русский – был все же необходим. И тогда выбор пал на Мичурин.

Еще два обстоятельства способствовали этому выбору. Первое – Мичурин был хорошо известен как создатель новых сортов плодовых растений: мичуринских яблок, груш, «черемвишни» и т. п. Лысенко же всегда ратовал за «связь науки с жизнью» (что весьма импонировало Сталину) и со своими идейными врагами – генетиками и дарвинистами – он расправлялся, обвиняя их в формальном, «идеалистическом» подходе к науке. Так, однажды он явился на прием к Сталину со свежим номером журнала, где была напечатана статья латышского генетика-эволюциониста Яна Лусиса об изменчивости божьих коровок. Сейчас работы Лусиса стали классическими, их приводят почти во всех как советских, так и зарубежных учебниках эволюционной биологии. Тогда же, представив работу взору «великого учителя», Лысенко воскликнул с возмущением:

– Вот мы, мичуринцы, мы коров изучаем, думаем, как стране нашей больше молока дать! А они – вейсманисты-морганисты – божьих коровок!

Подобные доводы Лысенко, говорят, всегда производили на Сталина сильное впечатление. Следовательно, то, что Мичурин не был ученым, но был известным селекционером, сыграло даже положительную роль в выборе его на роль основоположника «советского творческого дарвинизма».

Второе – Мичурин был любителем, он не имел специального образования. Вполне понятно, что он не избежал увлечений различными новомодными биологическими теориями, в том числе и неоламаркизмом – учением, пытавшимся подвести под теорию де Ламарка современную научную базу. Однако это увлечение было всего лишь эпизодом в биографии Мичурина. В те времена к неоламаркизму, к телегонии (теории о влиянии мужского семени на материнский организм) и к другим такого рода концепциям даже многие крупные ученые относились вполне серьезно; что эти течения не прошли мимо самоучки Мичурина, никак нельзя ставить ему в вину. Однако впоследствии он, в большой степени под влиянием выдающегося селекционера и эволюциониста Н. И. Вавилова, принял и генетику, и дарвиновскую концепцию естественного отбора. Отмечу, что и Вавилов чрезвычайно высоко ценил работы Мичурина и видел в них подтверждение установленных Менделем закономерностей наследования, а отнюдь не тех, которые Лысенко и его подручные связывали с «мичуринским учением».

Однако зрелые работы Мичурина не интересовали Лысенко. Свое внимание он сосредоточил не на его достижениях, а на его ошибках, в особенности на неоламаркистских работах 90-х годов прошлого века. Впрочем, Лысенко вообще относительно мало внимания уделял конкретным достижениям Мичурина: он сотворил из него некоего идола, чародея живой природы. В 1949 году, сразу после памятной сессии ВАСХНИЛ, на которой Лысенко разделался со своими противниками, провозгласив «советский творческий дарвинизм» курсом партии и правительства, Довженко поставил фильм «Мы обновляем

землю», где по мановению руки Мичурина, как по волшебству, расцветают сады и зреют плоды невиданных размеров. «Мичуринское учение» Лысенко объявил подлинно диалектико-материалистической концепцией, основой советской биологии; он противопоставил его «менделизму-вейсманизму-морганизму» и прочим западным «идеалистическим» течениям в биологии, что, разумеется, способствовало его собственному продвижению и возвышению.

Но время шло. «Мичуринское учение» выглядело архаично уже на стадии его создания. В начало 60-х годов, на фоне развития молекулярной генетики и современных областей эволюционной биологии, учебники, в которых утверждалось, что, если снегиря кормить овсом, то в третьем поколении из яйца вылупится птенец овсянки, уже не могли восприниматься серьезно. Кроме того, «мичуринские» методы ведения сельского хозяйства привели к полному его развалу. Советским идеологам марксизма, которые всегда считали себя безапелляционными арбитрами в вопросах науки, пришлось, скрепя сердце, принять дарвиновскую концепцию эволюции вместе с менделевской генетикой, как уже раньше пришлось им принять кибернетику, теорию относительности и прочие «буржуазно-идеалистические» направления в науке. Лысенко и его единомышленникам пришлось сдать позиции; «мичуринское учение» было признано ошибочным.

Но ведь сам Мичурин к учению этому никакого отношения не имел. Что же было делать с ним? По логике вещей и по справедливости, следовало бы теперь снять с него ореол великого ученого, творца новой биологической науки, и сохранить за ним звание талантливого садовода и селекционера. Но для этого потребовалось бы признать, что «мичуринское учение» не ошибка, не заблуждение на пути поисков истины, а явная фальсификация. А на это уже у идеологов от науки духа не хватило. Мичурин остался «без вины виноватым», его имя решили постепенно забыть. Уже в начале 60-х годов (после разоблачения Лысенко) количество печатных работ о нем резко сократилось, в 70-х годах они практически уже

не появлялись. В 50-ю годовщину со дня его смерти советские газеты и журналы даже не упомянули о «великом преобразователе природы, основоположнике нового этапа развития биологии». Что ж, почтим хоть здесь, на страницах эмигрантского журнала, память талантливого селекционера и честного человека – Ивана Владимировича Мичурина.



Власть в СССР

Уже сетовал – мало наша эмиграция произвела «нетленки», книг и статей о бывшей родине, жадно схваченных там и/или всколыхнувших публику здесь. Но книга М. С. Восленского «Номенклатура. Господствующий класс Советского Союза» (Лондон, 1984, Overseas) – безусловно, едва ли не самая значительная за последний десяток лет на этой нашей ниве.

Все мы не преминем что-то сказануть о советской власти, Восленский же проделал серьезнейшее исследование и написал исключительно содержательную книгу. Ему хвала – обобщил громадный материал, поставил много вопросов, предложил ответы, но с него и спрос – чего-то не охватил, что-то сказал не так, где-то прошибся. А спрос особый, потому как книга писана интеллектуалом, в ней игра мысли, смелые ходы, попытка возвыситься над скучными очевидностями. Книге уготованы долгое внимание и благодарность читателей, и мой полемический запал не должен их убавить. Да и не докажешь, кто из нас прав в несогласьях.

Отклик на книгу (это никак не рецензия) длиннее, чем хотелось бы, но больно уж масштабна тема. Пространность еще и от того, что раньше я специально этой темой не занимался, не прояснились логические связи и не отработались формулировки, а приблизительность, гипотетичность наших знаний никак не способствуют лаконичности. По той же причине нет, увы, ссылок на труды ученых коллег и так много, увы опять, отсебятины.

Выдающийся знаток власти, Никсон, пишет в книге «Leaders», что другой умелец, де Голль, употреблял «та-

инство власти» для ореола. Таинство же советской власти вершится с предельным тщанием главным образом по постыдности ее насильственности. Постыдны и методы, которыми советская власть длит себя десятилетиями. Впрочем, все насильственные властители стыда не мают.

I

Некоторые критики замечают, что главное уже сказано М. Джиласом в «Новом классе»¹. Им ответил он сам, написав в предисловии к «Номенклатуре», что она войдет в «сокровищницу политической мысли».

Замечательная книга Джиласа сразу по выходе стала событием, и сравнение лестно для Восленского. Непреходящая заслуга Джиласа – он указал на существование нового класса, показал, что «социалистическая» страна не только им управляется, но в большой мере и существует для него. Центральное утверждение Джиласа (зря Восленский его не привел) таково: «Трудно, а то и невозможно, определить границы нового класса и указать точно, кто его члены. В общем, однако, можно сказать, что к новому классу принадлежат все те, кто пользуется особыми привилегиями и хозяйственными преимуществами в силу своей классовой монополии по управлению государством» (стр. 58). То есть, говоря по-марксистски, коммунистические страны не реализовали вековую мечту обездоленных, не ликвидировали классовую эксплуатацию, а лишь заменили, как всегда в истории, один эксплуататорский класс другим.

Две книги отличаются друг от друга многим. Изданная, почитай, 30 лет назад книга Джиласа теоретична (хотя и без «научного аппарата»). В «Номенклатуре» же теория удачно дополняется массой практических деталей и подробностей, добавляющих, помимо прочего, убедительности.

Джилас писал: «Я считаю излишним критиковать коммунизм как идею. Идеи равенства и братства между людьми... всегда будут вдохновлять борцов за прогресс и свободу. Критиковать эти идеи было бы ошибочно,

тщетно и нелепо. Борьба за их осуществление – неотъемлемая принадлежность человеческого общества» (стр. 13). Не коленопреклоненно, но с пиететом пишет он о Марксе и вполне позитивно – о Ленине. Его анализ, не говоря о терминологии, – марксистский: он рассуждает о классовой борьбе, о производственных отношениях и т. д. В этом принципиальное различие книг Джиласа и Восленского, книг марксиста (хотя уже тогда не стопроцентно благоверного) и критика марксизма.

К марксизму Восленский беспощаден. Его замечание – «Начетнический марксизм номенклатуры – не учение Карла Маркса, а спекуляция его именем. Учение же Маркса – это научная гипотеза, заслуживающая серьезного и уважительного к себе отношения» (стр. 392), – расходится со всем содержанием книги. Напротив, анализ марксистско-ленинско-сталинских утверждений о власти – одна из ее наивысших удач. Просто и убедительно он вскрывает мифы, противоречия, истинный смысл пролетавшей мимо сознания тягомотины – например, о «гегемонии пролетариата в буржуазно-демократической революции» и ее «перерастании в пролетарскую» (стр. 110 и дальше). Вывод непреложен – иного и не могло получиться, номенклатура это не отклонение от марксизма.

«Нужно, – надеялся (или лукавил) Джилас, – чтобы лучшие умы коммунизма осознали, что их партия – ничто иное, как эксплуататорский новый класс... Тогда средства, которыми новый класс пользуется для достижения своих целей и укрепления своей власти, стали бы в его собственных глазах бесчеловечными, нелепыми, несовместимыми с его великой целью... борьба за собственное существование привела бы правящий класс или отдельные его фракции к отказу от его теперешних методов» (стр. 189). Правда, Джилас оговорился, что это «чистая теория», но у Восленского нет и таких иллюзий.

Джилас считал, что для возвышения в номенклатуре нужно «обладать способностью понимать и развивать теоретические положения» (стр. 81), что «военная диктатура невозможна при коммунизме» (стр. 100), что «национальный коммунизм... подтачивает коммунизм в самой его основе» (стр. 221); отбрасывая подобные иллюзии,

Восленский не только ярко и убедительно обосновывает тезис о господстве и привилегиях нового класса господ – номенклатуры, но и дает детальную его историю, показывает, как именно он формируется и функционирует, анализирует его интересы, предметно описывает привилегии.

И, разумеется, «Номенклатура» значительно современнее «Нового класса».

II

«Номенклатура» издана в 1984 году по-русски, а ранее – по-немецки, по-английски и еще на десятке (!) языков, включая, по слухам, венгерский Самиздат.

Жаль, что в русском издании ничего не сказано об авторе. А он дважды доктор – исторических, а также философских наук, десятилетиями сам работал в советском подноменклатурном слое, а с 1972 года – на Западе, директор Мюнхенского института, исследующего советскую современность, автор полдюжины книг и сотен статей.

Книга основана не на личном опыте автора. Повествуя «случаи из жизни», он иллюстрирует, а не доказывает. Но ясно – советолог без подобного «внутреннего знания», без долголетнего наблюдения-участия не написал бы ничего похожего².

В книге сотни ссылок, автор поработал с литературой, а иногда даже излишне ей верит³. И уже здесь я начну перемежать похвалы претензиями. Иные утверждения не пояснены – откуда же это известно? К примеру, верно ли, что в октябре 1964 года члены Политбюро обманули Шелепина, посулив кресло генсека (стр. 364)? Или – как можно знать (стр. 468), что на пост намечался Щербицкий? Некоторые ссылки не подтверждают сказанное. Так, будто бы Сталин (стр. 73) объявил, что Берия работал в азербайджанской полиции по его, Сталина, заданию. Ссылка же как раз об этом заявлении молчит.

Кое-где отсутствие ссылок связано с неточностями. Скажем, сравнивая доход номенклатурщика со средней

зарплатой, автор говорит, что она равна 182 руб. в месяц (стр. 285). Но такой она стала лишь в 1983 году⁴. Впрочем, и другие конкретные детали этого сравнения не безупречны.

Говорится, что списки вождей с послесталинских времен публикуются в алфавитном порядке (генсек идет первым), а секретари ЦК КПСС – по стажу (стр. 373). Ссылки на конкретный пример нет, а в газетах по алфавиту идут и секретари⁵. Никак не мелочь при выяснении истинной иерархии на вершине номенклатуры.

Более существенно – недостало внимания предшественникам. Понятно, о советской власти под советской властью не напишешь. Западная же литература небогата откровениями, но кое-что есть и в ней, а ошибки поучительны⁶. Однако, помянув скороговоркой в начале ряд работ (более подробно – Джиласа), далее автор к ним не возвращается.

Книга отлично, человеческим языком, написана, поистине художественна последняя главка «Один день Дениса Ивановича», с выдумкой подобраны эпитафии, отрадно мало опечаток.

Зато, увы, автор отдал незаслуженную дань легендам. На полном серьезе он рассказывает (стр. 61), как Берия инсценировал заговор против Сталина, «театрально прикрыл его своим телом» и тут же, на месте, заметая след, застрелил «заговорщика». Другая явная легенда (стр. 367), что в Белоруссии загода знали – «Хрущева будут устранять»⁷.

Несмотря на набор цитат – перехлест, что нарочито назначаются чиновники, не разумеющие дела, потому как они более зависимы. Конечно, передвигая и задвигая, зорко бдят насчет послушания и выдвигают своих. Каждый из нас расскажет о дураках и неучах. Однако, как верно говорит сам автор, номенклатурщики – специалисты по самому для них главному – «карьеростроительству». И они же явили поистине выдающиеся способности в укреплении режима.

Даже на Западе, при гласности, реальных выборах и сменяемости, отбор не обходится без победы краснбайства и телегеничности (к тому же, наиболее способных

отсасывает деловой мир), чего же ожидать от советской системы.

Лет 20 назад я доказывал ушлому коллеге, что директор нашего института благоглупит. «Объективно, может быть, вы и правы, – сказал он, – да как это ему объяснить? Действуя по-своему, он вскарабкался в высокое кресло и прочно в нем сидит. По-видимому, ваши критерии иные, чем его начальства». Именно. Никак не скажешь, что средний советский начальник глупее, невежественнее, чем средний западный, но он работает по другим критериям⁸.

Напрасно Восленский рисует своих героев жирующими бездельниками – все за них делает аппарат и, не, изнуряясь, они потому долголетни. Доказательство – начальники сами бумаг не пишут, автор повторяет это на разные лады. Но творцы бумаг – те же номенклатурщики, только рангом пониже. Да и странно читать, что который ручкой по бумаге не водит, тот бездельник⁹. Уж во всяком случае, они долгие часы заседают. Что же касается долголетия (при возлияниях и избыточном весе), то пробиваются железно-здоровые, способные выдержать многолетние перегрузки борьбы за власть. И наилучшая медицина – одна из их важнейших привилегий.

III

Кому адресоваться? Вопрос встает перед каждым автором в эмиграции. Российского читателя разделяет с западным не только язык, но и культурные своеобразия, ассоциации, подход¹⁰. Восленский, к примеру, со вкусом живописует подступ к дефициту в спецбуфетах, западному читателю это не прозвучит. Трудны должны ему быть и экскурсы в советскую историю (как для нас – в подробности истории Запада).

А подсоветского читателя удивит детальное обсуждение разных разностей с позиций ортодоксальной марксистской теории. Как замечает сам автор, всерьез к ней в СССР уже не относятся¹¹. Однако западных марксистов

на удивление много, и «Номенклатура» должна быть им на пользу.

В целом Восленский соблюл баланс: книга неплохо пошла на Западе и, без сомнения, будет хорошо встречена в России – коли попадет.

IV

Привилегиям номенклатуры отведено 60 страниц петитом. Но кое о чем надо бы добавить, хотя некоторые неточности не суть важны.

Прежде всего, привилегии сильно неодинаковы по уровням, а иногда разнятся не объемами, а формой. Скажем, зав. сектором ЦК КПСС, которого Восленский в основном и описывает, получает «просто» большую зарплату и спецснабжение. А вот у секретаря обкома есть слуги.

В войну у командующего фронтом, даже на отдыхе в тылу, была «группа обслуживания» из четырех человек – шофер, повар, ординарец (то бишь, денщик) и адъютант¹². Советское социалистическое общество награждает челядью не только командующих фронтами и не только во время войны. Восленский пишет о гувернантках и об «обслуге» высшего начальства. С некоторого уровня, у госдачи есть бесплатное приложение – «сестра-хозяйка». Почитайте в «Новом мире» за 1984 год повесть Лиходеева – как шоферы директора комбината и его зама обслуживают хозяев.

Если московский аппарат получает привилегии централизованно, то местное начальство само для себя их «организует», и именно на «местах» особо махровая коррупция.

Мелкая, сравнительно, вещь, но уж больно картинная: приятная привилегия высшей номенклатуры – царская охота. В личных охотничьих угодьях Василия Сталина, недалеко от Переславля, был специальный аэродром.

Принципиальная проблема номенклатуры – должности не наследуются, но найдены обходы. Восленский описывает карьеры детей членов Политбюро (стр. 188 – 190),

это отнюдь не исключение. Отпрыски получают наилучшее образование и проталкиваются в хлебные отрасли – науку и дипломатию. Коррупция часто связана с тем же – на жизнь номенклатурщику хватает, так что крадут не только на черный день и не только по жадности, но и для детей. Отсутствие уверенного способа индивидуального накопления будет подталкивать номенклатуру к реформам.

Хотя между крайними точками – член Политбюро и одинокая старуха в колхозе – разница громадна, между основной массой населения и основной массой класса господ (рядовыми номенклатурщиками) нет пропасти. Разумеется, номенклатурщики живут лучше, чем в среднем – остальные, но разница не кричащая. Она сглаживается, к тому же, крупными промежуточными группами. К примеру, 435 тысяч кандидатов наук не беднее инструкторов райкомов, есть многие сотни тысяч высокооплачиваемых рабочих, а о персонале торговли и сферы обслуживания можно не говорить.

Однако, разумеется, привлекательность самой принадлежности к номенклатуре предельно велика. Путь в ней часто начинается с низкой должности, иногда с потери в зарплате¹³, но впереди маячит и манит возвышение.

V

Употребляя термин «номенклатура» вместо – «новый класс», Восленский уже им подчеркивает, что речь идет не только о привилегиях. Он определяет номенклатуру как господствующий класс управляющих советского общества. Действительно, есть разные социальные группы и некоторые – от футбольно-хоккейных звезд до завмагов и академиков – живут громадно лучше рабочих-крестьян-служащих, а в номенклатуру не входят. Не господствуя в стране, не образуя «класс управляющих», они пользуются привилегиями, говоря словами Джиласа, не «в силу классовой монополии на управление».

Обратим на это внимание. Сладостное бремя власти, даже и без выгод – уже привилегия. С другой стороны, повторю, многие сказочно-имущие к номенклатуре не принадлежат.

Кто же входит в номенклатуру? Все начальники без исключения? Еще по Спинозе, определить значит отграничить, а начальники есть разные. Вопрос отнюдь не праздный – сколько господ в СССР, какова численность класса?

По определению, номенклатура это те, кто сидят на номенклатурных должностях. Но номенклатура есть у ЦК КПСС (разная у Пленума, Политбюро и Секретариата), у обкомов, райкомов, парткомов предприятий и учреждений. Восленский обходит эту градацию и, видимо, включает в номенклатуру всяких руководителей.

Он относит к номенклатуре высший партийный аппарат. Прекрасно. Включает в нее и первых секретарей райкомов. Возражений нет. А вторые, третьи секретари райкомов? А секретари и члены парткомов и партбюро? В класс управляющих входят и хозяйственные руководители, относить ли поэтому к номенклатуре начальников цехов, директоров школ и заведующих банями? Назначаемый решением ЦК КПСС, в номенклатуру входит Патриарх всея Руси. А как насчет архиепископов? – их кандидатуры согласовываются с партийными органами.

Так что говорить о номенклатуре в целом – малопродуктивно. Класс советских господ неоднороден, многослоен. И роли разных слоев сильно неодинаковы. На самом верху – члены и кандидаты в члены Политбюро, секретари ЦК. Они правят и «живут при коммунизме».

За ними – несколько сот человек высшей элиты (зав. отделами ЦК, секретари обкомов, министры), условно говоря, членов ЦК КПСС. Они, так сказать, помогают править, участвуют в подготовке основных решений, да и сами имеют реальную, хотя и вассальную, власть. Живут же они – в «преддверии коммунизма»¹⁴.

Далее следуют несколько тысяч заместителей министров, инструкторов ЦК, республиканских министров, секретарей райкомов, директоров крупнейших заводов и институтов, генералитет, руководители «творческих

союзов» и т. п. В тот же слой входит и герой Восленского – зав. сектором ЦК. Отделенные от вершины пирамиды, они имеют главным образом исполнительную власть, то есть организуют исполнение директив. Это – приказчики высшего ранга. Их доля жизненных утех поменьше, но тоже велика.

Еще далее идет многотысячный подпирющий слой – руководители и партсекретари предприятий и учреждений, высшее офицерство, журналисты, всех не перечесть. И живет им заметно лучше средних совграждан.

Но и это еще не конец, на подступах – миллионы из подпитывающего слоя, кандидаты в класс господ.

Классификация крайне условна, привел я ее для иллюстрации. И не зря Джилас писал о трудностях определения границ нового класса. Впрочем, нелегко дать и четкое определение западному среднему классу.

Всякая классификация зависит от цели анализа. Если выяснять, кто зажиточен на Руси, то к номенклатуре надо присоединить прима-балерин, удачливых писателей и шабашников, так что прикидка Восленского – с семьями три миллиона человек – верна, коли не занижена. Этот слой – реальная опора режима. Однако, если выяснять, не кто делит пирог, а кто правит – определяет политический курс страны, принимает основные решения, размещает на постах, – то номенклатура (класс управляющих) сужается до предела.

Давая «модель номенклатуры», Восленский уподобляет ее конусу с сердцевинкой – партаппаратом; действительно, он представляет собой остов советской власти. Но, с другой стороны, номенклатурщики часто перемещаются «вбок»: инструкторы ЦК становятся начальниками главков и директорами институтов, а первые секретари обкомов – министрами. Власти же у министра побольше, чем у большинства партаппаратчиков. Иными словами, нельзя сводить все дело к власти партаппарата. Поэтому вопрос – кто всамделишные господа? – надо рассмотреть отдельно.

VI

Но перед этим – немного о сути власти. Что есть власть в СССР?

Известный факт – полная централизация советской власти – попросту говоря, означает, что независимых нет. Даже генсек, утверждает Восленский, не то, что под башмаком, но все же зависит от Политбюро и всего класса номенклатуры (мы это ниже обсудим). Тем более подвластны все остальные.

Фундаментальное отличие власти, скажем, в Америке – каждый руководитель многое решает сам, под свою полную ответственность, и «верх» в такую четко очерченную область не может вмешаться. Мэр не подчинен губернатору, а тот – президенту. В СССР же каждый руководитель полностью зависим и как можно больше согласовывает (как минимум, «обговаривает»), самостоятельно решает лишь совершенные мелочи.

Централизована власть в СССР еще и в другом, очевидном, смысле. На Западе власть не только разделена на полностью самостоятельные «ветви» (законодательная, судебная, исполнительная), но в большие пласты жизни государство вообще не вторгается или же прикасается в сугубо ограниченной степени – пресса, экономика, университеты и т. д. В СССР же подконтрольно всё, власть нераздельна и неограниченна.

Тотальная централизация породила специфическое советское явление – справедливость ищут только на «самом верху», дескать, лишь в Кремле разберутся и, покарвав лиходеев, наведут ее. (С этим частично связаны упорно возрождающийся культ Сталина и популярность Андропова. Поэтому и Черненко в тронной речи напирал на словечко «справедливость».)

Если еще напомнить уж совсем очевидное: Америка – демократия, а СССР – диктатура, то нельзя понять, почему американские журналисты гордо талдычат, что президент США – самый могущественный человек на Земле. По сравнению с генсеком его власть до смешного мала.

Читатель «Номенклатуры» должен недоумевать – поскольку все решается в этой самой сердцевине конуса, партаппарате, что же делают остальные органы управления, только ли они для ширмы? Восленский совершенно прав – важнейшие решения принимают именно партийные органы. Но и для других звеньев остается многое, хотя и под контролем партаппарата.

Правильно сказать, что партийный аппарат вырабатывает важнейшие решения, прежде всего – кадровые, и проверяет исполнение. Процедура же, которую Восленский тщательно описывает – «состоявшиеся решения» направляются фельдъегерской почтой, хранятся в сейфах и неукоснительно исполняются, – тоже относится преимущественно к кадровым решениям, то есть к размещению номенклатуры. При этом, во-первых, в их подготовку вовлечены все звенья бюрократического аппарата. Во-вторых, решает лишь самая верхушка. В-третьих, другим звеньям партаппарата, а также органам хозяйственного управления, местным советам и т. п. остается широкое поле деятельности – решение громадного числа относительно непринципиальных вещей. Они же и «поднимают вопросы» перед высокими инстанциями.

Замечу, что хозяйственный орган управления более высокого уровня, в принципе, может противостоять местному партийному органу – так, московское министерство иногда одолевает обком. Восленский считает, что министр не только что с обкомом, но и с райкомом связываться «ни за что» не будет (стр. 191). Боюсь, что это угода схеме.

В принципе, каждый правитель (правлящая группа) озабочен тем, чтобы длить свою власть подольше. И американские, например, президенты во время первого срока работают на переизбрание, и лишь во второй четырехлетке помышляют «о своем месте в истории». Советские же правители устремлены на упрочение и расширение личного господства в наивысшей степени, их власть не ограничена рамками закона, сменяемости и т. п. – они самодержавны. Вся же правящая иерархия – абсолютно централизована.

Во что номенклатура верит, что ее движет? В недавней своей книжке «Будущее коммунизма» Чалидзе объявляет врожденный иерархический инстинкт главным двигателем человека и, возможно, он прав. Наслаждение властью слаще наслаждения привилегиями, а в них самих есть особый вкус: черная икра красна не только зернистостью, еще краше, что у остальных ее нет.

По Восленскому, «ленинская гвардия» – это не только властолюбцы, но и идеалисты, заместившие же их сталинцы обходились без идеалов, их влекли материальные блага, а теперешние – вообще циники.

Это так и не так. Верно, что теперешние – не идеалисты (или фанатики), номенклатура не только официально (хотя и в тайне от публики) хватается блага, она еще и страшно коррупирована. Все же, по-моему, большинство номенклатурщиков, при всем при том, истово веруют, что они делают полезную для страны работу: их тщанием поднята на невысказанную высоту военная мощь, блюдет порядок в стране. Они убеждены, что всеми успехами страна обязана только и исключительно режиму. Знал я и таких, кто искренне думал, что хотя какие-то частные изменения были бы полезны, управлять страной иначе нельзя¹⁵. Самые просвещенные понимают, что режим отнюдь не наилучший для народа, для масс, и утешаются отсутствием практической альтернативы, невозможностью изменить систему. Впрочем, не только они не видят механизма изменения советской политической системы.

Основная же часть номенклатуры и не задается подобными проблемами, условием их возвышения была вера – мудрость идет свыше, там знают, что делают, и делают всё правильно.

В середине 50-х годов президентом Академии архитектуры и строительства стал крупный строительный начальник Бехтин. На просьбу журнала Академии дать статью он ответил: «Статей не писал и не буду, не для того я сюда поставлен». Я слышал две речи этого научного светила на партсобраниях. На одном он с чувством сооб-

щил, что только что – от Вячеслава Михайловича, который.., а на следующем, через две-три недели, чуть не матерно поносил «антипартийную группу». Я мог бы присягнуть, что в обеих речах он был искренен. Размышляя над «феноменом Бехтина», я осознал, что важнейшей для номенклатурщика как раз и является способность немедленно и искренне поверить всей душой в правильность последнего указания.

Элементарно, что вера Бехтина в мудрость свыше подпитывалась и презренным металлом, и самоутверждением над академиками. Все же не надо упускать из виду – режим тщательно укрепляет веру номенклатуры в ее моральное право командовать, управлять. Немалую роль в этом играет постоянный лейтмотив – «а у них еще хуже». Называется это теорией общемирового дерьма – дескать, у нас дерьмо, но и на Западе дерьмо, так что не стоит менять наше советское шило на их капиталистическую швайку.

Хотя от привилегий номенклатурщика не отказываются, для многих из них «нематериальные выгоды» играют едва ли меньшую роль. Создав специальные бюрократические структуры, режим дает своим приказчикам возможность командовать, вмешиваться – и тешиться иллюзиями собственных творческих успехов. Впрочем, возвышение без заслуг – не изобретение и не монополия советского режима.

VIII

На центральный вопрос – кто же на самом деле властвует в СССР? – Восленский отвечает так. Власть принадлежит номенклатуре в целом. Именно ее потребности и устремления все определяют. Верховное звено служит классовым интересам всей номенклатуры, «социалистическая собственность» – это ее классовая собственность. Так сказать, государство – это номенклатура. Политбюро и генсек лишь выражают ее коллективную классовую волю.

В конечном счете все решают Политбюро и Секретариат. Кто же «главнее»? В серьезных случаях Секретариат не слабее (стр. 377). Почему? Потому что в трех известных конфликтах Политбюро и Секретариата, которые Восленский рассматривает, Секретариат «одержал победу».

А как же персональная власть Генерального секретаря? Каждый генсек проходит две стадии – восхождение к власти, когда, получив пост, он все еще зависит от Политбюро, лавирует, соглашается на компромиссы, и вторая стадия – когда генсек уже достаточно укрепился, когда расцветает его культ. Однако и тогда генсек отнюдь не независим в своих действиях, его власть огромна, но не необъятна, он служит номенклатуре.

Такова в общих чертах центральная концепция Восленского. Ряд элементов в ней достоверен, однако кое в чем хотелось бы возразить.

Действительно, можно подумать, что режим служит номенклатуре, ей, и вправду, лучше всех живется на Руси. Но при Сталине номенклатура же была и под ударом, ее «снимали слоями», причем далеко не только ленинскую гвардию (уже в 1925 г. членов партии с дореволюционным стажем было чуть больше 8 тысяч). Не больно сладко пришлось номенклатуре и под Хрущевым – шерстили, объединяли и разъединяли. Лишь под Брежневым пришла стабильная благодать, но уселся Андропов, и хотя голов не отсекали, слишком много пало министров и первых секретарей обкомов за короткие его месяцы, чтобы говорить о власти номенклатуры в целом. Поэтому приходится предположить, что и сама номенклатура делится на партии, чему нет свидетельств (см. ниже), или же, что класс в целом лишь прислуживает, но власти не имеет.

Скажут, что избавление при Андропове от импотентов и зарвавшихся хапуг отвечало классовым интересам номенклатуры, но тогда надо спросить, почему эти интересы так плохо обслуживались при Брежневе и почему при Черненко смена кадров почти прекратилась, а при Горбачеве – возобновилась.

Могут сказать, что Андропов не выгонял негодных работников, а рассаживал своих людей, но это сейчас к делу не относится (мы и к этому вернемся).

Неубедительно рассуждение о соотношении Секретариата и Политбюро. Верно, что Секретариат, по определению, – часть «более главного» партийного аппарата, а в Политбюро входят также и другие чиновники. Все же секретари ЦК не могущественнее членов Политбюро¹⁶. Политбюро явно сильнее Секретариата, что видно хотя бы по спискам вождей – сначала члены, затем кандидаты и лишь потом те секретари, которые в Политбюро не входят.

Восленский обосновывает силу Секретариата малым числом решаемых им вопросов (стр. 377). Наоборот, сколько он решает, столько у него и власти. К тому же, главная задача Секретариата – кадровые решения (за исключением высших, которые производит Политбюро).

На самом деле, коллизия не между Политбюро и Секретариатом, а между Политбюро и генсеком. И все три случая, на которые ссылается Восленский, были потугами Политбюро потягаться с генсеком.

Прав ли Восленский относительно двух стадий? Казалось бы, что и в самом деле сначала генсек не всевластен, и лишь затем, постепенно, одолевает, и начинается культ его личности. Как утверждают, наступление полной власти генсека видно не только по окончанию болтовни в печати насчет коллективного руководства, но главным образом по перетряхиванию состава Политбюро (эти два момента, кстати сказать, не всегда совпадают, а в послепандроповский период кодовой фразы о коллективном руководстве я вообще не заметил). С другой стороны, неизвестны случаи, когда во время «первой стадии» генсек потерпел бы неудачу (Маленков сам отдал пост). Очень похоже, что различия двух стадий чисто косметические.

Посмотрим на царские времена. Ситуация вполне похожа. Кто держал власть? Казалось бы, класс феодалов – именно они кричали на царство, свергли Петра Федоровича, придушили Павла. Зато и Грозный, и Петр Первый обошлись с боярами едва ли ласковее, чем Сталин со своими сатрапами. И так ли уж зависел от феодалов Николай Первый?

Тут и нащупывается ключик. Власть феодалов, точнее, «ближних бояр», была велика при переходе власти от царя к царю, когда они могли сыграть даже решающую роль. Но по помазании царь приобретал практически неограниченную власть, которую мог потерять лишь при заговоре.

Да и вообще, представление о власти класса феодалов (или нового класса) выглядит слишком марксистским, чтобы безоговорочно его принять.

IX

Есть много теорий, как в действительности распределяется власть на самом верху, и почему-то даже солиднейшие авторы не признают сосредоточения «всей полноты власти» в руках генсека.

Идея о дележе власти в Кремле весьма распространена. Даже выдающийся специалист, А. Авторханов, отдал ей дань, причем в совсем уж невероятном варианте – написал, что незадолго перед смертью Сталина, подумать только, лишили титула генсека¹⁷. Аналогичен смысл бесчисленных утверждений в западной печати, что со времен Брежнева генсек – только «председатель комитета», что сам он был избран и усидел, лишь проводя «среднюю линию» и тем устраивая соперничавшие группировки.

Такой же ценности и представление: генсек – подставная фигура, а за ним стоят серые кардиналы – члены Политбюро. Так, подставной была якобы фигура Черненко, реальная же власть находилась в руках Устинова и Громыко.

Возрождались в новом варианте и популярные еще полвека назад теории, что Сталину культ его личности – противен, но он вынужден терпеть, потому как в России иначе нипочем нельзя. Дескать, и Брежнев лишь «для народа» нацеплял на себя бесчисленные побрякушки. Да хотел их Леонид Ильич, и никто не мыслил перечить!

На мой взгляд, часто борьбу различных группировок и кланов под генсеком принимают за борьбу с ним. Скажем, Восленский пишет о битвах брежневцев и андроповцев. Но даже допуская такую борьбу, логичнее предпо-

жить, что она была между андроповцами и кириленковцами¹⁸.

А разве колебания, нерешительность, прорывающиеся иногда на поверхность разноречия мнений не доказывают отсутствие твердой власти в одних руках? Нет, не доказывают! Просто, генсек не всегда и не по всякому вопросу имеет немедленное твердое мнение. Пока он к нему не пришел и не провозгласил, под ним спорят, лавируют, колеблются.

В поучительной книге З. Млынаржа, бывшего секретаря чехословацкого ЦК, рассказывается, как перед Пражской весной Политбюро и ЦК сместили Новотного. При всей исключительной ценности личного опыта Млынаржа, его не приходилось абсолютизировать и переносить на власть в Кремле. И, кстати сказать, живописуя августовские «переговоры» в Кремле, он свидетельствует – Брежнев был всевластным хозяином¹⁹.

В поисках ключа обращаются к польскому опыту, там Пленумы ЦК смещали генсеков. Но и в Польше подлинный хозяин не местный, а московский²⁰.

Казалось бы, концепции полновластия Брежнева противоречит уголовное дело, в которое была вовлечена его дочь в 1982 году. Но, во-первых, возможно, что тогда уже по физической немощи Брежнев выпускал вожжи²¹. Во-вторых, никак Галина Ильинична не пострадала.

Однажды, еще в Москве, мы обсуждали вопрос о власти, и кто-то доказывал, что в Политбюро идет борьба. «Да, идет, – согласился другой, – за то, кто выше всех задерет хоругвь».

Х

Есть еще одна теория – всевластен на самом деле Центральный Комитет КПСС, его Пленум. За нее говорит то, что от имени ЦК провозглашаются все важнейшие решения, включая персональный состав Политбюро и Секретариата. Считается также, что в борьбе с «антипартийной группировкой» Хрущев выиграл именно на Пленуме, Пленум же его и сверг.

Западные журналисты, включая известных специалистов, часто называют ЦК КПСС «решающим органом»²².

Однако еще с 20-х годов не было буквально ни одного Пленума ЦК, не одобрявшего безропотно все предложенное ему теми, кто его созвал. Пленум в 1957 году по поводу «антипартийной группы» созвал Хрущев, но уже не он созывал Пленум после дворцового переворота в октябре 1964 года. И, насколько мы знаем, Пленум всегда голосует «единодушно»²³.

Посмотрите публиковавшиеся при Хрущеве стенограммы Пленумов ЦК или же стенограммы Пленумов при Андропове²⁴. Невозможно себе представить, что на них шло реальное обсуждение со спорами и столкновением мнений, а напечатан совсем иной текст. Опубликованное же не содержит и тени борения идей, реальных противоречий.

Нет, Пленумы ЦК решают не больше, чем сессии Верховного Совета.

XI

Я уже сказал, что в номенклатуре нет «партий». Действительно, партий нет, но есть кланы, клики. Различия между ними не идеологические, это союзы тех, кто сообща карабкается на вершину, отпихивая других.

Наиизвестна днепропетровская мафия, и Восленский о ней пишет, но она не единственная. В московском городском партаппарате к концу 60-х годов соперничали две мафии – питомцы Бауманского училища и Авиационного института. Известна была и мафия МГУ, ее члены подвизались в руководстве высшим образованием, а более всех преуспел Ягодкин, дорвавшийся до поста секретаря МГК, но с его падением мафия приуныла.

Мафии не борются под идеологическими (программными) флагами, объединяют их – личное доверие, персональная уния в общих карьерных интересах. По обрывкам информации, которая до нас доходила, даже в Политбюро бывали различия позиций, иногда существенные.

Понятно при этом, что такие различия служили прежде всего инструментом персонального соперничества, шла борьба не программ, а за влияние на генсека²⁵. Некоторые же, небольшие (!) различия в подходах, в позициях используются как оружие во внутриаппаратной борьбе. Скажем, правизна мафии Ягодкина вряд ли происходила из убеждений, скорее это казалось удобной позицией.

Считается, что аппарат многослоен. Например, в 60-е годы секретарем ЦК по идеологии был Суслов, а за ним следовал Демичев. И, как говорили, непосредственно под Демичевым были номенклатурщики, лично доверенные Сусловым, а под ними опять люди Демичева. Однако при всех стараниях трудно разглядеть реальные «программные» различия этих групп. Правда, в аппарате были, например, в конце 1960 годов сторонники и противники углубления хозяйственной реформы, «десталинизации» и закручивания гаек. Все же, мое глубокое убеждение – такие и подобные разногласия существовали и выходили на поверхность лишь потому, что генсек не сформулировал свою позицию.

Есть красивая теория о «кронпринцах». Считается, что в свое время им был Фрол Козлов, а при Брежневе – Кириленко. Досужие изыскатели дошло прослеживают «людей Козлова» и «людей Кириленко» на разных уровнях иерархии. Все же, не надо упускать из виду – после помазания генсека все должны стать его людьми, иначе не усидишь. Рациональный же элемент в том, что на смену генсеку всегда приходит второй секретарь ЦК – см. ниже.

Мафии – это малюсенькие группки, и поэтому, а не только по отсутствию программных различий, их нельзя уподобить партиям. Расширение таких групп до более или менее заметных абсолютно и безоговорочно предотвращается (еще со знаменитой резолюции против фракций).

В общем, вся номенклатура – люди генсека, те, кто не принадлежат к его «личной партии», недостаточно высоко задирают хоругвь, – падают.

ХII

Бесконечны споры – умен ли генсек и какую роль это играет в его возвышении. Я бы не полез в них, если бы Восленский не утверждал, что верхушка выдвигает «того из членов Политбюро, который кажется ей самым недалеким и безобидным» (стр. 362).

Споры об интеллекте политических лидеров нескончаемы. Философы не правили миром, для этого потребны другие качества. Мыслителем ли был Наполеон? А сколько слюны и чернил пролила американская интеллигенция о неинтеллектуальности Никсона, о дурости Рейгана²⁶.

Не менее бесконечны споры об интеллекте Сталина. Яйцеголовым его не назовешь, речи и писания примитивны, тот же Джилас поведал в другой книжке о пьянках с идиотскими шутками, не проглядывает государственный ум и в «Двадцати письмах к другу». Бесконечное же число раз возносили многообразные таланты Троцкого и вторили его словам об угрюмой посредственности Сталина, вторили – после победы Сталина. Сколько анекдотов рассказывали про Хрущева и Брежнева. Объясняли, что они обладали властью благодаря системе, что при нормальной системе такого не случилось бы. В первые андроповские месяцы Джозеф Крафт опубликовал интервью с Г. Арбатовым, в котором тот будто бы сказал, что мужик Черненко не может править сверхдержавой. Речь не о том, как при отменных царедворческих статях оконфузился достопочтенный академик, а о том, что многие поверят ему – и вправду, генсек таков, Арбатову-то вблизи виднее.

У нас есть документ – бессвязные, неграмотные воспоминания Хрущева, в которых не проблеснул не только что выдающийся, но просто не совсем ординарный ум²⁷.

И все же, все же... Примитивный Сталин элементарно надул интеллектуала Фейхтвангера, впечатлил Уэллса и Черчилля, не говоря уже о Рузвельте (а вот другой неинтеллектуал, Гитлер, не менее легко его самого обдурил), создал долголетний режим. Говорят, что Сталин – не более (но и не менее), чем гений аппарата, но, напри-

мер, М. Геллер показывает его возвышение в партии до того, как аппарат даже начал создаваться²⁸.

Действительно ли Маленков проиграл из-за недооценки Никиты? Нет материалов, чтобы судить об его государственных качествах, но уже сам факт такой промашки насчет человека, с которым он до того работал вместе два десятилетия, о проницательности никак не свидетельствует. Иначе говоря, недооценил, потому что сам не ума палата.

Возьмем случай с Брежневым. По Восленскому, Политбюро пропустило его вверх, считая неопасной посредственностью. Позвольте, а каков был выбор? Что, Политбюро убоилось Суслова? Или Подгорного? Если даже считать «Железного Шурика» (Шелепина) выдающейся личностью, то, по Восленскому же (тут я с ним согласен), шансов у него не было.

По-моему, теория о гениях мимикрии, прикидывающихся всю жизнь-карьеру и дуриком пролезающих в генсеки, не выдерживает самой поверхностной критики. Главное мое возражение не сводится только к тому, что генсеки, при явной некультурности, не менее явно обладали нужным для этого поста набором качеств, но в том, что их конкуренты (по меньшей мере, со сталинских времен) никак не были интеллектуальнее. Черненко действительно выглядит ничуть не лучше Поскребышева. Но откуда нам доподлинно известен мощный интеллект Андропова, Романова, Гришина, Устинова?

Едва ли не основной аргумент Восленского – «если такие, столь различные люди, как Сталин, Хрущев, Брежнев и Андропов, самовластно определяют всю политику Советского Союза, то почему же все сколько-нибудь значительные линии этой политики не меняются?» (стр. 363). Не чересчур убедительно. Разница, скажем, сталинской и хрущевской «линий» значительна, но дело еще и в другом. Эти самые линии лучше всего служили генсекам, держали их у кормила (во всех смыслах). То есть, аргумент скорее подтверждает, чем опровергает самовластное определение всей политики именно генсеками.

К тому же, в главном для них, во власти – разница более, чем заметна – Хрущев во все вмешивался, Бреж-

нев довел до предела принцип вассалитета, Андропов мгновенно начал смещать министров, а затем и первых секретарей обкомов.

XIII

Как новый генсек вскарабкивается на последнюю ступеньку, что происходит в этот судьбоносный момент передачи эстафеты? Знаем мы об этом меньше всего, и я сначала повторю, что обычно по этому поводу говорится.

Что решение принимает Политбюро, достаточно очевидно, лишь не очень ясно, как оно это делает и чем руководствуется. Не должно быть никаких иллюзий – прежде всего, там исходят из личных интересов, прикидывают и вычисляют, как им лично будет.

Считается, что важное значение имеет личная опора, «база» данного члена Политбюро, кто за ним стоит. Член Политбюро, возглавляющий «органы», должен быть «сильнее» министра инодел, секретарь ЦК, успевший посадить в партаппарате много своих людей, сильнее предсовмина. Все это не чересчур элементарно. Совсем не обязательно член Политбюро-министр обороны стукнет кулаком по столу. Упорно говорят, что при устранении «антипартийной группы» так стукнул Жуков, но через несколько месяцев Никита устранил его самого, а армия и не пикнула. По этой причине генсек, да и Политбюро в целом, ни в коем случае не допускают, чтобы министр обороны, шеф КГБ, министр внутренних дел и т. п. был бы в своем ведомстве единовластным хозяином, в этом и состоит смысл многослойной рассадки.

Говорят, что сила члена Политбюро, помимо прочего, определяется количеством голосов его людей на Пленуме; например, первый секретарь ЦК Украины опирается на голоса украинских членов ЦК. Но и тут работает принцип послышной рассадки номенклатуры, и, еще раз повторю, Пленум ЦК ничего не решает.

Наконец, говорят и пишут, что Политбюро выбирает генсека как компромиссную фигуру, устраивающую враждующие группировки. Но какие именно группиров-

ки пошли на компромисс, избирая Брежнева, Андропова, Черненко, Горбачева²⁹?

Пожалуй, я повторил все основные рассуждения, а точнее говоря, все спекуляции по этому поводу. Перейдем теперь, как говорится, к фактам, а точнее к одному, но решающему. Он заключается в том, что со смерти Сталина, во всех без исключения случаях, генсеком избирался второй секретарь ЦК. Вторым секретарем при Сталине был Маленков, он и наследовал сталинские посты. А когда, почти мгновенно, он отдал пост первого секретаря ЦК, то к этому моменту уже Никита стал вторым секретарем. Вторыми же секретарями были в моменты избрания Брежнев, Андропов и Черненко³⁰.

Таким образом, чтобы стать генсеком, мало иметь блок голосов в ЦК, поддержку ГБ или армии, быть компромиссной фигурой и т. п., важно – оказаться в решающий момент вторым секретарем ЦК. Поэтому не прикидываться надо, как уверяет нас Восленский, дурачком, а карабкаться на пост второго секретаря и на нем держаться. А если и есть элемент правды в историях, рассказываемых о борьбе группировок в Политбюро, то это была борьба «андроповцев» не с «брежневцами», а с «кириленковцами».

Почему в потоках литературы по поводу борьбы за власть в Кремле этот элементарный факт не отражен, почему об этом не пишет Восленский, я не понимаю³¹.

XIV

Итак, по центральному пункту – кто властвует в стране – я не очень согласен с Восленским. Он считает, что в стране диктатура номенклатуры и называет так одну из глав книги. По-моему, диктаторствует не номенклатура, а генсек, он поистине и бог, и царь, и воинский начальник. Диктаторская власть генсека видна и в том, что Политбюро отдает ему все возможные почести и славу, и в том, что за десятилетия мы не знаем случая, когда хотя бы по малому вопросу Политбюро одолело генсе-

ка. Главное же – за исключением Маленкова, который решил быть, «как Ленин», председателем правительства и сам отдал пост, а также Хрущева, проморгавшего заговор, все генсеки умирали на посту, Политбюро не могло их сместить. Однако этот простой факт затушевывается несколькими обстоятельствами.

Во-первых, так не было во время короткого периода, о котором известно более всего, – ленинского. Личную диктатуру Ленин не довел до предела; впрочем, он и не был генсеком.

Во-вторых, некоторое время после смерти (устранения) предыдущего генсека говорится о коллективном руководстве и недопустимости культа личности, и кажется, что власть принадлежит Политбюро в целом. Но скоро ли, медленно, в пропаганде все возвращается на круги своя.

В-третьих, в современных условиях нельзя управлять огромной страной без законов и ритуальных процедур. Даже Сталин не просто уничтожал, а облакал ликвидацию в нечто законопохожее. За всем этим не всегда углядишь, кому принадлежит власть.

В-четвертых, генсек использует Политбюро как некую коллегия советников и навязывает лишь то, что ему важно. А чтобы вернее держаться, он поощряет раздоры внутри Политбюро.

Более всего, пожалуй, в-пятых, факт личной диктатуры затушевывается идеологически. Ни один генсек не попробовал отказаться от игры в подобие демократии. Нам сейчас не важно (хотя очень интересно обсудить отдельно), почему от нее не отказался Сталин, но очевидный ответ – идеологические побрякушки решающим образом укрепляют власть.

Можно до одурения спорить, сколько людей действительно верят во власть народа и в грядущий коммунизм, но если бы побрякушки отбросили и просто объявили все как есть, режиму стало бы куда труднее держаться. Все тот же Бехтин, наверное, перестроился бы, но и ему легче жить и командовать другими, думая, что режим существует для страны, для народа. Впрочем, ни в одном из

известных нам в истории режимов не обходится без идеологических прикрас.

Да и сам генсек, насколько можно судить, находится под влиянием идеологии. Уж на что черно пишет Солженицын в «Круге» Сталина, но не вменяет ему среди прочих смертных (во всех смыслах) грехов осознанную, циничную подмену понятий. В описании Солженицына, Сталин думает о себе не как о диктаторе, устремленном к собственному возвышению, а как о мудром вожде, неустанно пекущемся о недопонимающем собственное благо народе.

Оговорюсь, что под идеологией не обязательно понимать марксизм (ленинизм). Я уже сказал, что всерьез, искренне марксизм в СССР не очень воспринимается, да его и не очень знают (даже ведущие экономисты не читали «Капитал» от доски до доски). Это просто некий, достаточно гибкий, набор представлений, вколоченный в общественное сознание.

Стоит также сказать, что именно идеологические причины обуславливают чудовищное лицемерие режима, всей системы советской власти.

И последнее. Центральное утверждение и Джиласа, и Восленского о власти номенклатуры базируется на факте ее привилегий. Но их можно объяснить и по-другому – властитель подкармливает приказчиков, платит за верную службу.

Тот же Сталин, убивая чуть ли не без разбора, укреплял классовые привилегии, ликвидацию одних сопровождал подачками другим. После него номенклатурщиков теснят лишь за реальные проступки, причем не только не убивают, но даже «трудоустраивают»; его восприемники выяснили, что угроза потери поста работает не хуже, чем потери живота. Лишь Хрущев, казалось бы, вел генеральное наступление на номенклатуру в целом, но зато массовая передвижка кадров при нем резко увеличила, говоря по-ученому, вертикальную социальную мобильность.

Позволю себе такую аналогию. Во многих семьях все лучшее отдают детям, они имеют все привилегии, но родители правят, как диктаторы. Нет, генсеки не пекутся

о номенклатуре, как о собственных чадах, я лишь подчеркиваю, что привилегии и власть это, как говорится, две большие разницы.

Других доказательств власти номенклатуры, кроме привилегий, у Джиласа и Восленского нет. Разумеется, номенклатурщики имеют свою долю власти в исполнении верховных предначертаний и в каких-то локальных проблемах, но принципиальные, основополагающие решения (в том числе и решение не решать) принимает лишь самая вершина пирамиды.

Проиллюстрирую свою мысль неочевидным и, боюсь, спорным примером. Ярый антисемитизм номенклатуры очевиден, глубокие истоки его – в конкурентной борьбе (это отмечает и Восленский). Подумаем все же, почему вытеснение евреев из науки, техники, культуры не было еще более быстрым, почему, в частности, с таким скрипом шла эмиграция, а затем ее совсем прикрыли? Мне кажется, что объяснение – в отсутствии зоологического антисемитизма у Брежнева, Андропова и, возможно, Черненко. Решала бы все номенклатура, а не они, давно бы уже вышвырнули избранный народ из страны.

Есть еще один тонкий момент. Выше я рассуждал об интеллектуальных качествах генсеков, но, отдавая им всем должное, трудно себе представить, что они самолично создают основную политическую линию. Эта линия (и резкие колебания вокруг нее) вырабатываются внутри бюрократии, из чего можно сделать вывод о силе номенклатуры. И хотя лишь генсек принимает окончательное решение, делает линию линией, может создаться впечатление, что аппарат имеет реальную власть.

В общем, мне не ясно, в какой именно степени генсек (а тем менее – Политбюро) может пойти против интересов не некоторой части номенклатуры, а всего этого класса (подобная революция сверху все же кажется более вероятной, чем революция снизу). Однако и это не доказывает, что власть принадлежит номенклатуре³².

Особенности личного стиля Брежнева могли создать иллюзию, что его власть была меньше, чем у предшественников. Действительно, он не вторгался, скажем, в литературу, как Сталин и Хрущев³³, и не сменял кадры

в одночасье. Однако сомневающимся в диктаторской власти Леонида Ильича достаточно вспомнить судьбу Подгорного.

Слово «диктатура» привычно ассоциируется с «кровавая», и послесталинские генсеки не воспринимаются как «настоящие» диктаторы. Но их личная власть не меньше, чем, скажем, Николая Первого. Да и по сути вполне можно генсека звать – самодержцем.

Итак, еще раз, в стране диктатура не номенклатуры, а генсека³⁴.

При всем том – две вещи. Первая: чтобы выйти на исходную позицию второго секретаря, будущему генсеку необходимо пройти все ступеньки внутри номенклатуры, возвыситься в ней, другого пути нет. Иначе говоря, генсек – плоть от плоти номенклатурщик. Вторая: хотя верховная власть принадлежит генсеку, властвует он – через номенклатурщиков; они – приказчики генсека и господ для населения.

XV

Отдельно – о роли КГБ. Восленский говорит об этом немного и почти приравнивает аппарат КГБ к аппарату ЦК. Нет сомнений, в общей структуре власти роль КГБ очень велика³⁵, но все же – так ли она громадна? Сталину госбезопасность служила едва ли не основным инструментом личного управления страной. Хрущев перераспределил роли, но в какой-то момент выпустил контроль, за что и поплатился.

Брежнев усвоил урок и удержал власть до конца. И, отдав Андропову пост Суслова, он поставил вместо него неандроповского человека – недаром, взяв власть, Андропов убрал Федорчука из КГБ.

Сыграл ли КГБ решающую роль в ноябре 1982 года, не очень понятно. Полагают, что именно благодаря контролю над КГБ Андропов так уверенно захватил власть, так утверждает и Восленский, но указывает, что укрепился он не сразу, так как лишь через 8 месяцев получил пост председателя Президиума Верховного Совета. Тут

не все бесспорно. Не стоит преувеличивать роль этого чисто церемониального поста, к тому же такие рассуждения зависят от ответа на вопрос – когда сам Андропов и коллеги-конкуренты узнали о его смертельной болезни? С другой стороны, именно Андропов в ноябре 1982 года был вторым секретарем ЦК. Главный его успех – удаление Кириленко.

И еще одно. Если признавать решающую роль поддержки КГБ, то непонятно, как после смерти Андропова генсеком стал Черненко – соперничество с Андроповым должно было поставить его против КГБ. А если Чебриков – андроповский кадр, то почему же он возвысился именно при Черненко? Напрасно Восленский завлекательно интригует нас насчет специальной «операции запугивания» со смертями Машерова и других, проведенной КГБ (стр. 480 и дальше). Действительно, бывают в СССР странные (и страшные!) вещи, добавлю к сказанному Восленским смерть Кулакова. Все же доказательств нет³⁶.

Все это очень непростая проблема, причем не только для нас, но и для режима. Обойтись без КГБ режим не может, но никогда нельзя быть уверенным насчет «меча революции», очень уж он обоюдоострый. Несомненный факт – роль КГБ при Брежневе резко возросла, но в какой степени партаппарат на самом деле контролируется КГБ, мы, возможно, увидим при следующих переменах власти.

В целом, как мне представляется, КГБ скорее охранитель режима, чем решающая сила в борьбе за власть в Политбюро в межцарствия. И, тут я опять несколько расхожусь с Восленским, техническая роль КГБ в смещении Хрущева была велика, но исход определил заговор в Политбюро.

XVI

Не лучшее – критиковать автора за то, чего он не написал. Заканчивая затянувшийся разбор книги, я хочу, как говорится, поставить вопросы для следующих исследователей.

Первый из них – технология принятия решений в СССР. Мы знаем, кому принадлежит власть, представляем себе ее цели, во всяком случае – есть концепция, которую можно обсуждать. Но как политика вырабатывается, каков сам процесс? Как решают, например, сделать в пятилетнем плане упор на сельское хозяйство? Как провели недавнюю реформу школы? Кто дал команду сбить корейский самолет? Кто и как решил отпустить сотни тысяч евреев и немцев? Есть ли секретный план завоевания мира и как вырабатывается внешнеполитическая стратегия? Кто и как примет решение о хозяйственных преобразованиях? Действительно ли Хрущеву трудно было проталкивать через Политбюро публикацию «Ивана Денисовича»?

Когда, после смерти Брежнева, стали публиковать еженедельные сообщения о заседаниях Политбюро, мир изумился, увидев, какую ерунду там обсуждают. О крупных вещах в этих сообщениях обычно не пишут, но понятно, что Политбюро решает и их. Как? Кто и где в недрах номенклатуры «ставит вопрос» и «готовит вопрос», проводит обсуждения, собирает материалы и визы, формулирует решения, согласовывает, представляет на утверждение.

Немного больше известно и о кадровых решениях. Восленский хорошо описал вскарабкивание в номенклатуру, но уже о том, как люди двигаются выше и выше, как становятся секретарями райкомов, обкомов и ЦК, он почти не говорит.

Все мы, из СССР, знаем хотя бы частички процесса³⁷. Вряд ли кто-то из нас досконально разбирается в механике осуществления власти на самом верху, но, к примеру, технология принятия решений в обкоме партии и в министерстве типологически должна быть той же самой. Как же не попытаться собрать крупницы нашего знания и не обобщить их.

Тщательно избежал наш автор хоть что-то сказать о будущем страны. Есть ли реальное противостояние населения и номенклатуры, государственной машины и масс? Насколько ситуация отличается от польской? Насколько прочна советская власть? Ожидать ли радикальных изме-

нений системы? Пойдет ли Кремль на это, поймет ли, что лучше поступиться чем-то, чем потерять все?

Недавно несколько десятков тысяч солдат легко «восстановили порядок» в Польше. Значит ли это, что пока в руках Кремля есть части КГБ и МВД, а также спецсоединения парашютистов, им нечего опасаться?

После «октябрьского переворота» в 1964 году приятель мой шутил, что начальник ГАИ Киевского района может устроить пробку на «правительственной трассе» и созвать Пленум ЦК, который провозгласит его генсеком. Что толпы людей не выйдут защищать низвергнутых вождей, ясно, как ясно, что и Пленум покорно проголосует. Не совсем ясно, как именно его собрать, но ведь можно обойтись и без Пленума. Если и содержится в этой шутке доля правды, то есть если и теперь возможны дворцовые заговоры, это мало относится к нашей теме – не видно, почему именно заговорщики будут менять режим, самое господство генсека.

Но, может быть, не заговор, а революция? Наивысшее политическое достижение советской власти – она начисто исключает организованную оппозицию. Диссиденты 60-70 годов большой угрозы режиму не представляли, не были заговорщиками, но и их искусно ликвидировали.

Восленский приводит (стр. 107) слова Энгельса: «революция – это чистое явление природы, совершающееся обычно под влиянием физических законов», и верно напоминает, что не партии устраивают революции, так что отсутствие организованной оппозиции, некоей революционной партии еще не доказывает, что революция случиться не может. Но – хотим ли мы революции, новых рек крови?

Пока что наша обязанность думать, писать, спорить, разоблачать легенды и распространять знания. Лучшего могильщика советской власти и ее номенклатуры, чем знание, я не вижу.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Впервые опубликовано по-английски издательством Frederick A. Praeger в 1957 г. Оно же напечатало книгу по-русски – «Новый класс. Анализ коммунистической системы», Нью-Йорк, 1958. Мои ссылки в тексте на это издание.

2. Восленский совершенно прав, объясняя по этому поводу, что анализ речей вождей, которым так много занимаются кремленологи, ничего не дает. Их пишет аппарат, тексты тщательно выверяют. Нелепо искать в них следы разногласий и борьбы в Политбюро. Если эти следы видны заграничному наблюдателю, то тем виднее они конкурентам по борьбе за власть. А первое правило такой борьбы – скрывать намерения.

Но, с другой стороны, эти речи чуток приоткрывают личность автора. И сравнивая, например, однотомники речей Андропова и Романова, опубликованные в 1983 году, вочию видишь совершенную серость второго, буквально ни одна его фраза не напоминает о живом человеке, не зацепляет внимание.

3. Так, ссылаясь на работу, опубликованную на Западе еще в 1974 году, Восленский пишет (стр. 323), что 63% сотрудников аппарата ЦК имеют ученые степени, а в республиканских ЦК это число, дескать, даже выше.

4. ЦСУ СССР, «Народное хозяйство СССР в 1983 году. Статистический ежегодник», М., 1984, стр. 393. Автор, к сожалению, мало использовал этот стандартный статистический справочник.

5. Например, «Известия», 19. X. 1984, стр. 1.

6. Я уже достаточно об этом писал, но еще раз подчеркну трудности понимания страны западным человеком. Подходящая иллюстрация (ее, кажется, уже где-то приводили) – перевод. В русском нет эквивалента английскому «privacy», а даваемые словарем английские переводы «хамства», «пошлости» и «мещанства» далековаты от истинных значений.

7. Еще пример. На стр. 365 он пишет, что на XXIII съезде шелепинцы устроили демонстрацию – бурно заплодировали при упоминании его имени, но брежневцы быстро сориентировались и еще бурнее аплодировали каждому следующему имени. Надо ли это понимать так, что почти 5 тыс. делегатов были посвящены в детали борьбы Брежнева с Шелепиным?

8. Скажем, советские продавцы сообразительнее американских. Не в том только дело, что для советских такая работа много желаннее и пробиваются способные к ней. Интеллектуальные ресурсы нации ограничены, а в СССР больше рабочих мест, для которых интеллект вообще не требуется. В Америке же таких работ слишком мало для миллионов, способных именно и только для них.

9. В «Записках секретаря Сталина» Бажанов расписывает лень Сталина. Подчиненным всегда кажется, что они работают больше и лучше начальника. Впрочем, о лени Сталина писал и Троцкий (см., например, Leon Trotsky, Stalin, Stein & Day, N. Y., 1967).

10. И об этом я пишу уже не в первый раз. Можно спорить – лучше или хуже статья «колумниста» в «Нью-Йорк таймс» или же сотрудника «Литературки», но они сильно разные по подходу, стилю, ходу мысли.

11. Не зря пропагандистская сеть все больше переходит с истории партии и «теории» к последним речам очередного вождя и к экономике.

12. «Новый мир», 1984, № 8, стр. 46.

13. Приятель стал инструктором ЦК с должности зав. сектором института и потерял в зарплате 100 руб.

14. Впрочем, привилегии членов ЦК не унифицированы и определяются должностями.

15. Я уже как-то писал о разговоре в 1972 году с директором громадного завода. Умный человек, умелый хозяйственник, он был резко недоволен реформой 1965 г., говорил, что в экономике нужны не стимулы, а порядок, жесткая, а то и жестокая, дисциплина. Не очень ясно, как он и подобные ему понимают действие рыночных механизмов, но многие (и не только среди номенклатурщиков) считают, что страна просто не созрела до демократии.

16. Справедливости ради – именно Секретариат ЦК «подрабатывает вопросы» для заседаний Политбюро и готовит решения. При перегруженной повестке дня у подготовленного вопроса наилучшие шансы на утверждение.

17. А. Авторханов, «Загадка смерти Сталина (заговор Берия)», «Посев», Франкфурт-на-Майне, 1976. Восленский говорит об этом иначе, но не более убедительно, утверждая, что-де должность генсека тогда ликвидировали, чтобы после смерти Сталина ее не занял Маленков (стр. 376).

18. Чуть ли не главный аргумент Восленского – андроповцы злонамеренно распускали слухи о болезни Брежнева. Не очень понятно, что андроповцы от этого выигрывали – ведь слухи пошли, когда между Брежневым и Андроповым были, по меньшей мере, Сулов и Кириленко. Да и сами мы видели, как выглядел Брежнев в заграничных поездках, например в Вене.

Восленский говорит, что андроповцы стремились не дать группе Брежнева «помазать» Черненко. Непонятно, как такие слухи, шедшие за границу, помогали во внутрикремлевской борьбе, тем, кто в ней участвовал, факты были известны и без слухов. И, разумеется, о таких действиях Брежнев через своих людей в КГБ узнал бы первым.

19. З. Млынарж, «Холодом веет от Кремля», Нью-Йорк, 1983. Тут не все просто. Автор много говорит о внутренней борьбе в советском руководстве, утверждает, что ввели войска под давлением «старых мар-

шалов», что Брежнев чуть не слетел, но все это ничем не подтверждается. А вот когда он переходит к личным впечатлениям, тут все становится на место, даже уходят члены Политбюро с заседания «гуськом за Брежневым».

20. И в Монголии недавно заменили генсека. Мгновенная положительная реакция Москвы говорит сама за себя.

21. Многие читатели помнят тогдашнюю остроту – «Брежнев умер, но тело его живет».

22. Например, такой знающий человек, как Даско Додер пишет о «the policy making Central Committee» – The Washington Post, Oct. 10, 1984, p. A20.

23. Единственное известное исключение – Молотов воздержался в 1957 году.

24. Например, «Пленум Центрального Комитета КПСС 14-15 июня 1983 года. Стенографический отчет». М., Политиздат, 1983.

25. Может, и есть толика правды в шутке начала 70-х гг., что Политбюро делится на преферансистов, рыбаков и охотников.

26. Почему-то никто не привел элементарное возражение. Допустим, что и Никсон, и Рейган, и вправду, дурни. Как же их интеллектуальные соперники проиграли? Происоединимся на момент к жалобам интеллигенции, что «молчаливое большинство» серо и голосует за себе подобных. Где же интеллект оппонентов, которые могли бы понять это и сыграть соответственно?

27. По словам В. Чалидзе, опубликованные им в двух томиках (Никита Хрущев, «Воспоминания. Избранные отрывки», а также «Воспоминания. Книга вторая». Chalidze Publications. New York, 1979 и 1981) отрывки много лучше, чем остальной текст.

28. М. Геллер, А. Некрич, «Утопия у власти», т. 1, Overseas, 1982, стр. 170 и дальше.

Покойный Л. А. Леонтьев, который был относительно близок к Сталину, отзывался о нем очень высоко. Работая в «Правде», он несколько раз посылал ему тексты передовиц и через два-три часа получал высокопрофессиональную правку. По его словам, Сталин очень сильно сдал во время войны.

29. Упорно уверяют, что Черненко избрали «старика» против «молдых», но из этого не следует, что он был «компромиссной фигурой».

30. Насчет Черненко можно спорить, явных признаков, что именно он (а не Горбачев) был вторым секретарем, нет. В марте Горбачев стал генсеком из вторых секретарей.

31. Все это уже было написано, когда в «Вашингтон Пост» от 30. XII. 1984 я прочитал корреспонденцию Даско Додера из Москвы, в которой он обращает внимание, что и Андропов, и Черненко вышли в генсеки с постов вторых секретарей, и говорит, что, по-видимому, при Брежневе была достигнута такая договоренность относительно про-

цесса перехода власти. Во-первых, как видим, так делалось и раньше. Во-вторых, и здесь все основано на той же теории о реальной власти некоторой группы людей (условно говоря, ЦК КПСС), что, по-моему, не подтверждается фактами.

32. Считается, что культурную революцию Мао развязал против номенклатуры. Если это так, то Мао борьбу выиграл, то есть и в Китае генсек оказался сильнее.

33. Вряд ли надо считать брежневские мемуары (говорят, что организовал их Чаковский, а писал А. Аграновский) вмешательством в литературу.

34. Немедленно после воцарения Горбачева, в Вашингтоне сделали два заявления: а) мы знаем, что власть в Кремле принадлежит Политбюро и б) Горбачев молод (на самом деле Ленин именно в этом возрасте почил в Бозе) и будет править страной два десятилетия. Надо ли доказывать, что два эти заявления несовместимы. А совсем недавно distinguished доктор Киссинджер заявил: «Ни один советский генсек, включая Сталина, не достиг полной власти меньше, чем за 4 года» (The Washington Post., May 5, 1985, p. CB).

35. КГБ даже формально в высшей степени централизован – в частности, не республиканские комитеты, а уполномоченные КГБ СССР по республикам.

36. Меньше всего я собираюсь оспаривать эти факты моральными моментами. Однако уже с 50-х годов нет доказанного случая убийства агентами КГБ за границей (пишу это, когда дело Агджи еще не рассмотрено судом). К тому же, не все сказанное тут Восленским верно. Так, он упоминает внезапную смерть Зародова в начале 80-х гг., но мой знакомец из «Правды» говорил о его слабом здоровье еще в конце 60-х годов.

37. Случай конца 1960-х годов. Академика прочили заместителем председателя Госкомитета по науке. Конкурирующий академик был вхож к тогдашнему секретарю ЦК Демичеву. Говорят, на Секретариате Демичев сказал: «Предложение очень хорошее. Но нам надо скоро будет укреплять Госплан, Горегляд (первый зампред Госплана) уже мышей не ловит, давайте будем иметь его в виду на Госплан». Заурядный аппаратный трюк сработал безотказно.



Китай: сегодня, завтра, послезавтра...

В последнее время в западной печати все чаще появляются отрывочные и не всегда понятные сообщения о реформах, предпринимаемых в Китае, и о последствиях, положительных и отрицательных, этих реформ. Само собой разумеется, интерес Запада к этим переменам возрастает по мере того, как выясняется их значение. Недавно, например, в Шанхае побывала группа французских туристов и журналистов. Французы – один из них свободно говорил по-китайски – ходили по улицам города, смотрели, снимали, разговаривали с жителями. Из этого получилось что-то вроде репортажа, свободного и очень интересного. Недавно он передавался по французскому и английскому телевидению. Мы видим на улицах города акробатов и фокусников, детей и взрослых, и вместе с ними наряженных в смешные красные колпачки обезьянок и собачек. Они, все вместе, выступают перед собравшейся толпой и таким образом зарабатывают себе на жизнь – совсем как в старом Китае до революции. Мы узнаем, что официально безработицы в Китае нет, но на самом деле безработных много – миллионы. Они нигде не прописаны и поэтому не имеют права на квартиру. Они не получают никакого пособия по безработице. Эти люди приезжают в Шанхай из деревни, открывают скромный ресторан и скоро начинают зарабатывать весьма прилично, каждый из них приблизительно в два-три раза больше среднего рабочего. Изображается группа молодых людей, открывших мастерскую по обработке дерева. Это теперь тоже разрешено, и эти люди хорошо зарабатывают. Показывают магазин готового дешевого платья; это

кооператив, вполне законный, и продает он не те одинаковые серо-голубые мундиры, в которые все китайцы были одеты еще совсем недавно, а разноцветные блузки, юбки и другие принадлежности женского туалета. Улицы Шанхая приобрели в настоящее время нормальный, пестрый вид и стали похожими на улицы Гонконга. Мы видим базар – продается свежая рыба, всякие морские диковинки, горы овощей и фруктов.

Но далеко не всё, что предпринимают шанхайские граждане, законно. Вот группа молодых людей продает на улице билеты в кино. Это значит, что какие-то предприимчивые жулики заранее выкупили все билеты и теперь торгуют ими по завышенным ценам. Милиция как будто знает об этом, но предпочитает не вмешиваться. Впрочем, иногда все-таки вмешивается, и тогда эти неофициальные посредники получают соответствующее предупреждение. Если они попадутся второй раз, их, по всей вероятности, отправят в лагерь на год, а то и на три года. Появилась опять проституция, полутайные игорные дома, притоны, где курят опиум. Но за такие и подобные дела наказывают очень строго. Преступников-рецидивистов зачастую просто расстреливают. На стенах домов все еще красуются призывы коммунистической партии. Рядом – открытые храмы, католические церкви, дома молитвы, часто переполненные верующими. Так, внешне, выглядит новый Шанхай. Бросается в глаза разница в отношении к безработице в Китае и в Советском Союзе: и тут, и там безработица официально не существует, но в СССР ее старательно скрывают. На некоторых советских предприятиях рабочих и служащих в два раза больше, чем нужно, но руководство старается никого не увольнять. В КНР безработные везде, и никто не старается скрыть их существование.

Чем все это объясняется? Чтобы ответить на этот вопрос, следует посмотреть и на то, что происходит не в больших городах, а в деревне, где проживает больше 80-ти процентов населения Китая, т. е. более чем восемьсот миллионов крестьян. Реформы, предпринятые несколько лет назад китайским руководством, совершенно преобразили сельское хозяйство. Вот что об этом гово-

рит известный французский синолог Жан-Люк Доменак, который побывал в Китае недавно:

«Реформы приняли огромный, небывалый для коммунистических стран размах. Сельское хозяйство КНР было не просто деколлективизировано, а отдано властями в долгосрочное владение крестьянам. Я совсем недавно вернулся из КНР, где целых три недели разъезжал по всей стране то на велосипеде, то автостопом (этого пока еще не сделал ни один западный синолог), главным образом по сельским районам, и практически я нигде не встретил партийных чиновников. Коммунистическая власть оставила деревню».

О переменах, произошедших в китайской деревне после того, как власти перестали вмешиваться в дела крестьян, пишет влиятельный кантонский еженедельник «Экономист». Журнал считает, что производство зерновых за последние шесть лет удвоилось. С прошлого года Китай прекратил импорт зерна из Австралии и других западных стран. Эти успехи «Экономист» приписывает перестройке сельского хозяйства и, в частности, упразднению системы центрального планирования и контроля. Работа в деревне теперь ведется по принципу «индивидуальной ответственности»: крестьяне почти освобождены от обязанности поставлять продукты питания государству и продают их по свободным ценам. Колхозов и совхозов, т. е. коммун, больше нет. Наблюдается постепенное сокращение центрального планирования во всех областях экономической деятельности. Под непосредственным контролем государства остается только военная и тяжелая промышленность. К этому следует добавить, что, согласно официальным данным, подъем экономики наблюдается не только в области сельского хозяйства, но и во многих других областях. Выступая на заседании Народного Собрания в Пекине в конце марта сего года, премьер-министр КНР Джао Цзя-янь заявил, что в 1984 году общая сельскохозяйственная и промышленная продукция КНР увеличилась на 14% по сравнению с 1983 годом. По вопросам, связанным с перестройкой экономики, в Китае сейчас ведется интересная дискуссия, поскольку реформы вызывают недоумение у «старой

гвардии», а также некоторые отрицательные явления, такие, например, как инфляция. Несколько недель назад в центральной печати было опубликовано заявление инициатора реформ Ден Сяо-пина. Отвечая на критику, он сказал, что «возникновения этих проблем следовало ожидать, и мы их предвидели. Эти реформы необходимы. Мы переживаем вторую китайскую революцию».

Китайская пресса указывала тогда, что при таких больших переменах ошибки неизбежны, и подчеркивала, что многие социалистические страны совершили более серьезные ошибки, даже не пытаясь провести нужные реформы.

Эти слова относятся, конечно, прежде всего к Советскому Союзу, где проведение неотложных реформ откладывается уже десятки лет. Именно поэтому перемены в Китае имеют не только конкретное, внутреннее значение – для экономической жизни этого огромного государства, – но также и значение международное. Само собой напрашивается сравнение того, что происходит в Китае, с тем, что происходит в Советском Союзе. Особое внимание привлекает китайская политика «открытых дверей», имеющая целью обеспечить максимальное участие иностранного капитала в проводимых мероприятиях. Участие этого капитала в смешанных компаниях – китайско-американских, китайско-германских и т. д. – достигло в прошлом году почти 18-ти миллиардов долларов. В упомянутом уже докладе премьер-министра КНР было между прочим подчеркнуто, что в 1984 году иностранные капиталовложения выросли на 36% по сравнению с предыдущим годом.

Все это, вместе взятое, напоминает советскую «новую экономическую политику» двадцатых годов. Эта политика, как известно, тогда заметно содействовала подъему советской экономики. Однако за нэпом последовала сталинская насильственная коллективизация сельского хозяйства. Катастрофические последствия этого мероприятия печально известны. Сельское хозяйство стало самым больным местом советской экономики, не говоря уже о том, что коллективизация разрушила традиции крестьянской жизни, ничем их не заменив.

За последние 50 лет никаких сколько-нибудь значительных реформ в этой области не было. Именно этим объясняется, что огромная империя, занимающая шестую часть обитаемой территории нашей планеты, не может прокормить своего населения и вынуждена экспортировать ежегодно от 25 до 45 миллионов тонн зерна. Так вот – существует ли возможность повторения в Китае того, что произошло в СССР на переломе 30-х годов? Следует прежде всего указать, что коллективизация в России была идеологическим или, вернее, политическим мероприятием – первым в истории опытом построения бесклассового общества. Так это объяснялось тогда. Предпринимая свои реформы шесть лет назад, Ден Сяо-пин имел перед глазами и то, что произошло в Советском Союзе, и собственный опыт Китая, т. е. коллективизацию и последствия так называемой «культурной революции» Мао Цзе-дуна. Новое руководство Китая решило отказаться от прежней политики, но это совсем не значит, что оно вообще отказывается от коммунистической доктрины. Учитывая накопленный опыт, Ден Сяо-пин и его коллеги хотят построить собственный вариант коммунистического общества на более солидных экономических основах.

Обратимся опять к французскому специалисту по китайским делам, к Доменаку: «Те, кто руководят китайскими реформами, вовсе не охвачены желанием быть «хорошими» по отношению к народу». И далее: «Реформы в КНР проводятся коммунистами, которые хотят укрепить и сделать более мощным коммунистический режим. Я хотел бы отметить два существенных отличия между коммунистическими режимами КНР и Советского Союза. Во-первых, в китайской компартии значительно меньшую роль играла марксистская идеология. Можно говорить что угодно о советском тоталитаризме, – и я лично считаю его огромным злом, – но у его истоков стояли политические мыслители – Ленин, Троцкий, Бухарин и другие. По сравнению с ними, китайские коммунисты – просто школьники. Компартия Китая не располагает сегодня ни одним крупным идеологом. Единственный крупный мыслитель в ее истории, Мао Цзе-дун, как го-

ворят, получил политическую подготовку в СССР в двадцатые годы. Все эти исследования привели меня к выводу, что у китайских коммунистов просто отсутствует законченная идеологическая доктрина, чем и объясняются, на мой взгляд, все их скачки, от самых безумных утопических идей до сегодняшнего прагматизма».

Теперь, как мне кажется, можно считать, что «безумные утопические идеи» отошли в прошлое; в почете нынче – и, надо полагать, надолго – именно прагматизм. Китайское руководство проявляет большую гибкость в достижении своих целей. Самым убедительным примером может служить политика, которая проводится по принципу «одна страна – две системы». Согласно этому новому принципу, следует делать исключения для некоторых кантонов, позволить им развиваться не так, как все другие. Иными словами, нужно считаться с местными условиями. Применение этого правила позволяет находить разрешение для самых трудных административных вопросов. Например, вся зона вокруг Гонконга стала теперь специальной зоной, где поощряются иностранные капиталовложения и где иностранные компании получают выгодные условия для работы. Классическим примером политики «одна страна – две системы» остается сам Гонконг. 28 мая был ратифицирован договор о передаче Гонконга Китаю в 1997 году, т. е. ровно через 12 лет. Договор предусматривает сохранение местного самоуправления и свободы торговли в течение 50 лет после передачи колонии Китаю. Все понимают, что для Китая это очень выгодное соглашение, поскольку в Гонконге сохранится великолепно действующий финансовый и промышленный центр, один из самых крупных в мире. Я сказал, что все понимают значение этого соглашения, но следует подчеркнуть, что никто не ожидал такого благоразумия от китайского коммунистического правительства. Мы привыкли к тому, что правительства коммунистических стран во всех случаях стремятся решать все проблемы по раз и навсегда установленному шаблону и во всех случаях отстаивают свои права. В этом случае правительство КНР имело право требовать присоединения Гонконга к Китаю непосредственно по истечении срока

договора, т. е. в 1997 году. Английское правительство не могло и не имело намерения протестовать. Тем не менее, китайцы предпочли компромисс, выгодный не только для них, но и в какой-то мере обеспечивающий также интересы английских компаний и пяти миллионов местных жителей, в большинстве китайцев. Это нечто совсем новое. Значение этого договора становится понятным, если учесть, что китайское руководство надеется найти разрешение проблемы Тайваня именно таким образом, по принципу «одна страна – две системы»: ведь даже Чай Кай-ши признавал, что Тайвань является частью китайской территории. Пекин предлагает китайцам на Тайване признать правительство Пекина при условии, что Тайвань сохранит истинную автономию в местных делах. Пока что это предложение повисло в воздухе.

Подписывая договор с премьер-министром Англии, г-жой Маргарет Тэтчер, Ден Сяо-пин выразил надежду, что дружеские отношения между КНР и Великобританией будут продолжаться – другими словами, что Китай сможет рассчитывать на содействие Англии в дальнейшем развитии международной торговли через Гонконг. Ден Сяо-пин, подчеркивая привилегированное положение, которым Гонконг будет пользоваться в течение 50 лет после июля 1997 года, заявил, что для того, чтобы КНР стала «вполне развитой» страной, потребуется именно 50 лет. Мне кажется, что Ден Сяо-пин здесь несколько преувеличивает, желая успокоить Москву. Ведь не следует забывать, что Китай остается соперником СССР, пока лишь потенциальным, но «вполне развитый Китай» будет соперником реальным – не через 50 лет, а по-видимому, гораздо раньше. Рассматривая возможности улучшения советско-китайских отношений, Доменак считает, что такое улучшение вполне возможно и даже вероятно, однако и тут есть предел: «Китайская бюрократия никогда не согласится по доброй воле с зависимостью от СССР. Кроме того, Китай будет нуждаться в помощи Запада еще много лет или даже десятилетий. И если в своей пропаганде Китай говорит о своем «нейтралитете» в глобальном конфликте двух сверхдержав, то на практике он все же склоняется больше в сторону Запада.

Так что, с моей точки зрения, ситуация для Запада складывается положительная. С одной стороны, мы имеем в Азии Японию – демократическую страну с капиталистическим строем, надежного союзника Запада, а с другой – коммунистический Китай, который ревностно охраняет свою независимость от Советского Союза и поддерживает нормальное сотрудничество с Западом».

Доменак считает, что Китаю нужно 4-5 лет политической стабильности и не менее 20 лет интенсивного экономического развития, чтобы превратиться в современную сверхдержаву. Если Доменак не ошибается, то через двадцать лет Китай станет страной с вполне развитой промышленностью (включая, конечно, и военную промышленность), со значительно более высоким производством стали, угля, нефти и т. д. Население Китая будет превышать население Советского Союза в четыре-пять раз и дойдет, вероятно, до одного миллиарда 500 миллионов человек или даже больше. Но все это пока лишь предположения. Насколько они верны, сейчас трудно сказать. По поводу населения Китая специалисты считают все официальные китайские данные о его росте несколько заниженными. Сейчас, например, согласно, заявлению китайского правительства, в Китае проживает 1 миллиард 40 миллионов человек, но, согласно другим достоверным источникам, эту цифру следует увеличить по крайней мере на 700 миллионов. С другой стороны, известно, что политика правительства КНР в ограничении рождаемости вызывает недовольствие и даже некоторое сопротивление населения, особенно в деревнях. Ограничения не везде и не всегда соблюдаются. Во всяком случае, нет сомнения в том, что проблема сокращения рождаемости еще не решена окончательно. В связи с численностью населения, чрезвычайное значение приобретает развитие сельского хозяйства и распределение продуктов питания. Благодаря перестройке сельского хозяйства, предпринятой в 1979 году, можно считать, что по крайней мере одна важная проблема уже разрешена: Китай может прокормить свое население и не нуждается в помощи. Но что будет, если население увеличится еще на 500 или 600 миллионов?

Китай всегда считал себя «центральной империей» мира, страной, находящейся где-то между небом и землей, но ближе к небу, чем к земле. Китай был окружен со всех сторон инородцами, от которых он всегда старался, по возможности, отмежеваться. Для китайцев иностранцы всегда были варварами, то есть не совсем людьми, а скорее чем-то вроде обезьян с человеческими лицами. Только китайцы были людьми в полном значении этого слова. Они не только были убеждены в превосходстве своей цивилизации над всеми другими; они считали, что вообще есть только одна цивилизация – китайская. Такое восприятие мира отражалось, конечно, и на политических делах. По мере того, как расширялась китайская империя – расширялись также границы цивилизации. Постепенно, под влиянием китайской культуры, варвары становились людьми, т. е. китайцами. В начале XIX столетия этот «центральный» цивилизованный народ попал сначала под влияние, а затем под владычество европейских «варваров». Цивилизованные китайцы были подвергнуты неслыханным унижениям и преследованиям. Их заставили изменить свой образ жизни в соответствии с традициями европейских людей-обезьян. Значительная часть территории Китайской империи попала под прямой контроль иностранцев.

По всей вероятности, многие китайцы смотрят до сих пор на историю своей страны таким образом, хотя, наверное, отбрасывают явные преувеличения и абсурды. Установление коммунистической власти в Китае было, кроме всего прочего, утверждением собственного достоинства, восстановлением китайской власти в китайском государстве, возрождением Китая как великой независимой державы. Я не буду подробно описывать отношения нового Китая с его соседями. Достаточно сказать, что Китаю удалось добиться окончательного определения «справедливых» границ, в большинстве случаев – путем мирных переговоров, а иногда, как было с Индией, – силой оружия. Были подписаны соответствующие договоры с Пакистаном, с Афганистаном, с Бирмой,

с Непалом, с Монголией – хотя в последнем случае Китай считает договор временным. Из советских источников известно, что во время пребывания Хрущева в Пекине в 1954 году Мао Цзе-дун поднял вопрос о Монголии, которая, как он заявил, всегда принадлежала Китаю. На это Хрущев ответил: учитывая, что во времена Чингисхана монголы завоевали Китай, премьер-министр Цеденбал мог бы потребовать возвращения Монголии Пекина. Что же касается вопроса о советско-китайских границах, который Мао Цзе-дуну тоже хотелось обсудить, – Хрущев вообще отказался об этом говорить. Мало того, по дороге из Пекина Хрущев остановился в Хабаровске и выступил там с антикитайской речью. Следует подчеркнуть, что все европейские державы давно отказались от своих особых прав, вытекающих из договоров, заключенных в XIX столетии с Китаем, а также от территориальных концессий, полученных в свое время от китайского императорского правительства. Япония и Германия потеряли свои привилегии в конце Второй Мировой войны. Франция и Англия сейчас же после войны отказались, вполне добровольно, от своих экстратерриториальных прав и специальных статусов в области торговли, железнодорожного транспорта и т. д., задолго до признания коммунистического режима. Дания, Голландия и все другие европейские страны сделали то же самое. С приходом коммунистов все большие города, находившиеся в руках иностранцев, – Кантон, Тянь-Цзынь, Ханкоу и все порты, – были возвращены китайцам, кроме Гонконга и Макао, статус которых окончательно определяется, с согласия Китая, только теперь. Но СССР ничего Китаю не вернул. Москва не только отказалась вернуть Порт-Артур и Дайрен, но потребовала новых концессий и организовала советско-китайские компании для эксплуатации природных богатств в Северном Китае. Москва также дала понять, что она хочет сохранить «статус специальной заинтересованности» в Синдзяне (Западный Китай), установленный царским правительством. Не удивительно поэтому, что со временем конфликт между КНР и СССР постепенно усиливался и к концу 50-х годов достиг кульминационного пункта. В 1960-61 годах Хрущев отозвал

из КНР всех советских специалистов и советников. Сотрудничество между двумя коммунистическими державами прекратилось, началась открытая конфронтация.

В течение нескольких следующих лет советско-китайские отношения еще ухудшились. Произошло множество инцидентов и даже вооруженных столкновений на границе. Все свидетельствовало о растущей враждебности между КНР и Советским Союзом. В 1965 году состоялась демонстрация протеста китайских студентов в Москве. Они были беспощадно разогнаны конной милицией. Китайцы, в свой черед, ворвались в здание советского посольства в Пекине, неоднократно совершали нападения на советских дипломатических работников. Китайцы, кроме того, задерживали поезда, поставившие снаряжение и продовольствие Северному Вьетнаму. И СССР, и Китай поддерживали Вьетнам в его борьбе против Соединенных Штатов, но в то же время предпринимали всевозможные меры, чтобы помешать друг другу. Китайцы тогда считали, что вьетнамская война была первой стадией окружения Китая и что США скоро начнут, совместно с СССР, военные действия против КНР. Эта теория, как известно, оказалась совершенно неверной, но вызвала еще большую враждебность в отношениях между Москвой и Пекином. После кубинского кризиса, когда трезвая американская политика образумила неосторожного Хрущева, в Москве оценили опасность термоядерной конфронтации с Соединенными Штатами. Наступила некоторая перемена во взглядах – как в Москве, так и в Пекине. Умеренность американцев во время вьетнамской войны побудила китайцев пересмотреть свое отношение к США и сосредоточить внимание на том противнике, который показался теперь главным. И в Москве, и в Пекине в руководящих кругах рассматривалась возможность того, что еще совсем недавно казалось невозможным, – войны. О конфликте и напряженности между двумя коммунистическими странами писали тогда все газеты западных стран. В 1969 году появились такие книги, как «Предстоящая война между Россией и Китаем» известного американского журналиста Гаррисона Солсбери, многолетнего сотрудника газеты «Нью-

Йорк таймс» по советским делам (The coming up war between Russian and China by Harrison E. Salisbury), а также книга знакомого русскому читателю автора – Андрея Амальрика – «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?», изданная фондом имени Герцена в Амстердаме. Оба автора рассматривали советско-китайскую войну как вполне вероятную.

«Неумолимая логика революции ведет Китай к войне, – писал Амальрик, – которая, как надеются китайские руководители, разрешит все тяжелые экономические и социальные проблемы Китая и обеспечит ему ведущее место в современном мире».

Амальрик перечислял эти проблемы: «Прежде всего такие, как крайняя перенаселенность некоторых районов, экстенсивное сельское хозяйство, которому необходимо развиваться не вглубь, а вширь и которое нуждается поэтому в новых территориях».

Далее: «И наконец, в такой войне Китай будет видеть национальный реванш за вековые унижения и зависимость от иностранных держав. Основным препятствием для достижения этих мировых целей являются две современные сверхдержавы – СССР и США. Однако они совместно не противостоят Китаю и сами находятся в антагонистических отношениях. Разумеется, Китай учитывает это. Китай одинаково нападает на словах как на «американский империализм», так и на «советский ревизионизм и социал-империализм», однако реальные противоречия и возможности прямого столкновения у Китая гораздо больше с Советским Союзом».

Подчеркивая, что война между Китаем и США вряд ли возможна, хотя бы по географическим причинам, Амальрик переходит к СССР: «Другое дело на севере. Там лежат громадные малозаселенные пространства Сибири и Дальнего Востока, некогда уже входившие в сферу влияния Китая. Эти территории принадлежат государству, которое является основным соперником Китая в Азии, и во всех случаях Китай должен как-то покончить с ним или нейтрализовать его для того, чтобы самому играть доминирующую роль в Азии и во всем мире. При том, в отличие от США, это гораздо более опасный со-

перник, который как тоталитарное и склонное к экспансии государство сможет, в той или иной форме, нанести удар первым. Сначала Китай хотел добиться своей цели «мирным поглощением», предложив после победы революции в 1949 году объединить обе страны в единое коммунистическое государство. Естественно, что трех- или четырехкратное численное превосходство китайцев если не сразу, то постепенно обеспечило бы им главенствующее положение в подобном государстве, а главное – сразу бы открыло для колонизации Сибирь, Дальний Восток и Среднюю Азию. Сталин не пошел на это, и китайцы на несколько десятилетий отложили свои планы, которые, очевидно, им придется осуществлять уже военным путем».

Эмигрировав в Западную Европу, Амальрик вскоре погиб в автомобильной катастрофе в Испании. Его книга получила некоторую огласку в западной прессе, но вызвала отрицательную реакцию части эмиграции – главным образом потому, что первую ее часть, содержащую анализ советского общества, многие сочли оскорбительной для русского народа. Однако, его анализ советско-китайских отношений сохраняет в какой-то мере свою ценность. Конечно, для всех теперь ясно, что ход событий в самом Китае Амальрик предвидел не совсем правильно или, лучше сказать, совсем неправильно. Война между Советским Союзом и Китаем не состоялась в 1983-85 годах, как предсказывал Амальрик, и вряд ли состоится в обозримом будущем. Но исходные позиции Пекина и Москвы, их соперничество, их цели были определены в его книге с большой проницательностью. Все это, как мне кажется, остается в силе. Главная ошибка Амальрика состоит в том, что он переоценил китайские возможности и преувеличил волю Китая к экспансии. Амальрик не предвидел катастрофических последствий «культурной революции» и частичный отход Китая от марксизма. Его теория об экстенсивном китайском сельском хозяйстве оказалась сомнительной в свете последних событий. Впрочем, Солсбери в своем анализе шел по той же линии, предсказывая неизбежный, казалось бы, военный конфликт между СССР и КНР, который должен был произойти

якобы потому, что Китай не может прокормить своего населения в рамках существующих границ. Но оказывается, может – или, по крайней мере, мог до сих пор. Конечно, положение изменится, если население Китая увеличится значительно. В своих книгах Амальрик и Солсбери подчеркивали губительные последствия, к которым могла бы привести ядерная война между двумя коммунистическими гигантами не только для них самих, но и для всего человечества. И тот, и другой считали, что ядерной войны Китай не начнет, а Советский Союз вряд ли решится предпринять такую рискованную операцию, как превентивный ядерный удар. Советское руководство действительно не решилось это сделать – по разным причинам, может быть, главным образом политическим – так же, как американское правительство не сочло возможным пустить в ход ядерное оружие в войне против Вьетнама. Теперь, когда у Китая появилась возможность ответить на советское ядерное нападение вполне эффективным контрударом, применение ядерного оружия против КНР менее вероятно, чем когда-либо. Но в остальном положение на советско-китайской границе почти не изменилось за последние 15 лет. В границах СССР остаются огромные территории, которые Китай – и прежний, и новый – считал и считает своими или входящими в китайскую сферу влияния. Это относится прежде всего к территориям, отданным Китаем России в период между 1858 и 1881 годами. По Айгунскому договору (28 мая 1858 г.) Россия получила земли, расположенные к северу от Амура и к западу от реки Сунгари (600. 000 кв. км); по договору, подписанному в Пекине 14 ноября 1860 г., к России отошли территории, находящиеся к востоку от реки Уссури и Сунгари (400. 000 кв. км). К Пекинскому договору относится также Тахгенский протокол (7 октября 1864 г.), по которому Россия арендовала права на добавочную территорию в Западном Китае (440. 000 кв. км). По договору в Или (24 февраля 1881 г.) Россия получила земли в провинции Синдзян (70 000 кв. км). Кроме этих, есть и другие требования, не совсем определенные, основанные главным образом на признанных когда-то сферах влияния. Судя по некоторым, не совсем ясным, заявлениям, Пекин остав-

ляет за собой право требовать «возвращения» всей Центральной Азии, то есть сегодняшних Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Киргизии (2. 600. 000 кв. км). Статус внешней Монголии тоже остается под вопросом (1. 440. 000 кв. км). Все эти требования высказывались Китаем в разные периоды и, не так давно, также и правительством КНР. Китайское националистическое правительство на Тайване, кроме этого, требует также возвращения 656. 000 кв. км, которые Россия получила по договору в Нерчинске. К этим вопросам китайское коммунистическое правительство всегда относилось вполне серьезно, хотя не всегда считало нужным настаивать на своих правах, действительных или воображаемых. В разговоре с группой японских специалистов 11 августа 1964 года Мао Цзе-дун заявил: «Советский Союз оккупировал слишком много места... Около ста лет тому назад все, что было на восток от озера Байкал, стало русской территорией, и с тех пор Владивосток, Хабаровск, Камчатка и другие районы стали советской территорией. Пока что мы еще не предъявили нашего счета за этот список». В начале 1969 года правительство КНР заявило: «Между Китаем и Советским Союзом существует вопрос определения границ не только потому, что царская Россия захватила более 1. 500. 000 кв. км путем несправедливых договоров, навязанных Китаю, но также и потому, что во многих местах русские перешли границу, обозначенную в несправедливых договорах, и оккупировали еще и другие, добавочные части китайской территории».

В настоящее время вопрос о несправедливых договорах и «пропавших китайских землях» не поднимается в центральной китайской печати. Насколько известно, об исправлении границ ничего не было сказано в последние годы во время периодически возобновляющихся советско-китайских переговоров. Но в течение этих лет не произошло также ничего такого, что могло бы указывать на намерения китайского правительства забыть о своих территориальных претензиях. Пекин не говорит о них теперь, по-видимому, чтобы не усложнять своих отношений с Москвой. Пока что китайцы выдвигают три требования. Они хотели бы, чтобы советское правительство

не концентрировало свои войска на китайской границе, они постоянно требуют вывода советских войск из Афганистана и, наконец, они хотели бы, чтобы СССР содействовал прекращению оккупации Камбоджи (Кампучии) вьетнамскими войсками. В какой форме выдвигаются эти требования, мы не знаем. Во всяком случае невыполнение этих постоянных требований, или притязаний, до сих пор не влияло отрицательно на нормализацию экономических отношений между Москвой и Пекином. Эти отношения в последнее время заметно улучшились. Все остальное пока откладывается в долгий ящик просто потому, что Китаю теперь не выгодно поднимать такие вопросы, которые могли бы привести к новой конфронтации с СССР. Китаю сейчас необходим период стабильности и покоя, чтобы провести свои реформы, свои «четыре модернизации» и чтобы укрепить свое сотрудничество с западными странами и с Японией. Москва тоже заинтересована в том, чтобы не осложнять ситуации во время ее длительных переговоров с Вашингтоном. В период этих переговоров должна, по-видимому, решиться судьба плана президента Рейгана создать новую систему стратегической обороны в космосе. Не удивительно, что новый генсек Горбачев хочет теперь установить лучшие отношения с Китаем – это даст ему возможность сосредоточить свое внимание на конфронтации с Соединенными Штатами и одновременно на дипломатической акции, предпринимаемой Москвой по отношению к союзникам США в Европе. Цель этой акции – разрушить союз западных демократических стран.

Перспективы на будущее

Но вернемся к нашей главной теме. Будущие отношения между Китаем, Советским Союзом и западными странами во многом зависят от успеха китайских реформ, то есть от того, сможет ли Китай стать вполне развитым государством, по словам Ден Сяо-пина, и когда он достигнет этого полного развития. Если реформы дадут ожидаемые результаты, можно предвидеть, что уже через

несколько лет начнется активизация китайской внешней политики. Применительно к СССР это может означать возобновление территориальных требований. Возможность возобновления советско-китайской конфронтации пока еще только поблескивает на политическом горизонте, но уже обращает на себя внимание некоторых западных наблюдателей.

5 мая сего года в английском еженедельнике «Sunday Times» появилась статья видного депутата от консервативной партии Джорджа Уолдена «Вызов Китая». Уолден, в прошлом дипломатический работник английского МИД, считается выдающимся специалистом по советским делам. Его статья написана, конечно, с точки зрения интересов Запада. Он считает, что главные коммунистические державы, отбросив теперь идеологические споры, вступят в экономическое соревнование, стараясь как можно скорее поднять свою экономику. «Это соревнование (СССР и Китая), – говорит Уолден, – направлено друг против друга и против нас» – то есть против Запада. «В России я часто слышал шутки о китайцах, – пишет далее Уолден. – Их называли кипончиками. Нужно признать, что тогда (в 60-е, в начале 70-х годов) китайцы вели себя не очень хорошо. Но русские знают, что кипончики могут быть очень умными и от них можно ожидать всего, что угодно». Отметив значение китайских реформ, Уолден продолжает: «Тяжеловесные русские не могут понять, имеют ли они дело с паралитиком или с эпилептиком. Они еще более были поражены быстротой перемен в Китае, чем Запад. Русские помнят поражение, нанесенное им маленькой азиатской страной в 1905 году. Япония тогда вдруг появилась на мировой сцене, через 50 лет после того, как командор Перри высадился на японском берегу. При наличии современной технологии, Китай может стать опасным соперником гораздо раньше».

Уолден пишет далее, что «перспектива, даже отдаленная, Китая как страны в десять раз больше Японии, с промышленной продукцией тоже в десять раз превосходящей японскую, не может не повлиять на позицию Советского Союза и на политическую деятельность Михаила Горбачева». Уолден задает вопросы, на кото-

рые пока нет ответа: «Будут ли марксистские страны теперь соревноваться во внедрении капитализма через «задние двери»? Будет ли это начало отхода от коммунизма»? И наконец: «Если Горбачев начнет действовать, будут ли историки рассматривать назначение его на пост генерального секретаря КПСС как начало конца советского коммунизма?»

Уолден не предсказывает победы ни Москве, ни Пекину, считая, видимо, такого рода предсказания преждевременными. «Кроме китайского вызова, – пишет он, – следует обратить внимание и на другой фактор, который на Западе систематически недооценивают, а именно – неисчерпаемый запас знаний и интеллектуальной энергии, накопившийся в Советском Союзе, стране с высокообразованным населением».

Статья Уолдена – не анализ, а реакция сравнительно молодого политического деятеля, который хочет привлечь внимание английских политических кругов на возможность быстрой модернизации и либерализации советского общества. Эти перемены, по его мнению, должны произойти под давлением того, что происходит в Китае. Он, видимо, считает, что соревнование между КНР и СССР будет мирным. Он учитывает тот факт, что уже сейчас Китай располагает достаточным ядерным потенциалом, чтобы предотвратить агрессию со стороны СССР. Но возможность войны между двумя главными коммунистическими державами нельзя, как мне кажется, полностью исключить. Все зависит от того, сможет ли и будет ли Пекин настаивать на возвращении так называемых китайских территорий, находящихся теперь в пределах СССР. Захочет ли и сможет ли Китай вернуть себе то положение, которое он занимал еще в начале XIX столетия, положение центрального, самого важного государства в Азии? Если Китай не откажется от своих имперских амбиций, то мирное соревнование может превратиться в конфронтацию, а затем в открытый конфликт. Вопрос о «китайских» территориях, находящихся сейчас в границах СССР, можно решить силой оружия или путем переговоров. Можно с уверенностью сказать, что в Пекине и Москве будут стараться избежать войны ввиду

катастрофических последствий, которые такая война может для них иметь. Здесь следует отметить чрезвычайную осторожность советской внешней политики. Советское руководство, по вполне понятным причинам, боится не только ядерной войны, но и всякой войны, особенно продолжительной. Советское командование понимает, что так называемая конвенциональная война с Китаем может быть только затяжной войной. Многое зависит от того, когда будет поднят вопрос о границах. Само собой разумеется, что китайское руководство выдвинет его в самое неудобное для Москвы время. Либерализация в СССР, о которой говорит Уолден, явно необходима, но она совсем не однозначна с укреплением советского государства. Скорее наоборот. Либерализация, а тем более упразднение коммунистического режима – об этой возможности Уолден тоже упоминает – ставит под вопрос само существование советской империи. Трудно сейчас представить себе ситуацию, в которой Москва могла бы добровольно отказаться от своих владений на Дальнем Востоке, а тем более в Центральной Азии. Но если в Советском Союзе не произойдет перемен, в необходимости которых убежден не только Уолден, но и те, кто в Европе и Америке следят за событиями в СССР, – или если эти реформы окажутся недостаточными и не приведут к настоящей децентрализации и либерализации и, следовательно, к перестройке советского общества, – Советский Союз вряд ли сможет противостоять давлению гораздо более сильного противника. Именно таким противником Китай может стать лет через двадцать – двадцать пять. Это с исторической точки зрения очень короткий срок. Мне кажется, что правительство в Москве, во время открытого соревнования с Китаем, а тем более конфликта, должно будет рассчитывать на поддержку Европы и Америки. Оно должно будет войти с западными державами в нормальные, а затем и дружеские отношения.

Можно сказать, что уже сейчас, то есть с того момента, когда перестройка китайской экономики и успехи этой перестройки стали несомненным фактом, уже сейчас советская внешняя политика начинает постепенно

терять свободу действий. После Второй Мировой войны Москва жила под угрозой окружения, до сих пор только воображаемой. По мере возрастания китайских возможностей эта угроза будет становиться все более реальной. Призрак войны на два фронта был до сих пор только призраком, но, тем не менее, он оказал осязаемое влияние на советскую внешнюю политику. В настоящее, сравнительно мирное время, на китайской границе стоят 50 советских дивизий и достаточное количество военно-воздушных сил, не считая ракет среднего радиуса действия. Это, может быть, не самая лучшая часть советской армии, и вооружение ее, наверное, не первоклассное, но этого пока достаточно – покуда китайская четырехмиллионная армия находится в стадии реорганизации, которая продлится еще два-три года. Численность этой армии будет несколько сокращена, ее вооружение модернизировано. В этой области, как и во всех других, Китай старается стать «вполне развитым» государством. А что будет через 10-20 лет? Все это означает, что советское руководство должно думать не только том, чтобы выдержать конфронтацию с Америкой. Оно должно думать также о предстоящей конфронтации с Китаем. Опасность со стороны Китая будет возрастать по мере того, как реорганизация его армии будет продвигаться к завершению. С этим Москва должна считаться.

Конечно, ситуация будет постепенно меняться в этом направлении только в том случае, если китайские реформы будут продолжаться и если они будут такими успешными, как до сих пор. Другими словами, если экономика и военная мощь китайского государства будет возрастать так же стремительно, как в последние пять-шесть лет. Но ведь уверенности в этом пока нет. Известно, что Китай испытывает большую нехватку кадров и разного рода специалистов. Инициатору реформ, Ден Сяо-пину, 81 год. Некоторые наблюдатели предполагают, что основные реформы уже осуществлены или проводятся и что даже смерть главного руководителя не сможет задержать их завершения. Но и в этом, опять-таки, полной уверенности нет. Мы знаем, что оппозиция в Китае все еще существует – не только в рядах средних

военных и партийных кадров, но также и на высшем уровне. Но известно также, что это сопротивление заметно ослабевает и, вероятно, прекратится в течение следующих двух-трех лет, когда последние «старички» умрут или уйдут на покой. Ден Сяо-пин, насколько известно, здоров и умирать не собирается. В общем, несмотря на некоторую неуверенность, неизбежно присутствующую во всех человеческих делах, следует считать, что перестройка экономики и общества в Китае будут доведены до конца в течение двух-трех десятилетий.

Следует предположить, что по мере того, как будет осложняться и ослабевать международная позиция Советского Союза, будет усиливаться брожение в странах Восточной Европы. При первой возможности, в Варшаве, в Бухаресте, в Будапеште и даже в Софии будут сделаны попытки отмежеваться от Москвы. Дальнейшее развитие событий предвидеть невозможно. Можно только прийти к общему выводу, на который я уже указал: одними лишь собственными силами Советскому Союзу будет трудно или невозможно справиться с Китаем. В этой конфронтации – или, не дай Бог, войне – Москва попадет, так или иначе, в зависимость от западных стран.

Заканчивая, я хотел бы резюмировать создавшееся положение и возможные последствия возрождения Китая.

Вполне вероятно, что Ден Сяо-пину или его непосредственным наследникам удастся в сравнительно короткое время превратить Китай в настоящую сверхдержаву. В такой ситуации Москва может оказаться – и, вероятно, окажется – самой слабой из всех трех величайших держав. Во всяком случае, она не сможет противостоять одновременно и США, и КНР, хотя может попытаться это сделать в первое время. Я исключаю возможность настоящего союза между Москвой и Пекином. В этом соревновании подъем советской экономики и соответствующая перестройка всего общества может произойти только путем либерализации, децентрализации и модернизации. Это было бы равнозначно упразднению коммунистического режима. Огромные перемены,

которые были бы результатом такой перестройки, могли бы привести к огромному кровопролитию и распаду государства – тем более, если бы КНР захотела воспользоваться этими трудностями. Именно поэтому Москва должна будет заручиться поддержкой западных держав и заблаговременно заключить с ними соответствующие договоры. Не забудем, что США не имеют и никогда не имели никаких агрессивных намерений по отношению к Европе, Западной и Восточной. Либерализация и упразднение коммунистической диктатуры автоматически прекратят конфронтацию между США и наследниками советской империи. Объединение Европы, как следует надеяться, будет логическим завершением этих важных перемен.

Лондон



«На две половинки разрезанная душа».

Книга, которую никто не сочинял. Которая написалась сама, сложилась, как дерево – по листу, по годовому кольцу, как река – по капле, как само вырастает все, что возникло в природе – без насилия, без натуги, без умысла человека. Можно сказать, сама жизнь сложила эту книгу. И какое это захватывающее чувство – стоять при начале жизни, как при истоке реки, и ждать, куда она потечет, наблюдать переплетение нитей судьбы – непридуманнных, неподвластных управлению человеческого ума. Эта книга возникла не с целью позабавить, блеснуть, цели вообще не было, была лишь «груда писем», – «как остывшая зола», – бережно сложенные листки. Осталось – расправить их – как бабочек расправляют, – осторожно, чтобы не повредить.

Письма запечатлели не ход событий, а мгновенные вспышки ежеминутного. Жизнь отразилась не вдоль, как в рассказе о прошедшем, с позднейшим отбором того, что кажется важным сейчас, – при таком подходе часто теряется жар и трепет неподдельности, – а каждый раз в разрезе, во всей своей полноте. Может быть, это и есть тот недостижимый идеал, о котором иногда мечтает искусство?

Но, пожалуй, удивительнее всего, что непридуманная эта книга в то же время обладает всеми чертами «настоящего» литературного произведения, – завязкой, сюжетом, кульминацией, развязкой, – и читается с неослабевающим интересом, как беллетристика. Подлинность в ней не снимает сюжетности, а подробности не утяжеляют, не затушевывают смысла целого.

...Жили были брат и сестра. Война, концлагеря, голод, разруха, изменения политической власти – все это прокатилось между ними и разметало их по разным странам. И очутились они далеко друг от друга, так далеко, что уже не могли один до другого доплыть, – по обе стороны океана, на двух концах Земли.

И каждого могла бы засосать своя жизнь, ведь страна, работа, семья – все это было у них разным. Но этого не случилось.

Владимир Н а б о к о в «Переписка с сестрой». Ardis, Ann Arbor, 1985.

23 года они провели в разлуке и когда встретились, они друг друга узнали. В этом им помогли письма. Письма были как бы камушками, которые они клали в воду – и так шаг за шагом перебрались через неоглядную топь разлуки. Из этих писем и сложилась книга.

Время действия – вторая половина XX-го века. Только что кончилась Вторая Мировая война. Сестра живет в истерзанной войной Праге, брат – в благополучной, ни смертью, ни голодом не затронутой Америке: «мучительна мысль, что мне, в сытой стране, у радиатора за пазухой, значительно лучше жилось, чем вам», – пишет он сестре в первом из опубликованных писем (от 25-го окт. 1945-го года).

Исторические события, описания окружающего, – все это скорее фон, нечто, увиденное боковым зрением, «вполглаза». Главное же в книге – неповторимость человека, неизменяемость его ни временем, ни обстоятельствами («...сразу могу тебе сказать, что я так же мало изменился, как и ты»). Книга – о том заветном, сокровенном в человеке, к чему никакое «увядание земное» не может прикоснуться.

Как же «герои» книги прожили эти 23 года? Куда, в какую сторону текли их жизни? Как происходило их внутреннее развитие?

Два голоса звучат – то вторя друг другу, то расходясь. В этом стихийно сложившемся дуэте можно проследить и сквозные темы: воспоминания о детстве, об отце, все время возвращающиеся мысли о погибшем в немецком концлагере брате Сереже, рассказы о собственных детях, о работе, размышления о жизни, о себе, о вечности... Эти два человека так близки друг другу: «Я иногда думаю, что у нас с тобой общая на две половинки разрезанная душа. Я ведь совершенно наверное знаю, что ты думаешь и как ты относишься ко всему, что я так люблю», – пишет сестра брату. Они любят одни и те же книги, одни и те же стихи, она – лучший ценитель его книг: «Мне не удалось встретить в жизни человека, который мог бы так перекликаться со мной, как ты. Я думаю, что просто такого встретить нельзя, у меня ощущение прямо невероятное, когда я читаю твои письма и книги». Их сближает и общая память: «мы с тобой последние хранители, последние два сосуда общего прошлого», – пишет брат сестре. На редкость похоже складывается у обоих и личная жизнь: оба «совершенно счастливы» в браке, у каждого – по одному ребенку, оба мальчики, и отношения их обоих к детям удивительно теплые и глубокие. И в то же время... что может быть общего между знаменитым на весь мир писателем и скромной библиотекаршей, всю жизнь просидевшей на

скучной работе, «такой скучной, что вечером мозги покрыты серой пылью»? Он сумел «истратить священную энергию своего сердца» (по выражению А. Платонова), от него остались книги, в которых заветное его души нашло воплощение, не прошло даром, – а от нее? Казалось бы, ничего. Ничего, кроме этих писем.

Лица их обоих, на фотографии с обложки книги, – закрыты. А письма открывают невидимое, скрытый внутренний мир. Вот мы входим в его мир: «Работа моя упоительная. Знать, что орган, который рассматриваешь, никто до тебя не видел, проследить соотношения, которые н и к о м у до тебя не приходили в голову, погружаться в дивный хрустальный мир микроскопа, где царствует тишина, ограниченная собственным горизонтом, ослепительно белая арена – все это так завлекательно, что и сказать не могу». А вот – мир его сестры: «Нам грозит трудная зима. Угля нет, продовольствия нет, всё еще живем по карточкам, молока нет, фруктов нет, зелени нет. Ужасно с одеждой. Приходится выдумывать всякие комбинации, чтобы прикрыть наготу. Очень много наших знакомых уезжали этим летом на дачу...» («Дача» – иносказательно означает арест многих русских эмигрантов органами НКВД в Праге. – Н. М.) ...«мы все-таки решили отвести детей в погреб. В ту минуту, когда все они уже столпились в прихожей, все над головой посыпалось (так мне показалось), дети начали кричать, мы с учительницей начали выволакивать их на лестницу... Когда мы потом вышли на улицу, все было засыпано стеклом, множество домов совсем обрушилось, люди бегали с обезумевшими лицами ... За одну трамвайную остановку от нас немцы выволакивали жителей из погребов, убивали их или уводили за город и поджигали дома». Но не это для нее главное. Удивительно, как ее внутреннее чувство непрекращающегося счастья пересиливает все эти ужасы и тяготы. Даже самые страшные моменты войны увиденны счастливыми глазами. Мир ясен, как промытый: «Была страстная суббота. Я вернулась, вымыла к празднику полы, сделала Жикочке (сыну. – Н. М.) пасху, из творога, который получила в обмен за папиросы, потом испекла маленький кулич и выкрасила 4 яйца. В 2 часа дня радио начало призывать к помощи. Чешское восстание началось. Сразу же начали бахать пулеметы и тяжелые снаряды. Нагруженная Жикочкой, пасхой и куличом, я отправилась в погреб...» «В кухне было открыто окно, был чудесный майский день, во дворе прелестно цвел кустик сирени. Я вспомнила о тебе. Грохотали орудия. Из окон стреляли немцы». В начале книги это звучит почти как припев – ее слова об ощущении счастья: «А между тем я ведь

совершенно счастлива». «Я так к вечеру устаю, что нет сил даже читать, а потом эти постоянные заботы о еде меня совершенно опустошают ... И я чувствую, что я размениваюсь на такие жалкие вещи, но все равно, я до сих пор с интересом просыпаюсь и более чем когда-либо наслаждаюсь хорошей книгой, музыкой или просто прелестным изгибом ветки или арки. Для меня сейчас жизнь как-то гораздо сочнее и полнее, чем раньше, в молодости. А кроме того, я все переживаю снова вместе с Жикочкой. Как мы любим с ним ходить иногда в цирк или посмотреть на поезд! У меня создается ощущение вечности и полноты счастья и любви».

Несмотря на тяготы, на скучную, нелюбимую работу, она не теряет себя, и письма ее звучат порой, как стихи: «Передо мной снова лежит скучный труд из области финансов. А я хочу стихов, звуков, прохлады и простора» (письмо от 8 ноября 1945 г.). И эта музыкальная основа ее души не уходит под напором лет и испытаний: «Мы по воскресеньям ездим в ближайший лес за грибами, и когда я их привожу домой и раскладываю для счета на кухонном столе, мне вспоминается давнее и милое...» (письмо от 29 сентября 1952 г.). Годы всё идут, а она, не подчиняясь своей судьбе, не меняется, не становится скучным, пропыленным человеком, интересующимся только тем, «что готовят на обед в Америке или где какое платье лучше купить». «Я изнываю от скуки на службе, в столе у меня спрятан Блок, Ахматова, мои «Берега» милые, и я, как лекарство, иногда делаю маленькие глотки и, как лошадь старая, плетусь дальше в своей пыльной и нудной работе». Ее размышления о смысле жизни, об окружающем порой так значительны и так емко высказаны, что хочется их цитировать, как стихи: «Мне все равно, какой я национальности, какой национальности люди меня окружающие. У меня такое ощущение, что важно не это. Только прозрачные и непрозрачные. Цинцинат и его палачи. И это отнюдь не в политическом только смысле». «Иногда, когда я гуляю с маленьким и он бежит впереди, у меня такое ясное ощущение, что это бежит моя жизнь, сосредоточенная в нем, жизнь настоящая и будущая и загробная. А вчера, проходя по улицам с твоим драгоценным конвертом в кармане, у меня было чувство, что я бережно несу свое прошлое, все то, что невозвратно, всю «обратную вечность». Это – поэзия, не отделенная от жизни. Неудивительно, что брату так дороги ее письма, так важны: «Я наслаждался твоим письмом ... оно мне доставило щемящую радость». «Твое письмецо, как всегда, и обрадовало меня и разбередило». В отличие от писем сестры, письма брата скорее рассказывают о бытовой, фактической стороне его жиз-

ни, – видимо, именно потому, что его жизнь осуществилась вполне, нашла воплощение в его книгах. Зато подробности его обыденной жизни описаны порой с невероятной, выпуклой конкретностью, – их не только видишь, а чувствуешь, словно переживаешь сам. Например, вот как он пишет о своем сыне: «У него окрашены буквы, как у меня и у Веры, и как было у мамы, но у каждого свой цвет, скажем «м» у меня розовое, фланелевое, а у него голубое, и т. д. ... Самолюбив, вспылчив, драчлив, щеголяет американскими (довольно-таки блатными иногда) словечками здешних школьников – но среди них он беленькая с серебром ворона, бесконечно нежный и вообще страшный душенька. Меня особенно трогает, что он решительно в с е нам докладывает, с наивной правдивостью. После раннего обеда я ложусь отдыхать, с книгой или недоделанным концом работы (музейной); часов в девять сильный звук – перебор арфы за стеной, это Митюшенька, бряцающая на багетках изголовья кровати, зовет меня проститься с ним. Тут он особенно бывает тепленький». Это – в 1945-м году. И как зрим становится ход времени, когда в письме через 8 лет мы читаем о том же «тепленьком» Митюшеньке: «Наш заездил третий автомобиль и собирается купить подержанный аэроплан... Он совершенно и как-то блистательно бесстрашен, любим товарищами, наделен великолепными мозгами – но чужд наукам... ..Он вырастил великолепную русую бороду лопатой, похож на Александра III».

Одно из самых интересных мест в переписке – невольный возникающий спор между братом и сестрой: «Было сияющее воскресенье, а в понедельник, когда я в 4 ½ часа утра вышла на балкон, он прелестно и влажно блестел. Внизу над озером поднимался дождевой туман. И я пошла через деревню и по дороге среди ржи под дождем. Серенько, поют жаворонки. В автобус через открытое окно заливало мне левое плечо дождем. Но как было хорошо! Мне иногда бывает стыдно и страшно, что я все это так люблю, что меня в конце концов несколько не касаются всякие мировые события, и что так радуют меня всякие мелочи. А может быть, именно это все не мелочи? Жикочка, бегущий мне навстречу по деревне в субботу... вечера на балконе, ночные фиалки в лесу...» Письмо написано ровно через год после начала восстания в Праге – 5-го мая 1946-го года. Брат отвечает: «Душка моя, как ни хочется спрятаться в свою башенку из слоновой кости, есть вещи, которые язвят слишком глубоко, напр. немецкие мерзости, сжигание детей в печах, – детей, столь же упоительно забавных и любимых, как наши дети. Я ухожу в себя, но там нахожу такую ненависть к немцу, к

конц. лагерю, ко всякому тиранству, что как убежище се n'est pas grand' chose».

Письма – как тени событий: они длинные и отчетливые только при низком солнце, чем солнце выше – тем они короче, а при солнце в зените и вовсе исчезают. Так случилось и во время самых ярких – по мучительности или по счастью – событиях в жизни брата и сестры. Встреча, которая столько лет казалась нереальной, приближается, – 6-го сентября 1958 г. брат пишет: «Лолита имеет невероятный успех ... Думаю, что мне не нужно будет больше преподавать ... теперь ничто не помешает нам посетить по-американски Европу». А уже через три дня он откликается на приблизившееся к сестре горе – тяжелую болезнь и смерть ее мужа. Письма совсем короткие, в несколько строк: «...с глубокой грустью читали мы твое письмо. Ты все это описала с ужасной ясностью. Я всей душой с твоей душой...» Радость и горе сталкиваются – как в жизни, хочется сказать, но ведь это и есть жизнь. Эти страницы – кульминация книги. За ними следует развязка – встреча после 23-х лет разлуки. Письма становятся совсем другими – это уже не описания и не размышления о жизни, а прерывающаяся от волнения речь: «Умоляю вас по приезде в Париж позвонить мне либо на службу (нет, лучше не звоните на службу, я боюсь, что я буду слишком волноваться), лучше домой после 7 ч. вечера или утром до 8-ми... И так, как можно скорее приезжайте. Я так и не знаю, едет ли Митя. Милые мои, дорогие мои». А через полтора месяца она пишет брату и его жене уже в Лондон: – «Вы мне совершенно необходимы, я никогда не думала, что наша встреча так перевернет всю мою жизнь!»

Когда заканчиваешь читать эту нечаянно сложившуюся книгу, невольно приходит на ум тютчевское: «не все, что здесь цвело, увянет, не все, что было здесь, пройдет...» Такова эта книга – о двух таких разных и таких похожих людях, о не напрасном терпении и ожиданиях, о не напрасно данной нам жизни.

Наталья Малаховская

Проза поэта

Книжка начинается с объявления: «Я никогда ничего не писал в прозе». Не верьте. Человек, никогда не писавший прозой, не знакомый с ее секретами, с алхимией слова (поэзию я определил бы иначе), не мог бы создать эту книгу. Проза не есть речь, лишенная ритма, рифм, красивых бессмыслиц и прочих атрибутов стихотворного искусства; проза – это особая стихия, и вот почему поэту должно быть очень трудно писать «просто так». Поэты дышат жабрами, у них нет длинного дыхания, и в прозе они должны чувствовать себя, как рыбы на прилавке: два-три взмаха плавниками – и конец. В одной сказке Маршака говорится о короле, который скончался от разрыва сердца из-за того, что во время тронной речи не сумел подобрать рифму к слову «восторг»: в его королевстве полагалось изъясняться только стихами. Попробовал, стало быть, говорить прозой. И вот чем это кончилось.

«Спасенная книга» Льва Друскина (названная так потому, что рукопись была похищена КГБ и спасена каким-то чудом) снабжена подзаголовком «Воспоминания ленинградского поэта», но это не мемуары в обычном смысле слова и не просто дебют поэта в непривычном для него жанре. Фраза «я не писал в прозе» как будто взывает к снисхождению: певчая птичка, виршеплет, – что с него взять? На самом деле перед нами – прозаик, умный и тонкий, обладающий абсолютным чувством стиля, умеющий повернуть фразу, говоря словами Бабеля, один раз, а не два раза, и поставить точку на предпоследнем слове.

Об этом стоит сказать сразу же, потому что такого русского языка мы не читали уже Бог знает сколько лет. Мы привезли с собой в эмиграцию большой язык – отечный, обрюзгший, на котором полуночные возлияния в дружеском кругу, бесконечные словопрения, кружковые вкусы и полуподпольная среда оставили свой след; язык, для которого придумано особое название: трёп, – верное отражение недисциплинированной мысли. И можно представить себе, какой вид и объем приобрел бы под пером представителя этой словесности уникальный жизненный материал, каким располагал автор «Спасенной книги». Нет ничего соблазнительней, чем писать о себе, – и нет ничего труднее. Исповедальный настрой стал господствующим в литературе русской эмиграции. Но как часто он сбивается на интона-

Лев Друскин. «Спасенная книга. Воспоминания ленинградского поэта». – Overseas Publications Interchange Ltd., – London, 1984.

ции назойливого рассказчика, который не умеет остановиться, болтливый и нетрезвый конфидендент, слюнтявый Нарцисс. Тем удивительней благородная сдержанность, безупречный вкус и лаконизм прозы Друскина, ее свободный от какой-либо наигранности и вместе с тем сердечный тон. Книга притворяется простой. На самом деле она изысканна.

В книге есть такая сцена. Ее невозможно забыть. Автору 16 лет. «Я был, – вспоминает он, – узкокостный, сухощавый, ноги весили совсем мало, поэтому почти любой сверстник легко переносил меня на руках, – не на закорках, а перед собой: одна рука под коленки, другая за спину, а я обхватывал товарища за шею». Таким манером одноклассник таскает его по Дворцу пионеров. Их замечает директор или кто-то в этом роде. Он несется за ними по лестнице, крича: «Это еще что за хулиганство!» Приятель, с Друскиным на руках, спасается бегством, оба помирают со смеху.

Внизу стоит машина. И вдруг директор, увидев, как парализованного мальчика впихивают на заднее сиденье, останавливается, как вкопанный, и молча бредет обратно.

Этот мимолетный эпизод теряется среди множества других, юность, война, эвакуация, страшные послевоенные годы заслоняют его; отчего же он врзается в память? Я думаю, что он может служить образцом творческой манеры автора. В его книге нет пространных деклараций, нет картин и сцен, рассчитанных на то, чтобы поразить читателя. Вся она состоит из таких коротеньких эпизодов, по большей части – житейских мелочей. Искусство состоит в том, что бытовая сценка, двумя-тремя штрихами набросанный портрет, чья-то забавная сентенция – неожиданно освещают загадку жизни. Моментальный снимок высвечивает то, что понадобилось бы разжевывать на многих страницах. Ответ никогда не бывает однозначным. Вот важный урок, который книга незаметно преподает читателю. То, что называется гремучими словами «История», «Эпоха», «Страна», творится и существует за окнами, за стенами дома в блокированном Ленинграде, за забором ташкентской богадельни, где укрытый вонючим тряпьем, потерявший всех своих близких, лежит герой и автор книги, больной пеллагрой, как будто ему недостаточно было его увечья, – но именно оно, это увечье, наделило его необычайной чуткостью, умением внимать росту травы и понимать людей, слышать сквозь стены и видеть поверх заборов. Оно – одновременно – благословение, если не миссия. Болезнь – оборачивается избранничеством.

Книга Друскина отнюдь не рассказ о собственных несчастьях, менее всего автор стремится разжалобить читателей. Если

подчас в глазах его стоят слезы, то это слезы вовсе не о себе. И вообще это книга – не о болезни. Но хотя намерения автора по видимости просты, хотя, как нас предупреждает вступление, в книжке нет ничего, кроме фактов, и к ней не следует относиться иначе как к документу времени, в ней присутствует некий сверхсюжет. В конце концов, он и придает ей художественную цельность. Это повесть не только о том, как из безногого мальчика, пациента странного учреждения – «Институт физически дефективных детей», вырастает мужчина, но прежде всего – рассказ о творчестве, притча о том, из какого яйца вылупляется художник, из каких ключей он черпает живую воду. У болезни – высокой болезни – есть другое имя: поэзия. Так что превосходную эту прозу все-таки написал поэт.

Удачно найденная композиция лирических воспоминаний дала возможность включить в книгу весьма разнообразный материал. По отношению к автобиографическому сюжету, обнимающему всю жизнь автора, от вполне легендарного детства, успевшего захватить эпоху нэпа, и до последних дней в России, до драматической посадки в самолет, – по отношению к этому сюжету заметки о встречах с выдающимися современниками, портреты братьев-писателей играют скорее подчиненную роль. Тем не менее, и эти страницы читаются с захватывающим интересом. Друскин верен себе: его свидетельства никогда не бывают односторонними, его приговоры – если это вообще приговоры – неоднозначны. При абсолютной документальной точности, нарисованные им портреты остаются художественными произведениями. Художник избирает свои объекты безотносительно к их нравственным достоинствам. Мудрость искусства, однако, состоит в том, что и в мерзавце оно видит человека.

«Прочел „Окаянные дни“ Бунина. Читать было неприятно... Автору ненавистно все: хамская толпа, это животное Ленин, эти предатели и негодяи Горький и Блок... Вместо лиц – одни свиные рыла.

Не дай мне Бог написать такую книгу! Ненависть – плохой вожатый».

Читая эти слова – программные для автора «Спасенной книги», – вспоминаешь что-то знакомое, другие имена и времена. Четверть века назад покойный Ф. А. Степун говорил о двух «агит-макулатурах», советской и эмигрантской, похожих одна на другую, как курица и ее отражение в луже. Через много лет после Бунина третья смена эмиграции, в лице своих бесконечно менее талантливых представителей, больна тем же пристрасти-

ем рисовать плакаты, выдавая их за действительность, тем же неисцелимым недугом ненависти. Один из читателей порицал Друскина за то, что он описал Константина Симонова (очерк о Симонове, к сожалению, не вошел в окончательную редакцию книги и опубликован отдельно) с излишней снисходительностью, надо было заявить прямо: Симонов сволочь, прихлебатель сталинского режима и т. д. Но слово «сволочь» отсутствует в лексиконе Льва Друскина. Это не значит, что он не видит границы между добром и злом, но он понимает, что граница чаще всего проходит через самого человека.

Вот рассказ о Юрии Рытхеу – классике чукотской литературы и единственном чукотском писателе, одной из колоритных фигур в паноптикуме, который именуется советской литературой:

«Это удивительный сплав культуры и дикости, обаяния и отталкивания, широты и скупости, цинизма и немного притворного, почти детского простодушия...

До двенадцати лет он не знал русского языка. Дети играли в русских... Рытхеу исполнилось уже четырнадцать, когда всех мужчин, кроме стариков и больных, внезапно арестовали. Сквозь слезы и проклятья перепуганных женщин их погнали на пароход и отвезли в бухту Лаврентия – строить аэродром.

Официально они не значились заключенными, но территория была опоясана колючей проволокой и на вышках стояли часовые. Юру определили помощником повара...

Думаю, что первую прививку цинизма советская власть сделала ему именно здесь, в лагере. Надо было получить комсомольский билет, и к мальчику приставили конвоира. Из райкома он тоже шел под дулом, держа аккуратную серую книжечку и разглядывая изображение Ленина».

Сейчас это один из самых богатых людей в Ленинграде. Поездки в капстраны, груды заграничного барахла. Пишет он, разумеется, давно по-русски.

Можно ли к Рытхеу относиться всерьез как к писателю?

«К приезду Рытхеу я подготовился: поворочал глыбы его книг, поворошил журналы и, надо сказать, неподдельно огорчился. Прежде всего, это было неталантливо... Поэтому я был ошеломлен, когда в ответ на расспросы о современном Севере Юрий Сергеевич обрушил на меня каскад поразительных историй. И каждая из них была новеллой – короткой, с неповторимыми характерами...

– Юра, – спросил я... – Почему ты этого не записываешь?

Он усмехнулся:

– А зачем?

– Как зачем? Такие блестящие миниатюры! И абсолютно готовые.

Он опять усмехнулся:

– Ну и что! Ведь их не напечатают. Я знаю, какой товар нужен...

Он умный и хитрый, как бес...

– Евреи, – говорит он, – это тот народ, о который разбивается волна русского шовинизма и докатывается до нас, чукчей, в виде дружбы народов.

...Я спрашиваю у Лили:

– Каким словом можно определить Рытхеу?

Она задумывается и отвечает:

– Ненастоящий...

Да, ненастоящий. Ненастоящий чукча и ненастоящий европеец, ненастоящий интеллигент и ненастоящий обыватель, ненастоящий друг и ненастоящий враг».

Несколько обрывочных цитат могут, конечно, дать лишь приблизительное представление о главках, посвященных коллегам-литераторам. Пересказать книгу невозможно, и мы вынуждены только упомянуть о замечательном портрете Маршака – литературного учителя Друскина, о несчастной Ольге Берггольц, о монументально-карикатурном Прокофьеве, о Данииле Гранине, на юбилее которого какой-то подвыпивший писатель произнес тост: «Все мы знаем, что Даниилу Александровичу не так уж много отпущено от Бога, и только своим великим трудом...»

Одна из глав называется «Голос предков». Ее предваряют стихи: «Голос предков – ветерок в моей крови...» Лев Друскин – один из представителей вымирающего племени русских поэтов-евреев. О том, что означало существование этого племени и продолжает означать в русской литературе, много говорить не приходится; довольно хотя бы перечня имен: Мандельштам, Пастернак, Багрицкий, Маршак, Бродский, Самойлов, Лозинский, Липкин... Автор «Спасенной книги» и семи поэтических сборников, опубликованных в СССР, принадлежит к числу тех, кто укоренен в русской культуре до полного самоотжествления с ней и вместе с тем ощущает себя евреем, для кого понятия русский интеллигент и еврей не только не исключают друг друга, но являются почти синонимами. По крайней мере ненависть к евреям неотличима от ненависти к интеллигентам... В книге Друскина нет рассуждений о «еврейском вопросе», в ней есть полтора десятка грустных рассказов, длинные розовые шрамы от когтей, которые протягиваются

откуда их и не ждешь. И, как всегда, трагическое смешивается с комическим:

« – Дедушка, а правда, что Христос был еврей?

Дед (сокрушенно): – Правда, внучек. Тогда все были евреями. Время было такое».

Прочтите эту книжку, проведите с ней долгий вечер вдвоем. И вы поймете, для чего стоит жить и мыкаться на этом свете. То, что делает жизнь привлекательной, ради чего стоит жертвовать всем, – литература, вечное, осеняющее всех нас русское слово.

Борис Хазанов

Верность себе

Стихи, собранные в этой книге, публиковались в десятке советских изданий, в нескольких полу- и неофициальных альманахах, а также в журналах русской эмиграции – «Эхо», «Континент». Написаны они с 1970 по 1981 год, и это десятилетие включает в себе творческий путь поэта до его отъезда из России.

Бахыт Кенжеев – очень правильный поэт. У него не бывает неправильных мыслей. Он с этим, видимо, родился. И поэтому, мне кажется, если выразиться языком школьных сочинений, он не знает, что нового может сказать миру. Иногда это можно выразить перебором интонаций – но и в этом он не силен: интонационно он монотонен, однопланов и снова правилен.

Хорошо, когда истина рядом!
И веселый нетрезвый поэт
Созерцает внимательным взглядом
Удивительный выпуклый свет.

Совершенно, скажем, ошанинско-сурковские строчки; только Ошанин, ясно, не написал бы так нескромно про истину.

Может быть, перед нами случай, когда поэт интереснее своих стихов? Что он еще не вполне высказался, недореализовался, и что-нибудь существенное нас ожидает вон там, за поворотом, вскоре?

Бахыт К е н ж е е в. «Избранная лирика. 1970 – 1981». Ardis, Ann Arbor, 1984.

Бесспорно, поэт Бахыт Кенжеев интереснее многих своих стихов, собранных в этой книге. Думается, это уже можно сказать с тем бóльшим основанием, что мало-помалу мы знакомимся с новыми его, послеотъездными стихами, в которых от описательного драматизма он переступает к выразительному, другому драматизму, говорит не о чем-то, а что-то, пишет собой, а не о себе.

Тут мы подходим к тому, что в начале XIX века называлось нравственной пользой поэзии, к тому, что В. Жуковский называл – «иметь в предмете образование моральных добродетелей».

Мораль навсегда, видимо, останется дилетантским занятием, производным от других понятий и созвучий, некоторым вектором от других верований и занятий человечества. Увы.

У Бахыта Кенжеева есть одно резонерское стихотворение, написанное в стиле частушек-нескладух и отчасти пародирующее некоторую неумелость (чью?), которое называется «На проживание около военного аэродрома» и заканчивается так:

Я военных не любитель
Я пожалуй бы хотел
Чтобы мира истребитель
Больше в небе не шумел
Чтобы стал его полковник
Из убийца и злодей
Доброй женщины любовник
Друг порядочных людей

1978

Что это? Сентенции простака-резонера из классических драм в пяти действиях с соблюдением единства действия, места и времени? Своеобразно претворенные уроки романтической иронии Фридриха Шлегеля? Или это предвидение известных телекадров с испитой рожей майора – пилота СУ-15, отправившего в рай души 269 пассажиров «Боинга» возле Сахалина?

Как бы то ни было, эта экзистенциальная избыточность, порождающая у поэта много малообязательных строк, лишая часто его стих энергии, придает ему тем не менее другие качества – почти поп-артистические.

Прямые цитаты из других поэтов – не редкость у поэтов. Блоковское «Ни тоски, ни любви, ни обиды. Все померкло, прошло, отошло» почти дословно воспроизводятся Кенжеевым, и даже тема усопшей души – и та подхвачена, только переиначена на другое, на «кости Мандельштама с фанерной биркой на ноге»:

Прошло, померкло, отгорело.
Нет ни позора, ни вины.
Все, подлежавшие расстрелу,
Убиты и погребены.

Как это похоже на неторопливое срисовывание картинок. Еще подошел бы сюда модный в конце 70-х годов московский термин «самопародия», который никто не брался объяснять, но дело заключалось в том, чтобы произнести это слово с протяжным «о» и с паузой до и после слова, лучше в вопросительной интонации.

Странно: как ни внимательно я читал стихи, собранные в этой книге, так и не увидел различий между «более ранними» стихотворениями и «более поздними». Развитие в них сюжета протекает примерно по одной схеме: пейзажная экспозиция, далее те или иные фантазии и ассоциации, а последняя строфа непременно содержит какое-нибудь размытое, но очень значимое понятие: жизнь, счастье, сердце, свет, смерть, человек, гибель, отчизна, прошлое:

вот и кончилась пластинка
постепенно гаснет свет
улетай как паутинка
ветру юности вослед.

Восприятие окружающей действительности у Кенжеева какое-то деликатное, усталое, очень селективное, она не подвигает его на создание неологизмов, на сочинение замысловатых оборотов речи, даже на расширение поэтического словаря – его словарь беден, как разговорный городской язык, право, не богаче. Но притом у него есть одно бесценное качество, редкое ныне у поэтов – безрефлективность, чистота восприятия, отсутствие ненужных и бесконечных самообъективаций. Это все – за стихами. Оно есть – но между строчек.

Поэт менялся, укрепляясь в стихах, но не позволяя меняться своим стихам; поэтому становление голоса происходило у него постепенно, то есть он установился сразу, но утверждение, подтверждение себя длилось долго.

«Ни один из нас, – пишет Хорхе Луис Борхес, – не ведает, во что его преобразит грядущее». Но человек, не совершавший злых поступков, не лгавший, и, что называется, верный себе, может иногда рассчитывать, что грядущее будет к нему снисходительным и за его усердие прибавит ему сколько-то существенных черт и сотрет несущественные. Это семя грядущего вполне, как кажется, созрело в поэзии Бахыта Кенжеева.

Повторяется старый взлет
повторяется жар и лед
перехлестнуто горло туго
переулочки, купола
показалось, что жизнь ушла
а она – по второму кругу.

Анатолий Копейкин

Солженицын – «глядя из Парижа»

В рекламной аннотации книга Жоржа Нива «Солженицын» названа лучшей монографией о Солженицыне. Она вполне заслуживает такой оценки.

Парадоксально: лучшее исследование жизни и творчества национально-русского писателя выполнено не его соотечественниками, а – французом. Парадокс усугубляется тем, что, если «объект исследования» общепризнанно консервативен (в традиционно-политическом смысле), пуритански религиозен, и доминантой его личности служит, безусловно, любовь к родине, России, то рецензируемое исследование демонстративно посвящено учителю Жоржа Нива – Пьеру Паскалю, крупнейшему и интереснейшему слависту, но одновременно едва ли не первому французскому коммунисту-интернационалисту, отцу-основателю французской компартии!

И все-таки этот парадокс не опровергает вывода аннотации: во всей обширной «солженицыниане» пока нет сочинения, способного сравниться по глубине, эрудиции, точности и блеску изложения с монографией Жоржа Нива.

Вот характерные примеры его анализа творчества Солженицына.

Уже несколько лет идет спор о сравнительных достоинствах вариантов романа «В круге первом». В самиздатском варианте, как вы помните, роман начинался с того, что Иннокентий Володин предупреждал старого доктора, что не нужно передавать открытое им лекарство американскому коллеге, – и заплатил за это свободой. В новом – и уже каноническом – варианте Володин предупреждает американское посольство, и не о лекарстве, а о краже атомных секретов США советскими шпионами, супругами Розенберг.

Жорж Н и в а. «Солженицын», пер. С. Маркиша. Изд. Overseas Publications Interchange Ltd, London, 1984.

Солженицын объяснил появление нынешнего варианта тем, что теперь восстановил все, «как было на самом деле». Объяснение автора никого не удовлетворило: роман – не документальная хроника, он требует прежде всего художественной достоверности, а не соответствия реальной ситуации, которая часто как раз и выглядит не достоверной. По мнению, например, А. Краснова-Левитина, старый вариант был лучше: жестокой каре подвергнулся совершенно невиновный морально, политически и даже юридически Володин, а гебисты представлялись несомненными злодеями. В новом же варианте Володин, бесспорно, совершает акт, который на юридическом языке называется «государственной изменой», гебисты же в этой ситуации – нормальные контрразведчики, выполняющие те же функции, что и в любой стране мира – не только в империи ГУЛАГа.

Мария Шнеерсон пыталась защитить новый вариант тем, что, мол, «атомный сюжет» придает особое значение подвигу Володина, ибо, как сказано в романе, «атомная бомба у коммунистов – и мы все погибли». (См. ее статью в «Гранях» № 129.)

Но истолкование М. Шнеерсон, увы, неубедительно. Ибо атомная бомба у коммунистов все же появилась, Володин проиграл, а мир, слава Богу, существует... И возражения Краснова-Левитина остались в силе.

Эти-то возражения и опровергает Жорж Нива. Согласно его версии, Солженицын в новом варианте сознательно сделал своего Володина государственным изменником, а не просто невинной жертвой МГБ. Ибо автор утверждает право патриота во имя родины – восстать против правительства своей страны. По новому варианту, злодеяние гебистов отнюдь не только в их т. н. «необоснованных репрессиях», как мы узнали в 50-60-е гг. после докладов Хрущева. Солженицын идет дальше – системой художественных образов он доказывает: главное злодеяние гебистов – в том, что они уничтожали как раз тех людей, которые с их, гебешной точки зрения, вполне заслужили изоляцию и уничтожение, то есть не только мнимых, но и действительных противников режима! В новом варианте «Круга» отразился принципиальный сдвиг общественного сознания, который произошел в наше время по сравнению с теми годами, когда Солженицын впервые решил представить свой роман на суд читателя.

...Другой пример. Сколько возникало (и возникает) споров вокруг языка солженицынских произведений. Жорж Нива не стал судить язык великого писателя по принципу «нравится – не нравится», а объяснил суть этого феномена, исходя из собственных социально-психологических установок автора «Архипелага» и «Красного колеса». По Ж. Нива, для Солженицына совет-

ская действительность, начиная с 1917 года и по сегодняшний день, описывается лозунгом: «Стыдно быть советским!» Включая сюда – стыдно говорить на советском языке! Его желание – вновь соединить «распавшуюся связь времен» и выбросить за пределы живого опыта нации заразу, которая накопилась между октябрём 1917 года и современностью – в том числе и языковую муть эпохи позора. (Замечу в скобках: израильтянам, которые, возрождая иврит, создавали многие современные понятия, пользуясь старинными корнями, потому что стыдились эпохи «рассеяния», понятен сей «рыцарь языкового Китежа», по определению Жоржа Нива.)

Из сказанного, наверно, ясно: я вижу главное достоинство книги Ж. Нива в том, что он не навязывает читателю свою точку зрения, а дает ему понять логику «объекта» исследования, ход его мыслей и чувств. Вот еще несколько примеров. Солженицын, как известно, благословил свой лагерный опыт («Благословение тебе, тюрьма!»), владелец же еще более богатого и более страшного опыта – Варлам Шаламов – твердо считал, что лагерный опыт может быть только отрицательным для человека. Нива считает, что разница в оценках у двух выдающихся писателей современной России объясняется тем, что Солженицын попал в тюрьму-лабораторию, в «Академию свободных людей». В этом «ковчеге» мужской силы и мужского обмена мыслями родилась «судьба и сила Солженицына». В интеллектуальной и нравственной пустыне, которую «органы» создавали из России, они же сами, для собственных нужд, вынуждены были устроить некий заповедник за колючей проволокой. Кто попадал туда – тот и имел возможность впоследствии благословить судьбу: он получал высшее интеллектуально-нравственное образование, недоступное больше никому и нигде в СССР, кроме таких же «обитателей шарашек».

Мне было интересно читать рассуждения Ж. Нива о поколении Солженицына – «декабристах без декабря». В «национальных кругах» современной России я не раз слышал пристрастно-несправедливую оценку декабристов XIX века, и хотя понимал, что это всего лишь «инерционная» реакция на «революционизм» нашего века, отказывался принимать их консерватизм – не как «принцип в себе», а «от противного». Опыт же Солженицына снова доказывает неизбежность феномена декабризма (пусть без 14 декабря) для любого поколения лучших российских граждан, побывавших за границей и сравнивших общественный опыт тамошнего и собственного миров.

В этом месте мне хочется оставить в покое сюжеты и эпизоды этой книги (читатели могут познакомиться с ними сами) и

порассуждать о феномене, который волновал при чтении: как случилось, что ни один из наших «собственных Платонов» (а между ними были авторы очень талантливых работ, например, Э. Коган) все-таки не приблизился к уровню француза Жоржа Нива? Ведь повсеместно распространен предрассудок, что «умом Россию не понять» (особливо «галльским острым смыслом») и что сие дано лишь бывшим и нынешним совстрадальцам, преимущественно лагерникам. Параллельно многие россияне убеждены, что для понимания «тайн» западной цивилизации вполне достаточно читать тамошние тонкие журналы, смотреть телевизор и слушать рок-группы...

Мое ироническое отношение к этому предрассудку не отменяет того факта, что его появление было вызвано серьезными причинами.

Слишком уж часто в прошлом интеллектуалы Запада совершали при оценке советской действительности фантастические ошибки (помните фразу Оруэлла: «Нужно быть интеллектуалом, чтобы в это поверить, простой человек не может быть таким идиотом?»). Благоглупость западных политологов, предававшихся иллюзии изучения не подлинной советской действительности, но некоей ее «модели», или же философской иллюзии насчет государственного всеислия при разрешении общественных проблем, – именно эта благоглупость породила иллюзию советского обывателя, которому якобы лишь одному дано разгадать тайны страны «зрелого социализма».

Но постепенно поток новой информации из СССР, а главное, ее высокое качество, ее образная система, ее язык, ее ткань вызвали в западном сознании сдвиг по отношению к Советскому Союзу (судя по книге Ж. Нива, на французов, например, наибольшее влияние оказали работы А. Амальрика и Н. Мандельштам, а также А. Сахарова и самого А. Солженицына – в первую очередь). Жан Даниэль писал о телеинтервью Солженицына в Париже: «За какой-нибудь час или чуть больше Александр Солженицын коснулся сердца всего французского общественного мнения и головы французских левых». Ученый Жак Моно более сдержан: «Я думаю, трудно следовать за ним в его нынешнем манихействе. Но понять его можно, даже не следуя за ним по его стопам... Все-таки есть что-то очень внушительное в том, что он говорит».

На мой взгляд, западные ученые, которые под влиянием новой информации из СССР сумели изменить свои прежние концепции, сразу получили огромное преимущество перед выходцами из СССР.

Беда последних заключается обычно в том, что в основе их позиции лежит традиционный российский феномен, определяемый Жаком Моно как «манихейство», т. е. подсознательное убеждение в том, что есть лишь одна дорога к истине и справедливости (ее-то и ищет российский человек), а все остальные пути – от Дьявола. На Западе же давно господствует другая концепция, согласно которой владеет истиной лишь Бог единый, а тот или иной человек или группа людей неизбежно владеют лишь ее частью, причем каждая группа или каждый человек – своей. У обеих концепций – российской и западной – имеются органические пороки: у русской – узость, нетерпимость к чужому мнению (ибо оно, естественно, от Дьявола); у западной же то, что Владимир Буковский точно назвал «клубностью»: истиной тут иногда считается то, что *принято* в «клубе», в кругу избранных, а все остальные точки зрения хотя и почитаются имеющими право на существование, но данный «клуб» они принципиально не интересуют. Фактически это то же самое «манихейство», только без российского страстного самоутверждения, а самоуверенно-спокойное... По оценке Ж. Нива, великая историческая роль восточного «манихея» Солженицына заключалась в том, что он сумел пробудить во многих западных идеологических «клубах» воспоминание о том, что добро и зло реально существуют в мире (даже если оба не в полном объеме понятны отдельному человеку), т. е., в сущности, он вернул западный мир к истокам его собственной, уже почти позабытой шкалы ценностей. Именно потому, что цельная натура Солженицына сумела вернуть цельность западному мировоззрению (во всяком случае, у многих людей Запада), Жорж Нива предсказывает, что наш век назовут веком Солженицына, как некогда был – век Вольтера (который тоже придал стиль основам мировоззрения современной ему Европы).

...В отличие от многих российских исследователей, Жорж Нива не подавлен объектом своего исследования – ни политически, ни идеологически. Поэтому он свободно может «отмежевываться» – какой советский глагол! – от тех или иных взглядов Солженицына; может выражать солидарность с его оппонентами (например, он явно согласен с Сувариним в его исторической полемике с Солженицыным, хотя, по нашей оценке, в этой-то полемике прав был как раз писатель, а не историк); может свободно выражать свою симпатию автору «Ракового корпуса» и «Круга первого» и одновременно сомневаться в художественной ценности всей драматургии Солженицына. Оказавшись вне российских споров и свар, он получил огромную «фору» объективности – и занял лидирующее положение в «сол-

женицыноведении» не только в силу своего дарования (которое бесспорно), но именно в силу «иноземного» происхождения.

Для Ж. Нива Солженицын – мировой феномен, сила и значение которого в том, что эта универсальная фигура связана с самой толщей такого великого народа, как русский. И его сила, и его слабость проистекают из подлинной народности, как это было сто лет назад с Толстым.

Недавно, на встрече с одним новоприбывшим из СССР, я услышал: «Нынешним положением и лидерами недовольны все без исключения, но масса народа все еще считает, что если бы ею руководил дедушка Ленин, все было бы по-иному». Это свидетельство человека, отнюдь не являющегося поклонником Солженицына, показалось мне весьма важным.

Признаюсь, проглядывая главы из новой гигантской эпопеи писателя о русской революции, я не нахожу в себе желания прочитать ее от начала до конца. Мне неинтересна сама тема – что мне сегодня за дело до подробностей событий семидесятилетней давности? Но, выслушав человека *оттуда*, я осознал: Солженицын интуитивно чувствует, что нужно понять его народу, а интерес читателей к западным исследованиям и мемуарам – это для него величина, близкая к нулю. Он знает *свой* народ, с его стыдом за прошлое, с его заблуждениями и страстями, с его тайным желанием восстановить связь времени, и этот-то народ его и заботит...

Особо хочется отметить превосходный язык перевода – ёмкий, ясный и свежий. Нечасто мы читаем переводные книги, точно бы написанные природным русским автором, великолепно владеющим литературным языком.

М. Хейфец



Лазарь Ф л е й ш м а н

БОРИС ПАСТЕРНАК В ТРИДЦАТЫЕ ГОДЫ

The Magnes Press. The Hebrew University. Jerusalem, 1984

В новой монографии Лазаря Флейшмана, профессора Еврейского Университета, члена редакционной коллегии периодического издания «Литературное Наследие Русской Эмиграции» (Париж), предпринята попытка детально описать взаимоотношения Пастернака с советским литературным руководством в 1930 г.

30-е годы являются малоизученным периодом и в истории литературы, и в биографии Бориса Пастернака.

Никогда будущий автор романа «Доктор Живаго» не был так близок к принятию советской действительности и никогда советское руководство не проявляло такой лояльности к нему, как в это десятилетие. Так возникла ситуация, в которой «камерный» лирик рилькевского типа мог заполнить вакансию «первого» поэта. Однако из-за событий 1936–1937 гг. этой возможности не суждено было осуществиться.

Книга опирается на источники, не попавшие в поле зрения пастернаковедов, и по-новому изображает идеологическую эволюцию поэта. В книге подчеркнута участие Пастернака в литературных битвах, сопровождавших первые годы существования Союза советских писателей, подробно рассмотрены связи Пастернака с Горьким, Бухариным, грузинскими лириками, Осипом Мандельштамом.

В ней предложена новая интерпретация телефонного разговора Пастернака со Сталиным (1939 г.) и анализируются все известные нам высказывания поэта о вожде в 30-е годы.

Книга содержит ценный материал не только о Пастернаке, но и об истории советских литературных отношений, и представляет интерес для всех исследователей советской культуры.



ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Главному редактору
журнала «Грани»
г-ну Г. Владимову

13 июня 1985 г.

Господин редактор!

В редактируемом Вами журнале «Грани» №135 опубликована статья Я. Костина «Красное и коричневое», в которой речь идет о журнале «Русское самосознание». Автор статьи пишет:

«После всего сказанного читатель и сам сможет решить, кому и зачем понадобился новый журнал и кто тот «благодетель», который не пожалел денег на его издание. Не названный нами «филантроп» финансирует не одно только «Русское самосознание». На второй странице журнала из номера в номер повторяется список – что читать. Тем, кто уже читает «Р. с.», г-н Тетенев рекомендует еще *пять* таких изданий. Среди них – (...) выходящий в Мюнхене альманах «Вече»...»

Поскольку я никогда не держал в руках, не видел, не читал, даже не знал о существовании журнала «Русское самосознание», меня совершенно не интересует, кто его финансирует. Но в связи с тем, что автор статьи «Красное и коричневое» утверждает, что альманах «Вече» финансируется из того же источника, что и журнал «Р. с.», охарактеризованный как издание явно фашистско-коммунистического толка, издаваемому РНО в ФРГ и редактируемому мною альманаху «Вече» нанесен огромный моральный и материальный ущерб.

Самым решительным образом, основываясь на действующем в ФРГ законодательстве, я требую, чтобы в очередном номере журнала «Грани» был назван тот «благодетель» или «филантроп», который по утверждению Я. Костина, а следовательно, главного редактора журнала «Грани», допустившего публикацию такого утверждения, финансирует журнал «Русское самосознание» и альманах «Вече». В случае, если это мое требование останется невыполненным, категорически настаиваю на помещении в следующем номере «Граней» соответствующего объяснения, не оставляющего сомнения в том, что редакция «Граней» целиком и полностью отмежевывается от порочащего доброе имя альманаха «Вече» клеветнического утверждения Я. Костина, касательно «филантропа», финансирующего «Вече». Надеюсь, редакция «Граней» выполнит мои

требования, что избавит меня от необходимости обращаться в судебные инстанции.

О. Красовский

От редакции «Граней». Согласно канонам журналистики, редакция не вправе потребовать от автора, чтоб он непременно назвал имена людей или учреждения, коль скоро он предпочёл не называть их, а предоставил догадываться читателю. Признаться, редакция не видит «огромного морального и материального ущерба», происходящего лишь от общего с кем-либо финансирования; известны случаи, когда из одного источника финансировались журналы, стоявшие в острейшей оппозиции друг к другу, непримиримо враждовавшие, – в Советском Союзе, к примеру, «Новый мир» и «Октябрь» в 60-е годы.

Но, поскольку именно этот вопрос – о неназванном общем «благодетеле» или «филантропе» – более всего задевает господина О. Красовского, редакция сожалеет о бездоказательном намёке на это в статье «Красное и коричневое», приносит г-ну О. Красовскому свои извинения и – как он того требует – отмежёвывается от утверждения Я. Костина, включившего общее финансирование в число признаков, объединяющих альманах «Вече» с журналом «Русское самосознание».

Г. Владимов



КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

Бирман Игорь, род. в 1928 году в Москве. Окончил Институт народного хозяйства им. Плеханова. Кандидат экономических наук (1960). Автор одиннадцати книг по проблемам организации и планирования советской экономики. Среди них: «Экономика недостатч», 1983 г., «Тайные доходы советского бюджета», 1980 г.; «Методология оптимального планирования», 1971 г. и др. Эмигрировал из СССР в 1974 г. В настоящее время живет в Вашингтоне, США. И. Бирман – Президент кампании «Фонд Советских Исследований».

Вайль Петр, род. в 1949 году в Риге. Закончил редакторский факультет Московского полиграфического института. Работал техником-конструктором, слесарем, грузчиком, пожарным, окномоем, журналистом. Служил в армии (1969-71). Эмигрировал в США в 1977 году. Живет в Нью-Йорке. Работал журналистом в газетах и журналах русской эмиграции. Печатается в соавторстве с Александром Генисом.

Генис Александр, род. в 1953 году в Рязани. Закончил филологический факультет Латвийского государственного университета. Работал рабочим, пожарным, журналистом. Эмигрировал в США в 1977 году. Живет в Нью-Йорке. Работал журналистом в газетах и журналах русской эмиграции. Печатается в соавторстве с Петром Вайлем.

Выступают в области литературной критики, публицистики, эссеистики. Печатались в газетах, журналах «Грани», «Континент», «Время и мы», «22», «Эхо», «Часть речи» и др. Авторы книг «Современная русская проза» (1982) и «Потерянный рай» (1983). С 1980 по 1984 гг. выпускали еженедельники «Новый американец», «Новый Свет», «Семь дней».

Горенштейн Фридрих Наумович, род. в 1932 году в Киеве. Окончил Высшие сценарные курсы при Союзе кинематографистов СССР. В начале шестидесятых годов в журнале «Юность» был напечатан его рассказ «Дом с башенкой», оказавшийся первой и последней публикацией писателя на родине. Много работал в области кино. По его сценариям в Советском

Союзе поставлено несколько художественных и документальных фильмов, в том числе «Солярис», поставленный А. Тарковским. После участия в неподцензурном альманахе «Метрбольш», Горенштейн был вынужден эмигрировать. Живет в Западном Берлине.

Д о в л а т о в Сергей Донатович, род. в 1941 году в Ленинграде в семье театрального режиссера. Учился в Ленинградском университете на факультете журналистики, отсюда был взят в армию, служил на севере. Работал журналистом в Ленинграде, затем в Таллине. Более 15-ти лет писал прозу, но лишь в 1973 г. в Таллине была набрана книга его рассказов, однако по приказу КГБ этот набор был рассыпан.

Эмигрировал в 1978 г. Опубликовал на Западе семь книг («Наши», «Соло на Ундервуде», «Заповедник», «Зона», и др.).

К у б л а н о в с к и й Юрий Михайлович, род. в 1947 году в Рыбинске, окончил искусствоведческое отделение истфака Московского университета. После того, как в 1976 году в зарубежной прессе было опубликовано его открытое письмо «Ко всем нам» (к двухлетию высылки Солженицына), работал сторожем в подмосковном храме и на Антиохийском подворье.

Его стихи печатались в альманахе «Метрбольш», в «Гранях» (№ 127), в «Вестнике РХД», в «Глаголе» и «Континенте». Автор двух поэтических книг: «Избранное» («Ардис», 1981) и «С последним солнцем» («La Presse Libre», 1983).

Н е к и п е л о в Виктор Александрович, род. в 1928 году в Харбине в семье советских подданных. Закончил военно-медицинское училище, служил в армии. Некоторое время работал в армейской газете. После увольнения из армии поступил в химико-фармацевтический институт и после его окончания заведывал химической лабораторией на одном из предприятий г. Умань. Заочно окончил Литературный институт им. Горького, печатал стихи и переводы в советской периодике, выпустил сборник стихов. В 1972 г. поселился в г. Камешково Владимирской обл., работал зав. аптекой. Здесь он в 1973 г. был арестован и за распространение Самиздата («Хроника», его собственные стихи) был приговорен к двум годам лагеря. На Западе печатался в русскоязычной периодике («Континент», «Грани», «Русская мысль»). После освобождения в 1975 г. стал активным членом Хельсинкской группы, за что был вновь арестован. Сейчас находится в заключении.

Ратушинская Ирина Георгиевна, род. в 1954 г. Закончила филологический факультет Одесского университета, преподавала в Одесском пединституте. В Информационном бюллетене СМОТ № 29 была опубликована ее статья о положении в Польше после военного переворота. Стихи И. Ратушинской опубликованы в «Гранях» № 123 и № 129, в «Русской мысли» от 11 ноября 1982 г., в «Континенте» № 35. В «Гранях» № 126 напечатаны два ее рассказа.

17 сентября 1982 г. Ратушинская была арестована. Обвинялась (по ст. 62 УК УССР) в «изготовлении и распространении» своих стихов и самиздатских статей. Приговор был вынесен максимальный: 7 лет лагерей и 5 лет ссылки.

Рудкевич Лев Александрович, род. в 1946 году. В 1968 г. окончил биологический факультет Ленинградского университета, после этого преподавал в университете и медицинском институте биологию и психологию. В 1973 г. закончил диссертацию на факультете психологии Ленинградского университета, а через четыре года за участие в выпуске (совместно с В. Кривулиным и Т. Горичевой) самиздатского журнала «37» вынужден был под давлением властей эмигрировать за границу. Живет в Вене. Как журналист представляет там издательство «Посев», а также продолжает научные исследования.

Черток Семен Маркович, род. в 1931 году в Москве. Известный кинокритик. Печатается с 1957 г. Автор двух тысяч статей, главным образом, по искусству и литературе, опубликованных в периодике СССР («Москва», «Русская литература», «Искусство», «Советский экран», «Искусство кино», «Театр», «Литературная газета» и др.). Автор восьми книг, в числе которых «Художник Борис Шаляпин», «Зарубежный экран». Эмигрировал в 1979 г. С 1979 г. печатался в русскоязычной периодике: журнал «Континент», газеты «Русская мысль», «Новое русское слово» и т. д. В издательстве «Эрмитаж» вышла книга С. Чертока «Последняя любовь Маяковского» (1983 г.)

Шиманский Виктор Владимирович, род. в 1915 году в Новороссийске. Учился в Русском кадетском корпусе в Константинополе, в американском колледже в Софии (Болгария). Закончил школу журналистики в Варшаве (1933-34 гг.), Дипломатический институт, а также учился на факультете права Львовского университета (1937 г.). Был солдатом Польской армии на Ближнем Востоке (1941-42 гг.), корреспондентом польских газет в Палестине (1942-44 гг.), атташе по печати

при польском (эмигрантского правительства) посольстве в Турции (1944-45гг.). После войны работал специалистом по делам Восточной Европы в агентстве Рейтер (1947-50), Юнайтед Пресс (1950-55), затем как комментатор и организатор отдела новостей на радиостанции «Свобода», а также как корреспондент в Лондоне, Брюсселе, Риме и Париже (1969 – 1980 гг.) Последние 5 лет – постоянный сотрудник «Русской мысли», комментатор по международным делам (Виктор Вальдемар).



Проф. С. Г. Пушкарев

**Самоуправление
и свобода в России**

Известный русский историк описывает и анализирует развитие различных форм народного самоуправления в рамках и условиях свободы, существовавшей в ту или иную эпоху дореволюционного времени: в древней Руси, в Московском государстве XVI - XVII веков, в период империи. Далее излагаются взаимоотношения свободного самоуправления с революционными процессами и решениями вплоть до крушения нормального правопорядка и разгула антинародной большевистской диктатуры. Книга изобилует историческими и статистическими сведениями.

1985

176 с.

20 н.м.

Главный редактор Г. Н. Владимов
Зам. главного редактора М. А. Поповский
(представитель в США)
Ответственный секретарь Н. Е. Денисьева
Зав. редакцией Е. И. Пахомова

Адрес редакции журнала «Грани»:
Grani c/o Possev-Verlag, Flurscheideweg 15,
D 6230 Frankfurt a. M. 80
Тел. (069) 34 46 71

Непринятые рукописи не возвращаются.

Possev-Verlag, V. Gorachek KG, Frankfurt am Main

В следующем номере:

Проза:

Владимир Максимов
Михаил Лемхин

Поэзия:

Вероника Долина
Нина Бодрова

Литературная критика:

Игорь Ефимов. «Чехов о насилии»
Е. А. Тудоровская.
«Пушкин в гриме Белкина»

История:

Статья Бориса Парамонова
«Канал Грибоедова»

Публицистика:

Марк Поповский.
«Ностальгия – болезнь политическая»

Наука:

Лариса Виленская.
«Парапсихологические этюды»

Владимир Рыбаков

ТИСКИ

Армейские очерки

С предисловием Георгия Владимова

Получив долгожданный «дембель», вернувшись домой, советский парень старательно запихивает в самые темные углы своей памяти всю грязь своей солдатской жизни и в стремлении обелить себя называет в кругу друзей насилие силой, уничтожение человека в солдате – рождением мужчины (во какие мы стали!). В кругу друзей не плачут, а смеются, не бьют себя кулаком в грудь, а хвастаются. Да и что же, всю жизнь посыпать себе голову пеплом за то, что, стараясь выжить, оставил там и сям по куску своей гордости, человеколюбия, самолюбия, совести?

«Тиски» Владимира Рыбакова – поиски валяющихся там и сям этих кусков. Автор, сам отслуживший около четырех лет, бродит по быту армии, от случая к случаю, и ищет утерянное, свое и других советских солдат, с надеждой, наверное, что кто-то в будущем хоть чего-то да не потеряет. Случаи-очерки тянутся во времени от подавления Венгерской революции до Афганской войны.

1985

Большой формат 250 с.

28 н.м.

Дорогие читатели!

Стремясь облегчить проникновение нашего журнала в Россию, а также ознакомить вас с лучшими напечатанными в нем произведениями, редакция журнала „Грани” выпускает карманные сборники избранного из „Граней”.

Эти сборники, размером 9,5 на 14,5 см, отпечатаны на тонкой бумаге и содержат в среднем 512 страниц. Они легко помещаются в кармане или женской сумочке. Каждому путешественнику – советскому ли за рубежом, иностранному ли в России – не трудно взять их с собой.

Мы обращаемся к читателям в России:

- передавайте свой экземпляр дальше, увеличивая тем число читателей;*
- просите друзей, едущих за границу, привезти вам наши сборники;*
- просите своих иностранных знакомых привезти вам их, вместо подарка!*

Мы обращаемся к читателям за рубежом:

- используйте каждую возможность (встречу с соотечественниками, свои или друзей поездки в нашу страну и т. п.), чтобы передать в Россию наши сборники!*

Эти сборники предназначены для России! Каждый, желающий их иметь ДЛЯ РОССИИ, – может получить нужное количество экземпляров, обратившись по адресу:

*А. Kandaugow c/o „Possev-Verlag”
Flurscheideweg 15, D-6230 Frankfurt/Main 80*

Уже выпущены следующие сборники „Граней”:

<i>Сборник</i>	<i>№ 1</i>	<i>из</i>	<i>№№</i>	<i>87/88-94</i>	<i>(разошелся)</i>
<i>Сборник</i>	<i>№ 2</i>	<i>из</i>	<i>№№</i>	<i>78-86</i>	<i>(разошелся)</i>
<i>Сборник</i>	<i>№ 3</i>	<i>из</i>	<i>№№</i>	<i>71-77</i>	<i>(разошелся)</i>
<i>Сборник</i>	<i>№ 4</i>	<i>из</i>	<i>№№</i>	<i>69-70</i>	<i>(разошелся)</i>
<i>Сборник</i>	<i>№ 5</i>	<i>из</i>	<i>№№</i>	<i>53-68</i>	
<i>Сборник</i>	<i>№ 6</i>	<i>из</i>	<i>№№</i>	<i>49-52</i>	
<i>Сборник</i>	<i>№ 7</i>	<i>из</i>	<i>№№</i>	<i>40-51</i>	
<i>Сборник</i>	<i>№ 8</i>	<i>из</i>	<i>№№</i>	<i>34/35-39</i>	

Г Р А Н И

**ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ**

Стоимость подписки на 4 номера:
в издательстве — 56 н. м.
через магазины — 70 н. м.

ПОСЕВ

**ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ**

Стоимость подписки на 12 номеров:
в издательстве — 72 н. м.
через посредников — 84 н. м.

«НАДЕЖДА»

Христианское чтение

За 3 выпуска при подписке:
непосредственно в издательстве — 60 н. м.
через представителей — 72 н. м.

СТОИМОСТЬ В РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖЕ:
„ГРАНИ“ — 17.50 н. м., „ПОСЕВ“ — 7 н. м.
НАДЕЖДА“ — 24 н. м.

Подписную плату следует посылать:
почтовым переводом или чеком (в письме) по адресу

POSSEV-VERLAG
D-6230 Frankfurt/Main 80, Flurscheideweg 15
или же банковским переводом на
Konto 2 412 755, Dresdner Bank, Frankfurt/Main
или на почтовый счет
Postscheckkonto 334 61-608, Frankfurt/Main.